

Виктор Драгунский



И СЕГОДНЯ
МЕЖЕДНЕВНО

Виктор Драгунский

И СЕГОДНЯ
МЕЖДУНЕВНО

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ



МОСКВА
1977

с 16889977


Драгунский В. Ю.
Д72 Сегодня и Ежедневно. Повести и рассказы. М.,
«Современник», 1977.

239 с. с илл.

В этот сборник включены «взрослые» произведения писателя: повести «Он упал на траву», рассказывающая о начале войны, об ополчении, и «Сегодня и Ежедневно» — о цирковом артисте, клоуне, а также рассказы, наиболее разносторонне представляющие удивительное по доброте и любви к человеку творчество писателя.

70302—016
Д — 92—77
М106(03) — 77

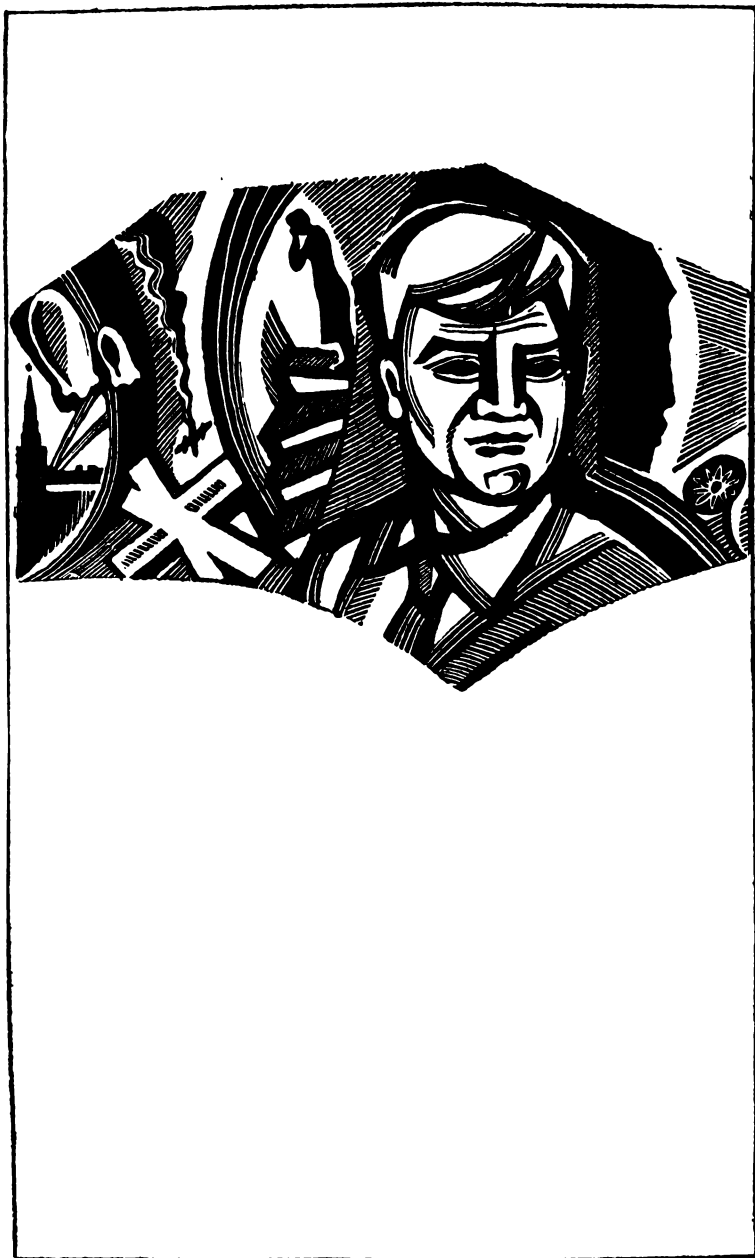
Р2

Государственная библиотека
им. В. Г. Белинского
г. Свердловск

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВРЕМЕННОСТЬ», 1977 г.

ПОВѢСТИ

.



ОН УПАЛ НА ТРАВУ

1

Очень темная была ночь, когда я, нагруженный разными свертками, усталый как черт и голодный, подошел к своему переулку. Здесь, у аптеки, я должен был подождать ее. На улице уже было тихо и глухо. Москва отдыхала после тревожного дня перед тревожной ночью. Все мы, москвичи, знали, что через несколько минут обязательно прозвучит сигнал воздушной тревоги, фриц опять начнет рваться к нашему городу, и мы уведем женщин, детей и стариков в бомбоубежище, а сами побежим на свои места — в лестничные клетки, в подъезды и на крыши, будем слушать надсадный вой чужого мотора и с надеждой смотреть на кинжально переkreшивающиеся лезвия пржекторов. Нетерпеливым сердцем будем подгонять зенитчиков и будем радоваться, когда услышим первые удары наших батарей, — они такие сильные, молодые и стучат полновесно, как весенний первый гром, когда, резвяся и играя, — как там дальше? Ах да, — грохочет в небе голубом! Знал я также, что молодой командир батареи у зала Чайковского будет командовать: «Огонь!» — после каждого залпа он будет звонко материться, и это всем нам, дежурящим на окрестных крышах, будет как маслом по сердцу.

Да, скоро объявят воздушную тревогу, а пока Москва немножко отдыхала и я стоял на перекрестке в полной темноте, и, видно, никогда не забыть мне этого часа в последнюю августовскую ночь в Москве, когда я ждал на углу возле аптеки эту женщину и знал, что завтра я иду из моего врезанного в сердце города, и от нее

уйду, и буду делать что-то большее, чем дежурство на крышах и тушение зажигалок.

А время все шло, и от нетерпения я уже насчитал несколько раз по пятисот, а Валя все не приходила. Я вошел в парадное, где стояла будка автомата, опустил гривенник и, отсчитывая в синей темноте буквы и цифры на телефонном диске, набрал ее номер. Телефон басисто прогудел, и Валя сняла трубку. Это сразу ударило меня по сердцу. Я слышал ее голос, а ведь она не должна была быть дома. Это поразило меня. Она, значит, дома, а я стою на ветру и жду ее, а она вовсе и не собирается проводить меня, провести со мной вечер, проститься...

Я сказал:

— Это я, что ж ты не идешь?

И я услышал, как она ответила мгновенно, как будто знала, что я позвоню, и как будто давно уже отрепетировала свой ответ.

— Понимаешь, Зойка, — сказала она, — ничего не выйдет, мне не вырваться сегодня. Семейные дела заели. Да и поздно уже!

Какая, к черту, Зойка? Я почувствовал, что у меня упало сердце. Я сказал:

— Я не Зойка. Это Митя говорит.

Она засмеялась.

— Нет, Зойчик, не могу. Не проси.

Я сказал:

— Я завтра уезжаю. Ведь ты же плакала. Что ты несешь? Мы не простимся?

Она помолчала, потом сказала тихо и очень внятно:

— Неудобно. Надеюсь, ты напишешь. Будь здорова.

Вышел я из будки, так резко толкнув дверь, что ушиб кого-то, стоящего там в темноте.

— Ох, — сказал кто-то, — чуть-чуть не убил.

В парадном стояла девушка. Синий свет не давал возможности разглядеть ее лицо.

Я сказал:

— Извините, — и хотел было уйти.

Но она сказала:

— Я вас давно жду. Одолжите мне гривенник, пожалуйста, или разменяйте двадцать копеек.

Я протянул ей монету. У меня их всегда полны карманы. Она взяла гривенник, нашарив в темноте мою

руку, и я ощутил прикосновение горячих и сухих пальцев. Она сказала:

— Если можно, не уходите. Я мигом.

Я остался в парадном. Я не мог как следует осознать все случившееся, и на душе у меня было непоправимо скверно. Ведь, черт побери, честно говоря, я был в эти дни, в эти ужасные первые дни войны, как какой-нибудь сумасшедший: я был счастлив. То есть я был потрясен войной, я ненавидел фрица, я знал, что уйду на войну во что бы то ни стало, но вот в глубине сердца у меня, несмотря на такое ужасное горе, как война, светилось счастье. Это было потому, что я верил в Валину любовь и сам любил ее всем сердцем. А теперь, после разговора по телефону, особенно после ее правдивого голоса, который так здорово врал и обзывал меня Зойкой, после этого я почувствовал, что ничего хорошего в моей жизни не осталось и что я теперь как солдат, у которого отняли его личное оружие и все могут стрелять в него, как в бессмысленный столб. Я совершенно растерялся от этого разговора и не знал, что делать. Из автомата вышла девушка.

— Спасибо, что подождали. Вы меня знаете?

— Нет.

— Да мы же рядом живем — вы в конце переулка, а я не доходя, наискосок. Я недавно в Москву переехала, а раньше жила в Туле. А теперь мама там, а я у тети... А вас я часто встречаю в переулке, и одна девочка мне про вас все рассказала.

Ну и ну, все ей рассказала.

— Так что я все про вас знаю, Митя Королев. Дайте руку, а то я боюсь ходить по этому переулку.

Она взяла меня за руку, и мы вышли. Ночь стала еще темней. Вокруг слышались сдержанные голоса прохожих, люди говорили тихо, как будто боялись, что их услышит какой-нибудь фриц, там, наверху.

Мы постояли немного с незнакомой девушкой на краю тротуара и пошли домой. Не хотелось мне идти домой, прямо скажем, противно было, особенно потому, что я весь был обвешан покупками, как какой-нибудь пижон. А еще противней было, что покупочки эти оказались ни к чему, ни для кого. Все эти пакеты и свертки хрустели новой бумагой, как окаянные, словно смеялись надо мной. Девушка вдруг сказала:

— Значит, никто не придет проводить вас и проститься?

Я сказал:

— Это не ваше дело.

Она вздохнула:

— Всегда, когда стоишь у автомата, слышишь чужой разговор. Конечно, это нехорошо.

Мы сделали еще несколько шагов, и девушка вдруг остановилась.

— Это, наверно, горько и обидно — звонить куда-то и узнавать, что тебя не придут проводить и проститься?

— Да.

Она как будто рассердилась, потому что спросила сухо:

— Может, мне отстать от вас?

— Да. Отстаньте, пожалуйста.

Она крепче сжала мою руку.

— Это не дело прогонять меня, раз я боюсь ходить этим переулком. Ладно, я буду молчать и не буду мешать вам переживать.

Я с удовольствием дал бы ей затрещину, но меня мучило сейчас другое, и я промолчал.

Мы проходили мимо большого серого дома, когда она сказала:

— Вот я здесь живу.

Я сказал:

— Ну, пока.

Но она не отпустила мою руку.

— Я провожу вас, мне не хочется домой.

Мы вышли в наш двор, где нас тихонько окликнули дежурные, и прошли в самый дальний конец. Моя дверь была налево от садика, я жил теперь один на нашем первом этаже. Я пошарил в почтовом ящике и взял ключ.

Я сказал:

— Ну вот. Пока.

Но она сказала:

— Можно, я к вам зайду? Давайте уж я провожу вас, раз никого больше нет.

Я никак не реагировал на ее слова. Меня мучило совсем другое, и то, что говорила эта девчонка, не имело никакого значения. Я отпер дверь и впустил ее к себе.

В темноте я проверил, опущены ли шторы затемнения, и зажег свет. Потом я свалил всю эту сотню свертков на стол и вынул из бокового кармана плоскую бутылочку старки — я купил ее в коктейль-холле, мне нравилось, что она плоская, как у какого-нибудь отчаянного героя старого кинофильма.

Девушка в это время, не дожидаясь моей помощи, сняла с себя плащ и повесила его на гвоздик, торчавший в стене у дверей. Она с любопытством осмотрелась. Особенно ее заинтересовали Валины карточки в разных ролях, которые я развесил в своей комнате.

Я сел на стул у окна. Она подошла ко мне и сказала:
— Хотите есть?

— Нет, — сказал я.

— Надо поесть, — сказала она и показала на свертки. — Вон сколько еды, у меня слюнки текут. Сейчас я накрою на стол. У нас будет прощальный ужин, а потом я уйду — и вам не надо будет меня провожать. Здесь я не боюсь — совсем ведь рядом.

Я сказал:

— Действуйте, как хотите.

Она принялась вертеться вокруг столика и хлопотать, и на лбу у нее появились забавные заботливые морщинки, она начала играть во взрослую хозяйку, брала с полки посуду, и все это получалось у нее очень симпатично и ловко. И как она комкала освободившийся пергамент и обсасывала палец — было тоже очень забавно. Я подумал: как жалко, что у меня нет никого на свете близких, и как хорошо было бы иметь такую вот забавную сестренку с девчонскими повадками и серьезным личиком. Я бы уже смог сделать так, чтобы моя сестренка меня любила, я бы ей покупал всякие ленточки и вообще баловал бы.

Я сидел у окна, больная нога привычно ныла, и хотя меня непрерывно мучила вся эта подлая история с Вале́й, я все-таки вдруг захотел есть и подсел к столу.

Девушка сидела напротив меня, она тоже ела и все поглядывала на меня, словно удивлялась, что вот я такой невежливый, ужинаю с дамой и не веду оживленную светскую беседу. В общем-то она была права. Она-то ни в чем не была виновата.

Поэтому я сказал:

— Давайте выпьем!

— Ну что ж...

Я налил из плоской бутылочки ей и себе.

— В общем, — и она подняла рюмку, — в общем, я пью за то, чтобы вы были счастливы.

Я сказал:

— Спасибо.

И увидел, что она никак не может решиться выпить.

— А вы, в общем-то, пили когда-нибудь?

Она поставила рюмку и прикрыла ее сверху ладошкой.

— Честно?

— Да.

— Это в первый раз...

Она сконфуженно улыбнулась. Просто давно не видел такой занятой девчушки. Я сказал:

— Если в первый раз — лучше не пейте, не надо. Обожжет горло, захватит дыхание, слезы побегут. Не пейте.

Я выпил свою рюмку. Она смотрела на меня и явно побаивалась. Я налил себе еще.

— Ну, хорошо, — сказала она, — я не буду пить. А вам интересно узнать наконец, кто же я такая?

— Нет. Неинтересно. Мама в Туле, тетя здесь. Чего же еще?

— Ну, а как меня зовут, — тоже неинтересно?

— Абсолютно, — сказал я. — Ну так как, будете пить, нет? А то ваша рюмочка выдыхается, давайте ее сюда — я сам ее выпью...

— Нет, — сказала она и отодвинула от меня свою рюмку, — нельзя! А то вы узнаете все мои мысли...

— Ого! Значит, вы скрываете свои мысли. Любопытно, какие же это ужасные мысли, если их нужно скрывать?

Честное слово, она покраснела. Она отвернулась к окошку, и я увидел, что она вся покраснела, у нее шея стала розовой. Я пожалел даже, что так сказал.

— Слушайте, — сказал я, — только не обижайтесь. Я сам обиженный. Скажите мне наконец, как вас зовут.

Она вся засияла и благодарно взглянула на меня.

— Меня зовут Лина...

Я сказал:

— Знаете что? Тяпнем, Лина. Тяпнем за нашу с вами мужскую дружбу.

— Тяпнем! — сказала она.

Я налил себе и кивнул ей.

Она довольно мужественно глотнула и стала заку-
сывать с таким обыкновенным видом, как будто делала
это на дню три раза. У нее такая была напряженная
мордочка, и вся она такая была забавная и трога-
тельная, ну, сестренка, просто сестренка моя, которой
нет.

Я сказал:

— Вы домой шли, Лина. Вас, наверно, ждут?

Но она махнула вилкой, на которой висела шляпка
белого грибка.

— А... была не была!

— Отчаянная, да? — сказал я. — Сорвиголова?

— Оторви да брось, — сказала она и засмеялась, и
было видно штук шестьдесят белых зубов, один в один,
крепких, как орешки.

Я налил ей еще совсем немножко, чуть покрыв до-
нышко. Вот уж не стал бы спаивать такую славную де-
вочку, она была просто прелесть и такая забавная, ска-
зать нельзя.

— Вот, — сказал я, — спивайтесь, заблудшая душа.

И тут она меня удивила. Она скинула туфельки,
вскочила на стул и высоко подняла свою рюмочку.

— Я пью за самое большое в нашей жизни, — ска-
зала Лина, и ее милое юное лицо стало торжественным
и важным. Она трезво и строго посмотрела на меня. —
Я пью за Победу.

Она это так тихо и значительно сказала, что у меня
сжалось сердце. Я выпил свою рюмку, и Лина выпила
тоже. Она все еще стояла на стуле и смотрела на меня
трезво и сурово. Я подошел к ней, взял ее за талию и
опустил на пол. Она все смотрела мне в глаза без улыбки.
Я крепко прижал ее к себе и поцеловал. Никогда не
забуду прохладное прикосновение ее губ. Как будто ме-
ня отбросило назад в детство, и я пробежал по июль-
скому росному лугу босиком, и где-то за зеленым лесом
в синем небе звенели колокола. Я держал Лину в сво-
их руках и слышал, как бьется ее сердце, вдыхал запах
ее волос, ее платья, всего ее милого девичьего существа.
Я долго так стоял, очень долго, целую вечность. В это
время завывала сирена. Я разжал руки. Лина заметалась
по комнате.

— Тревога, — шептала она. — Боже мой, опять тревога! Что же делать?

Она была бледная, и губы у нее дрожали, у бедняжки, так испугалась. И все это росистое утро на цветущем лугу, что сейчас цвело в этой комнате, отлетело, ушло от нас, развеялось как дым, поглощенное страшным, рвущим душу воем сирены. Мне нужно было идти на крышу. Я подал Лине плащ.

Ее рюмка осталась на столе. Мы вышли во двор. Ночь была бодрая, свежая, и в небе ясно блестели небрежно насыпанные звезды. Лина сказала:

— Я тетю возьму. Отведу в метро, она больная.

Она пошла по двору и исчезла в темноте, только слышно было, как простучали ее тufельки и где-то в глубине двора хлопнула наша входная калитка.

2

А я помчался по черной лестнице вверх, быстро добрался до седьмого этажа и сделал еще несколько шагов по железным ступенькам маленькой лестницы, ведущей на чердак. Пахло старой чердачной пылью, все балки были покрыты этой мягкой пылью дома, они были словно замшевые, эти балки, добрые и теплые, я знал их каждую в лицо. Наш мальчишечий мир лазил сюда еще в «те баснословные» года, когда мы играли в «казаки-разбойники», и каждый чердачный поворот, каждый каменный уступ был знаком мне и дружествен, я мог пройти по чердаку до любого слухового окна, закрыв глаза и не рискуя ушибиться.

На крыше уже сидел дядя Гриша — дворový водопроводчик, мой напарник по посту ПВО. Брезентовые рукавицы, щипцы и ящик с песком были в полном порядке — мы с дядей Гришей считались лучшими дежурными. Мы гордились этим, особенно дядя Гриша, он был в нашей паре начальником. Сейчас его силуэт темнел возле люка, я окликнул его и сел рядом. После чердачной непроглядной тьмы здесь, на крыше, было совсем светло, я видел маленькую тощенькую фигурку дяди Гриши, замасленную его кепочку с умильной пуговкой и хитроватые, круглые сорочьи глаза, настороженно поблескивающие в темноте. Он поднял короткий твердый палец, ткнул им в небо и сказал:

— Подходит...

Я уже давно слышал этот накатный злой звук и тоже уставился в небо. Проекторы наши метались по небу, толкались, на мой взгляд, без всякого смысла и всячески суетились. Бомбежка еще не начиналась, зенитки молчали, и в этой погоне прожекторов за невидимым зудящим звуком, за этой личинкой смерти, которая его издавала, было что-то в высшей степени странное, лихорадочное. Так протянулись несколько томительных минут, и вдруг далеко на горизонте, как мне показалось, где-то за Самотекой, а то и за Марьиной рощей, — прожекторы вдруг сбежались к одной точке на ночном небе, скрестились, образовав в центре своего соприкосновения как бы маленький молочно-голубой экран, и все вместе плавно потянули этот экран направо. Мгновенно грянули зенитки. Это было в самом деле как музыка, как весенний радостный гром, и я услышал, как рядом со мной засмеялся дядя Гриша.

— Схватили, — сказал он и всхлипнул. — Повели!

Я ничего не мог разглядеть, волнение ослепило меня, но дядя Гриша точно уставил свой маленький твердый палец куда-то вверх, крепко стиснул мое плечо, не отпускал его и все приговаривал:

— Вот он, фриц, вот он, гляди же, раззява!

Я наконец увидел небольшое серо-металлическое пятно, тускло поблескивающее в тисках прожекторов. Вот когда мне сжало сердце! И хотя чудеса редко бывают в жизни, но здесь чудо случилось. Немецкий самолет вдруг резко клюнул, потом замедленно, нехотя лег на крыло, неожиданно круто дернулся вниз и полетел, уже без порядка вертясь и кувыряясь, как лист, и оставляя за собой черный коптящий след. Проекторы провожали его за небосклон до земного предела, зенитки умолкли, и суровая тишина, сладчайшая тишина первого отмщения, повисла над московскими крышами. Я закрыл лицо руками. Дядя Гриша вынул из кармана краюшку хлеба и разломил ее пополам.

— На, — сказал дядя Гриша, — покушай хлебца.

Я взял хлеб и стал жевать. Да будь оно проклято, вот когда я понял свое несчастье! Хромой. Хромуля. Хромоног. На призывной комиссии, когда пришел мой год, меня даже не стали осматривать. Они сидели все рядом, все в белом, важные и властные, и когда увиде-

ли меня, сразу согласно зачеркали карандашами. Один из них сказал:

— Негоден.

И все неторопливо покивали головами.

Я тогда пошел домой не слишком огорченный. Я не думал, что будет война. Я не знал, что эта проклятая нога не даст делать самое нужное дело — бить врага. Я тогда увлекся живописью и решил стать художником. Я прочитал, наверно, тыщи полторы книг и целыми днями ходил по музеям. Осваивал наследство. А потом высокий худой человек завербовал меня в театр. Он привел меня за кулисы, дал мне краски, кисти, научил варить клейстер и кроить полотна, и театр покорила меня, поглотил меня всего, околдовал и поработил. Я ничего не видел тогда на свете, кроме кулис и декораций. Я полюбил запах клейстера и холста, волшебный запах грима, сухой запах париков и терпкий запах дешевого одеколора. Я знал и любил запах сырых афиш и горячий запах раскаленных ламп. Театр ухватил меня крепко, и ничто, кроме писаных задников, картонных замков, фанерных бастий, слюдяных речек и электрических звезд, не интересовало меня. Там, в театре, я и увидел эту удивительную женщину. У нее были прекрасные тонкие руки, и она не посмотрела, что я хромой. Нет, она не посмотрела, не сказала «негоден». И когда я сказал ей вчера, что уйду в ополчение, она упала головой на гримировальный столик и заплакала. Она здорово плакала — я поверил. И как она спокойно предала меня сегодня. Как это у нее просто получилось. Обещала прийти и не пришла, только и всего. Мило и грациозно...

— ...Второй заходит, — сказал дядя Гриша.

В небе опять плясали прожекторы. Били зенитки. Рычал, словно собираясь залаять, немецкий мотор.

И вдруг в воздухе что-то завывало, засвистело с ужасающим нарастанием. Воздух как бы заколебался, разорвался, меня вдруг бросило и втиснуло в крышу и потянуло с силой вниз, я распластался, заскользил и зацарапал ногтями, пытаюсь вцепиться в уходящую жизнь, но смерч все несся надо мной, и меня тянуло за ним, увлекало все дальше и дальше к краю крыши семиэтажного дома. Носки моих ног уперлись в водосточный желоб, воздух давил меня в затылок, пихал, чтобы

проломить мною эту ничтожную жестянку, а я упирался ногами и кричал, но огромный взрыв заглушил мои крики. Дом задрожал весь как в ознобе, и во внезапно наступившей тишине я услышал мелодические, робкие звуки разбивающегося стекла.

— В шестьдесят восьмой угодило, — сказал дядя Гриша, высовываясь из-за люка. — Разбомбило, видать. На палку-то, держись, ай встать не можешь?

Он протянул мне сверху багор, я взялся за него мягкими бескостными руками и полежал так несколько секунд, набираясь жизни от дяди Гриши. Это было как переливание крови. Потом я сжал пальцы посильнее и сказал:

— Подтяни чуть-чуть!

И дядя Гриша втащил меня.

— Мог слететь, — сказал он, — и очень просто.

Мы опять сидели с ним рядом, уже светлело, и мы смотрели на огромный столб пыли и дыма, подымавшийся совсем недалеко от нас.

— Везучие мы с тобой, — весело сказал дядя Гриша. — Ей-богу, везучие. Ведь это фугаска, полтонны, а то и тонна, не меньше, били небось по нас, да промазали.

Я сказал:

— Я пойду туда.

Но дядя Гриша не пустил меня.

— Мы на посту, парень, — сказал он. — Дай дожидаться отбоя.

Но все-таки это был конец. Наступал рассвет. Побелевшие лучи прожекторов словно истаяли в огромном небе и исчезли один за другим. Снизу послышался звон колоколов пожарной команды. Долетали какие-то крики — видимо, начинались спасательные работы.

Было трудно сидеть здесь и ничего не делать, но приходилось терпеть.

Так прошло еще с полчаса. Когда диктор наконец объявил отбой, я спустился вниз и побежал к разбомбленному дому. Он был оцеплен, пожарники и милиционеры никого не пускали. Их одутловатый начальник распоряжался работами. Сбежавшиеся со всех концов Москвы машины «скорой помощи» стояли с открытыми дверями и включенными моторами. Отдельно стоял большой черный фургон. Под ногами хрустело битое

стекло. Утренний ветер перегонял с места на место обрывки газет и легкие ватные хлопья. Горький запах пепелища, запах несчастья и сиротства пронзал душу. Два высоких санитаря пронесли мимо меня носилки. На носилках лежала Лина. Она была голубая. На левой Линоной ноге не было туфельки. Санитары несли Лину бегом, неосторожно, не боясь причинить ей боль. Они вошли в большой черный фургон вместе с Линой и почти мгновенно вернулись уже без нее. Фургон никуда не уехал.

Я повернулся и пошел домой.

3

Я вошел в маленькую, обитую темной жестью дверь одной из комнат в подвале нашего театра. Было девять часов утра, и кладовщик Борис Филиппыч сидел уже на своем месте. Он не оглянулся, когда я вошел, он барабанил пальцами по аккуратно прибранному столу. Набарабанившись, старик неприязненно глянул на меня из-под нависших лысых надбровий и протянул мне новенький, приятно пахнущий грецкими орехами, защитного цвета ватник:

— Прикинь.

Я надел ватник прямо на пиджак, он был мне чуть широковат. Борис Филиппыч посмотрел на меня и неодобрительно качнул головой. Потом он пошарил под столом и вытащил оттуда пару новых яловых сапог. Он кинул их мне под ноги. Сапоги упали, тяжелые, как утюги.

— Примерь, — сказал Борис Филиппыч.

Я разулся. Сапоги тоже оказались немного великоваты, но я не обратил на это внимания и надел их без портянок, прямо на носки. Свои ботинки я оставил у Бориса Филиппыча, он взял их не глядя, кинул под стол и протянул мне какую-то серую разграфленную бумагу, это была, по-видимому, ведомость. Старик ткнул в нее пальцем.

— Распишись. — Он посмотрел на меня и побарабанил пальцами по столу. Потом сказал: — Ну, будь.

Сапоги стучали и плохо сгибались при ходьбе. Они касались острыми краями голенищ моих подколенок. Они стучали очень красиво, так, наверно, стучат гол-

ландские сабб. Добротные были сапоги, громоздкие, как рояли.

Волоча их по пустынному фойе театра, я прошел на сцену. Было очень рано. Сцена была обставлена вчера ночью, рабочие еще не появлялись. Артисты приходят позже рабочих, но все равно, я не хотел никого дожидаться, потому что не мог себе представить, как я буду себя держать, если придет Валя, слишком мне это было бы трудно. Я вышел на улицу и постоял у рекламных щитов, в холодке. Валя смеялась мне с этих щитов щедрой солнечной улыбкой. Она была здесь в разных видах, дирекция делала на нее ставку — молодая звезда. Солнце стояло над городом, оно лило свою благодать на пустынную площадь, оно припекало во всю ивановскую, и меня совсем разморило в моей ватной кольчуге. Мне стало жарко и не захотелось по жаре стучать в тяжелых сапогах до дома, чтобы собирать вещевой мешок.

Из-за угла вышел Федька, наш молодой режиссер. Он подошел ко мне, ухватил меня своей мясистой рукой за локоть и сказал, поправляя роговые очки:

— Вот чертова жара, пошли в Эрмитаж, а? Там певец какой-то приехал из-за границы. Прослушивание идет.

Федька хрипло засмеялся, закашлялся, засипел, глазки его стали серьезными, он поправил очки и невесело добавил:

— Фриц прет как скажённый, а нам понадобятся интимные песенки. Пошли — полюбуемся?

Я сказал:

— Не хочется.

Федька близоруко сощурился и спросил:

— Ты чего это в ватник нарядился, как Чайльд Гарольд? И при сапогах?

— Я в пять часов уезжаю.

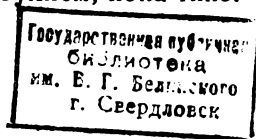
— Куда?

— В ополчение.

— Так, — сказал Федька.

Он постоял, помаргивая и томясь и растерянно переступая с ноги на ногу. Потом он решительно шагнул ко мне.

— Слушай, — сказал Федька, — у меня вопросик: а не наплевать ли нам на интимные песенки? Пошли погуляем, пока тихо.



У меня словно камень с души свалился. Я сказал:
— Ну что ж, пошли...

И я пошел с Федькой, с этим тюленем, с этим близоруким бегемотом. Я шел с ним рядом, скинув ватник, стуча сапогами, и радостно было мне, потому что человеку нужен друг, и на войну его должен провожать друг, а без друга человек не человек.

Мы пошли с ним по улице Горького, вышли на Красную площадь, постояли перед храмом Василия Блаженного. Мы всегда им восторгались. Потом мы перешли через мост, ходили по Болоту и — снова под мост, на набережную. Москва-река дышала в наши лица, остужая их, и Кремль глядел на нас своими несказанными куполами, и зеленой травы на спуске у Большого дворца было так много, и такого она была изумрудного яркого цвета, что действовала просто как болеутоляющее. Мы перешли еще один мост и пошли Александровским садом обратно к улице Горького. Она была красива и широка, и нам, москвичам, все еще трудно было привыкнуть к новым ее масштабам и к новым огромным домам, выросшим так недавно. Мягкий асфальт таял под ногами, и мои сапоги уже давали себя знать неприятной болью где-то над пятками. Мы шли вверх по улице Горького, прошли телеграф и Моссовет. Мы больше помалкивали, но когда дошли до елисеевского магазина и прошли его, Федька вдруг сказал:

— А может быть, выпьем?

— После, — ответил я, — ближе к отъезду.

— Завтра, завтра, не сегодня, так ленивцы говорят, — сказал Федька. — Никогда не откладывай такие дела. Увидимся ли...

Мы вошли с ним в ресторан, где директором был знаменитый Борода — седой, красивый, веселый человек. В этом ресторане питались почти все артисты Москвы, да и вообще театральный народ. Я был здесь несколько раз с Федькой, бывал и с Валея.

В дверях нас встретил бритоголовый, с красным склеротическим лицом официант Лебедев. Он сразу признал меня и показал глазами на свой столик. Этот старик служил здесь испокон веку, всю свою жизнь, и мне было приятно, что он, видите ли, узнал меня. Мы сели за столик, Федька хрюкнул и поправил очки.

— Дайте нам водки, — сказал он деловито.

— В такую-то жару? — усомнился Лебедев. — Может, пивка?

— Не надо нас воспитывать, — отрезал Федька. — Мы уже большие. Мы уже ополченцы. Сегодня уходим. Последний нонешний денечек. Видите, мы в ватнике! Когда еще достанется? Потом будешь вспоминать, слезами обольешься. Да и увидимся ли...

Мы выпили, поговорили с Федькой о театральных делах, и Федька налил по второй.

— Не стоит, — сказал я.

— После слезами обольешься, — строго сказал мне Федька. — Надо выпить, куме, тут — на том свете не дадут!

Мы выпили еще.

— Не удовлетворяют меня театральные формы, — объявил Федька, — обветшали! Честное слово! Все стригутся под Станиславского. А надо, брат, работать! Понял? Надо искать! Где? В формах, вот где. Формализм — великая вещь, если им правильно пользоваться, да, да. Давай, слушай, пей, не задерживай.

— Неохота, тебе говорят, — сказал я.

— Если ты уверен, что мы увидимся с тобой, друже, — сказал Федька, — тогда не надо... А если не уверен...

Мы выпили. Федька откинулся на спинку стула.

— Ты бы хоть рассказал, что такое твой формализм? Как ты его понимаешь? — спросил я.

Федька копался в своей тарелке, придирчиво рассматривая каждую капустинку сквозь очки.

— Формализм, брат, я понимаю, как формальное отношение к форме и формалистам!

Он захохотал и стал устанавливать тарелку на горлышко графина.

— Я, — сказал он надменно, — ишу новые формы! Довольно бриться под МХАТ! Что когда-то было прогрессивным — может сегодня оказаться глубоко реакционным. Ты об этом думал?

Он взялся за графин.

— Вот мы сейчас выпьем за то, чтобы нам увидеться! За чудную нашу землю минус фашизм! Давай!

Тарелка, конечно, вырвалась все-таки из его толстых пальцев, упала и разбилась.

Лебедев стал собирать осколки.

— Это к счастью, — сказал Федька и полез под стол помогать Лебедеву.

Я наклонился к нему и тоже помогал.

— Значит, ты, Митька, вернешься в полном порядке, — сказал Федька под столом и вылез оттуда, пыхтя и отдуваясь. — Это к счастью, уверяю вас. Лебедев, голубчик, принесите нам еще водки.

— Дудки, — сказал Лебедев, — вы ужé.

— Что — ужé? — удивился Федька. — Лебедев, поймите, мы провожаем его в ополчение. Ведь он у нас ребенок. Он, может быть, там заболет или что-нибудь еще. Ведь его же жалко. Лебедев, у вас есть дети?

— Две персоны, — сказал Лебедев.

— Девочки?

— Мальчики.

— Большие?

— Одному сорок два, другому тридцать восемь.

— Вот видите, — сказал Федька. — Принесите выпить.

— Все, — твердо сказал Лебедев. — Разрешите получить. После благодарить будете.

Я сказал:

— Пошли, Федька, собраться надо.

Я заплатил Лебедеву и дал ему пять рублей на чай. Когда я встал, Лебедев тронул меня за плечо.

— Увидимся, — сказал он. — Крепко надеюсь!

4

Мы с Федькой пошли ко мне. Дома у меня все было по-прежнему неприбрано. Линина рюмка стояла на столе, и гвоздик, на котором висел вчера ее плащ, торчал на своем месте.

— Плохо у тебя, — сказал Федька. — Это чья рюмка?

— Не тронь, — сказал я.

Федька отдернул руку.

— Дамы? — сказал он. — Красотки кабаре?

— Она уже умерла, — сказал я.

Федька посмотрел на меня странно увеличившимися глазами.

— Я пьяный, да? — спросил он. — Ничего не понимаю.

— Сегодня разбомбило дом, в котором она жила, — сказал я. — Я видел, как выносили ее тело.

Федька отошел от стола.

— Хорошая? — сказал он. — Красивая?

— Ты не про то, — сказал я.

— Любил? Крепко?

— Совсем не любил, — сказал я.

— Пьяный я, совсем разобрало, — сказал Федька. — Жалко как мне тебя, и эту девушку жалко, всех так жалко, хоть помирай.

Он скрипнул зубами и лег на постель.

А я быстро стал собираться. Положил в мешок полотенце, рубашу, чашку, носки, булку, остатки вчерашней колбасы, ножик, галстук, сахар и карандаш. Подпершись локтем, Федька лежал на боку и смотрел на меня молча и сочувственно.

— Ну, а она? — сказал он.

— Кто? — сказал я.

— Сам знаешь.

Я промолчал.

— Тяжелый ты человек, — пробормотал Федька, уминая под себя подушку. — Потому что хромой. Ты думаешь, — ты гордый, а ты просто тяжелый. — Он укоризненно покачал головой. — Может быть, что-нибудь передать на словах? — крикнул он. — Не молчи!

Но я все-таки промолчал. Федька сел на кровать и стал причесывать прямые волосы толстой пятерней.

— Вот что, — сказал он неожиданно. — Я решил: я с тобой поеду. Нельзя тебя одного отпускать. Слышишь? Я еду с тобой!

Это он говорил совершенно серьезно.

— Не смейши народ, Федька, — сказал я.

Он погрозил мне кулаком и снова улегся на спину. Кровать прогибалась под ним, он покряхтывал, глядя в потолок. А я вышел на кухню, разделся до пояса, умылся холодной водой и потом долго стоял, не вытираясь, от этого было еще прохладней и благодней. Опьянение слабело во мне, выходило через поры освеженного тела, выдыхалось постепенно, и от этого на душе становилось все лучше и лучше.

Потом я прибрал на столе, подобрал с полу обрывки бумаги, взял мешок, надел, встряхнул, чтобы он улегся на спине поспростившей, и сказал:

— Пошли, Федька. Пора.

Он вскочил с кровати и тоже побежал к крану. Я opravил за ним кровать. Федька кончил мыться. Он сказал:

— Пошли.

Мы вышли в коридор. Я запер дверь комнаты и положил ключ в почтовый ящик.

Федька спросил:

— Это зачем?

Я сказал:

— Для ребят. Мало ли кто зайдет, Андрюшка или Санька.

— А может, сдать в домоуправление?

— У них есть запасной. Да они и про этот прекрасно знают.

— Ну что ж...

— Да, — сказал я, — пора. Пошли, Федька.

Мы пошли со двора. Солнце уже не палило так нещадно, хмель улетучился из головы, и идти по теневой стороне было приятно.

— Далеко нам? — спросил Федька.

— Пять минут ходу, — сказал я.

Мы уже подходили к углу, когда кто-то окликнул нас. Это был наш актер Зубкин. Маленький, надутый, с большим лягушачьим ртом, этот деятель давно действовал мне на нервы. Ставка на карьеру во что бы то ни стало, при сером характере дарования, неукротимый подхалимаж и хамелеонская способность ежеминутно перестраиваться отталкивали меня от него. Он кричал на уборщиц и гнул спину перед первачами. В общем, все ясно. Подлец, и больше ничего.

Зубкин шел за нами, через плечо у него была перекинута солдатская скатка — ярко-голубое детское одеяльце. В руках Зубкин держал большую хозяйственную сумку.

— Далеко собрались? — молодежато спросил он.

— Недалеко, — сказал я.

— Он уходит в ополчение, — объяснил Федька. — Сегодня. Сейчас.

— А ты, значит, его провожаешь?

— Да.

— Ну что ж, — сказал Зубкин. — Все правильно. Ты, Королев, ведь сам просился?

— Сам, — сказал я.

— Значит, исполнилась твоя мечта.

Можно было подумать, что он мне завидует, что у него была такая же мечта, но она не исполнилась.

Мы подходили к залу Чайковского. Там стояла длинная очередь стариков, детей и женщин. Они ждали открытия метро. С четырех часов метро открывалось как бомбоубежище. Зубкин замедлил шаг и пристроился к печальному этому хвосту.

— Ну, бывай, — сказал он браво. — Желаю успеха в борьбе с озверелым фашизмом.

Он протянул мне руку, я не взял ее. Зубкин покраснел. Мы пошли дальше.

— Подожди, — сказал Федька.

Я остановился. Федька вернулся к Зубкину. Он тронул рукой свои очки и, уставив толстый палец Зубкину в грудь, громко сказал:

— Зубкин! Ты сволочь!

Мы пошли дальше.

— Он тебя съест, — сказал я Федьке.

— Подавится, — ответил он. — Не мог я себе откачать в этом. Если бы я сдержался, я бы сам был сволочь.

— Не кипятись, — сказал я.

Мы пошли еще веселей, снова мимо нашего театра, я еще раз увидел, как смеется на афише Валя. Скоро мы пришли в большую школу-новостройку, стоявшую в маленьком, мохнатом от зелени дворе.

Народу здесь было видимо-невидимо, и особенно бросалось в глаза, что это в большинстве своем пожилой народ. Молодых было мало, очень мало, а вот морщинистых, толстых, седых было вполне достаточно. Все эти пожилые, толстые и седые люди были окружены женами и детьми. Во дворе стояла та особенная тишина, которая часто бывает в приемных больниц, когда человек знает, что ложиться на операцию нужно, это неизбежно, тут ничего не поделаешь, и все это на пользу, во имя здоровья и, может быть, самой жизни. А все-таки внутри у тебя сиротливо, и боязно тебе, и торжественно. Близкие люди смотрят на тебя с любовью и страхом, с надеждой. И ты сам ощущаешь, что ты уже не с ними, а там, за чертой, ты сел на пароход, плывущий в неведомые суровые края, низко и протяжно запел гудок, швартовы отданы, судно отваливает от дебаркадера, и на

берегу осталась твоя прежняя милая жизнь с васильками и веснушками. По мере того как пароход выходит на середину реки, струна, связывающая тебя с берегом, натягивается все туже, становится все тоньше, и от этого больно, но ты знаешь, что струна эта не лопнет никогда, она только истончается от расстояния и времени, и пронзительней делается боль.

Я пошел в глубь двора, где стояли столики с цифрами и буквами, разыскал свою литеру, отметилсЯ и спросил у человека в железных очках, что мне делать дальше. Он сказал:

— Ступай, Королев, за дом. Там котелки выдают, получи себе. Ты теперь под моим началом будешь, я твой командир. Бурин Семен Семенович. Жди во дворе команды.

И он улыбнулся мне, но тут же насупился. Видно, считал, что командиру не к лицу улыбаться.

Я пошел за Федькой, потом мы вместе пошли за котелком, и Федька ни с того ни с сего взял котелок и себе. Он совсем отрезвел, был угрюмый и все время поправлял очки. Мы стояли во дворе и ни о чем уже больше не говорили, а я все думал, что во дворе много, очень много женщин, и как же это Валя сидит сейчас дома, или репетирует, или слушает интимные песенки, когда я стою тут в сапогах, у меня уже натерты ноги и котелок в руке, и скоро-скоро поезд грянет, и прости-прощай, прощевой пока... Мне было непонятно, что ее здесь нет, но я не ругался, не клял, просто я совершенно ничего не мог понять.

Так длилось довольно долго. Наконец ко двору подъехало несколько старых грузовиков, раздалась команда: «По машинам!», «Второй взвод, ко мне!». Я протянул Федьке руку, и он пожал ее. Мы обнялись. Котелки гремели в наших руках во время объятия, я взял Федькин котелок и нацарапал на нем ножом: «На память», — и расписался. На зеленой краске было приятно резать, и получилось совсем неплохо. Федька еще раз пожал мне руку, снял очки и стал их протирать углом пиджака. Я побежал строиться. Началась переключка. Потом мы сели в машину, поехали на Киевский вокзал, повыскакивали из машин и погрузились в вагоны. Провожающих не было, мы сидели кто на скамейках, а кто на полу на корточках, еще не знакомые, еще не сдру-

жившиеся, но уже связанные одной солдатской ниточкой. Вечерело, и за окном было слышно, как поездная бригада постукивает молоточками по колесам, и доносился тихий чей-то разговор:

— Отправляемся?

— Да, с минутой осталось.

В это время в дверях нашего пахнущего карболкой вагона появилась стройная маленькая женщина... Она остановилась, держась за концы накинутого на плечи полушалка, и поглядела темными исплаканными глазами в глубь вагона. Негромким тоскливым голосом женщина крикнула:

— Василь Сергенч, ты здесь? Отзовись!..

Тотчас откуда-то из темноты кто-то испуганно откликнулся:

— Галя?

И, шагая прямо по ногам, мимо меня пробежал высокий седой человек. Женщина прильнула к нему, было слышно, как она плачет, седой человек поднял ее на руки, как маленькую, и вынес из вагона. Состав дернулся, седой вскочил на подножку, что-то неразборчиво крича, за окном бежала маленькая женщина, держась за концы стянутого на груди платка, колеса тархтели, поезд набирал скорость. Мы поехали.

5

Тепло было в этом трясущемся вагоне, тепло и уютно. Где-то в самом отдаленном уголке горела единственная тусклая лампочка, в полураскрытые окна задувало прохладительным ветерком, сладко и ново пахло махоркой. Высоко в синем небе зажглись бледные звезды и побежали за нами, я смотрел на них, смотрел неотрывно и, хотя в вагоне было чересчур тесно и в общем очень неудобно, я чувствовал, что здесь уже поселился и жил невидимый, но горячий дух солдатского братства, и я сразу пошел с ним на сближение, я раскрылся ему, и мне тотчас стало спокойней, даже душевная боль как будто немного притупилась.

Я старался не думать о Вале, просто сидел в темноте и вроде дремал. Я вообще дьявольски устал за эти последние сутки. Я привалился к стене, осторожно протянул ноги и задремал чуть-чуть покрепче, и тут-то ока-

залось, что прошедшие сутки не отпускают меня. Дрем-ли и качаясь вместе с вагоном, я все звонил куда-то в полусне, звонил, звонил и не мог добиться ответа и исходил бессильным отчаянием и сердечной тоской.

Видно, кто-то, проходя по вагону, толкнул меня, и я проснулся от несильной боли в боку. В вагоне стало еще теплей и немного светлей. Прямо против меня, на уголышке, сидел русоволосый складный парень с простым и добрым лицом. Он снял с себя верхнее и сидел в одной майке, сверкая мощным разворотом белых плеч и бильярдными шарами бицепсов. Маленький человек, которого в полумраке можно было бы принять за мальчишку, маленький, но вполне взрослый человек, с седеющими висками, в огромном кожаном пальто и в такой же кожаной кепке, сидел рядом с русоволосым богатырем. Кепка спадала на уши маленького, и рукава его пальто были много длинней рук. Тут же, сложив на коленях загорелые мосластые руки, сидел человек, на три четверти состоящий из буйной, ячменного цвета бороды. Я подумал, что такая борода немыслима без ярко-голубых глаз, похожих на цветок льна. Да, глаза у этого медведя были льняные, голубые, веселые, смекалистые, такие глаза имеют только бывалые, настоящие люди, и мне очень понравились Лен и Ячмень. Там была еще и Кукуруза. В улыбке человек обнажал ряд ровненьких, уже пожелтевших, как кукурузные зерна, зубов. За ним — некто высокий в сером, с лошадиной челюстью, дальше виднелись бухгалтерский профиль, ежиковая голова, орлиный нос, слоновое ухо и много, много еще...

— Надо спеть, — сказал маленький человек и вздохнул, — надо спеть хорошую песню.

— Верно, — сказал сидевший в майке. — Валяй, Тележка, затягивай!

Меня поразило, что они уже были знакомы, были на «ты» и что у них даже и прозвища какие-то появились. Маленький человек закрыл глаза.

Там вдали за рекой
Загорались огни... —

начал он, и в вагоне сразу стало тихо, и над перестуком колес поплыл, зазвенел тонкий, качающийся голос маленького человека, запевшего первую нашу общую песню:

В небе ясном
Заря догорала...

Он перевел дыхание, получилась маленькая пауза,
все мы вдохнули воздух и —

Сотня юных бойцов

(это пели уже все)

Из буденновских войск... —
На разведку в поля поскакала..:

Когда повторяли во второй раз, русоволосый парень
взвился голосом куда-то высоко-высоко, в самое подне-
бесье, словно задумал совсем от нас улететь, —

Из буденновских войск... —

но его удержал на земле чей-то глубокий темно-синий
бас:

На разведку в поля поскакала...

И тут мы все стали глядеть на маленького человека,
стали глядеть с надеждой, нетерпеливо, торопя его и
понукая, поощряя и прося...

Они ехали молча
В ночной тишине,
Ах, по широкой
Украинской степи... —

с виду бы совершенно спокойно повел рассказ дальше
маленький человек, но все мы знали, что встреча и бой
неминуемы:

Вдруг вдали
У реки
Засверкали
Штыки —
Это белогвардейские цепи.

И тут маленький человек заторопился, он пел, захле-
бываясь от ветра, свистящего в ушах, и дрожа от бешеной
скачки:

И без страха
Отряд наскочил
На врага!..

Теперь песня уже не гремела, она стлалась по низ-
ким волнам седого ковыля:

Он упал
На траву,
Возле ног
У коня
И закрыл свои карие очи..
— Ты, конек вороной,
Передай, дорогой,
Что я честно
Погиб за рабочик!

Слушая эту песню, я пел ее вместе со всеми и думал, что это хорошая песня, что ее не забыть никогда и что теперь пришла моя очередь ее петь. То дело давно было, в восемнадцатом году, а теперь уже сорок первый, но это все равно, пришла моя очередь, и пусть это будет не так красиво, без тонконогих быстрых лошадей и без свиста серебряной сабли, все равно я горжусь тем, что пришло время, пришла моя очередь, и я пою эту песню вместе с моим отрядом и без страха иду на врага. И, может быть, думал я, у меня когда-нибудь будет сын, и я научу его этой неумирающей песне.

...Тусклая лампочка вдруг часто замигала, поезд как будто споткнулся на ходу, залязгали, набегая один на другого, буфера, и мы остановились.

Тотчас же от дверей вагона раздался негромкий, но повелительный голос:

— Выгружаться! На платформе повзводно стройсь!

Один за другим мы протиснулись к выходу и попрыгали на платформу. В этой толчее и суете я потерял своих новых товарищей и, когда спрыгнул вниз, отбежал два шага в сторону и встал, озираясь по сторонам. Было здорово темно. Тучи плотно задернули небо, и в воздухе запахло крепким спиртовым запахом ночного дождя. Две-три капли, тяжелых, как монеты, упали мне на плечо.

Я не знал, куда мне идти, не узнавая в этих суетящихся в темноте тенях никого из моих товарищей по вагону. Вдруг откуда-то слева донесся протяжный и требовательный голос:

— Второй взвод, ко мне-е-е!

Я обрадовался этому голосу, как родному, и побежал к нему. У палисадника я остановился, узнав в кричащем человеке командира Бурина. Он раскинул руки и крикнул:

— Ста-а-новись!

Я встал в строй. Дождь усилился. Послышалась команда: «На-пра-во! За мной ша-гом арш!» — и мерное похрустыванье наших шагов. Мы обогнули палисадник, прошли позади станционного здания и снова услышали строго-заботливый голос взводного:

— Под ноги! Ноги!

Впереди идущие чуть замешкались. Потом и я перепрыгнул через какой-то брус, взвод свернул вправо, прошел мимо плоских и длинных амбаров, обогнул молчаливую группу огромных ветел и вышел на мягкую, мокрую, начинающую раскисать от дождя дорогу.

Сзади кто-то сказал:

— Мы на фронте.

6

Мы шли через темную дождливую ночь по размытой, вязкой дороге, и я чувствовал, как набухает от дождя мой новенький ватник и въедливая, холодная сырость просачивается сквозь него. Лямки вещевого мешка натерли ключицы, и они ныли и саднили. Я поминутно оступался, спотыкался, терял равновесие и хватался за товарищей по шеренге, чтобы удержаться на ногах, но все это было бы ерунда, если б не ноги. Еще сегодняшним далеким утром сапоги начали свою черную работу, и они не прекращали ее ни на минуту, скребли и натирали мне своими каменными задниками пятки. Но по сравнению с теперешней болью утренние ссадины были просто пустяки. Сейчас сапоги разрушали мои ноги по-серьезному, и я понял, что мне несдобровать. Каждую минуту я говорил себе, что не дойду, что больше уже не могу сделать ни шагу, и все-таки шел.

Я не знаю, сколько это продолжалось, наверно, очень долго. Темнота все сгущалась, мы шли через самую толстую завесу ночи, был слышен наш недружный разрозненный шаг, и впереди иногда что-то неразборчиво выкрикивал взводный.

Наконец часа через три мы втекли в какую-то маленькую настороженную деревушку, и в рядах стало известно, что здесь мы будем ночевать.

— Да в любом сараюшке, — говорил кому-то человек — по голосу я узнал ячменную бороду. Он шел почти рядом со мной. — Сено, солома, сухо — чего еще? Отоспимся, а там дале пойдем, к месту назначения...

Я сказал голосу:

— Я с вами пойду.

Он живо откликнулся:

— А то с кем же? С нами, с нами, конечно. Вон и Тележка с нами, и Лешка, да и ты тоже. Мы вроде как своя компания. Тебе как фамилия?

Я ответил. Он сказал вдруг важно, и мне показалось, что я вижу в темноте Ячмень и Лен.

— А меня будешь звать Степан Михалыч, я постарше тебя.

Этот разговор очень пришелся мне по душе. Хорошо, что уже есть своя компания и что я тоже в компании, а я этого совершенно не знал. Я теперь шагал особенно внимательно и все поглядывал в сторону Степана Михалыча.

Мы шли еще и еще, кружась по деревне и плутая в ее переулках, случайно набрали на колодец, услышали скрип, увидели маленький огонек, и тотчас к колодцу побежали прямо из строя многие из наших ребят. У меня давно уже пересохло горло, во рту было сухо, хоть помирай. Пот бежал по лицу и сейчас же высыхал, такой я был разгоряченный, а дождем не напьемся, особенно на ходу, так что я вместе с другими тоже отбежал к колодцу.

Там стоял маленький керосиновый фонарик. Как он дожил до нашего времени — непонятно, такой он был старомодный, древней формы, как паровоз, на котором ехал Стефенсон. Колодец был обыкновенный «журавль», распорядилась здесь молодая женщина, она опускала легкое ведерко вниз, ловко перебирая руками, как будто мерилась в чижики, жестяное ведерко шлепалось где-то неглубоко, и женщина подымала его кверху. Подавая нам воду, женщина глядела на пьющих, и из прекрасных огромных ее глаз бежали небыстрые слезы. Мы пили из ее теплых родных рук чистую холодную воду. Старые, молодые, хорошие или плохие, мы все пили из ее рук, это была наша женщина, и хотя она была молодая и очень красивая, я услышал, как старый человек с толстым носом сказал ей, отдавая ведерко:

— Спасибо, мать.

Я напился воды досыта, а все стоял. Жалко было уходить. Здесь на ветру, у маленького фонаря, в брызгах и скрипе старого колодца, сияли добрые прекрасные

глаза, они отогревали душу, и не хотелось уходить. Но откуда-то издалека раздался негромкий, но слышный тенорок Степана Михалыча:

— Ми-и-тя-а!..

Я взглянул на женщину, она улыбнулась мне сквозь слезы, я кивнул ей и побежал на зов, прихрамывая сильнее, чем обычно.

...Это был довольно большой сарай, наполовину набитый соломой, в темноте уже пахло черным хлебом, и слышно было, как возятся люди, шурша соломой и устраивая себе ночлег. Слышно было уже сладкое позевывание с подвыванием, и звяканье отстегиваемых ремней, и только что народившийся ядреный храп.

Я сказал наугад:

— Степан Михалыч?

Он как будто ждал меня.

— Митька? — отозвался он строго откуда-то слева.

— Ага, — сказал я и двинулся к нему.

— Шляешься, — сказал Степан Михалыч. — Иди сюда, тут вся наша публика. Иди, малый, не бойсь. Тележка, посунься-ка малость. Лешка, пусть-ка он с тобой ляжет.

Степан Михалыч был за старшого. Все его слушались.

— Давай сюда, — сказал Лешка.

Я пошел на его голос и, дойдя, опустился на солому. За моей спиной солома стояла твердой колючей стеной, на нее можно было опереться. Надерганная из этой стены, она лежала подо мной, как хрустящий, роскошный пуховик. Мне казалось, она светится в темноте небывалым золотым цветом.

— Еще суток двое пройдет, пока до места доберемся, — сказал Степан Михалыч. — Есть-то хочешь, малый?

— Нет, — сказал я, — устал...

— Отдыхай, — сказал Михалыч. — Устал, так отдохай.

Я снял с себя ватник и положил его в головы. Теперь я пытался снять сапоги. Они не давались, и я сопел от напряжения.

— Давай помогу, — сказал кто-то рядом, и на фоне открытой двери я узнал маленького Тележку.

Я сказал:

— Не надо, я сам.

— Давай я, — сказал лежавший рядом Лешка. — Сиди, Тележка.

Он встал на колени и помог мне стащить сапоги.

Снять носки я побоялся, потрогал только руками, носки прилипли к пяткам, и я знал, что под ними раны.

— Ноги сбил, — сказал я, — стер к чертовой матери, еле дошел.

— Ноги надо беречь, за ноги солдата на «губу» сажают, — сказал Степан Михалыч.

— Ну и сапожищи же, — сказал Лешка, — тут сотрешь! Как из листового железа.

— Ты, Лешка, — опять вмешался Степан Михалыч, — ты завтра разбей ему, ведь погибнет.

— Ладно, сделаем, — сказал Лешка. Он помолчал, а потом спросил, чуть придвинувшись, как бы уже заводя разговор, касающийся только нас двоих: — Парень, а ты кто?

— Маляр я, — сказал я, — в театре маляр.

— В театре? Вот интересно! — живо воскликнул Лешка. — Там всегда интересно. Артисты... Слушай, скажи, верно говорят, что артисты, когда на сцене плачут, они себе незаметно глаза луком натирают, чтобы слезы текли?

— Брехня, — сказал я.

— А артистки красивые? — спросил Лешка.

— Красивые.

— Все?

— Все.

— До одной?

— До одной!

— Врешь.

— Леша, — спросил я, — а ты кем работаешь?

Кто ты?

— Я разнорабочий, — сказал он, — на заводе болванки таскаю. Делу еще не выучился. Года не те, на фронт и то года не подошли.

— Выучишься, — сказал Степан Михалыч, который, видно, слушал нас. — Выучишься и будешь инженер или, как Тележка, — архитектор.

— Воевать нужно, — сказал Тележка. — Вам понятно? Нужно воевать, а мы что? Грыжевик да хромой, младенец да старик, да изжога...

— Не скажи, — сказал Степан Михалыч. — Ты, может, и грыжевик, а я изжога, а мы все равно дело сделаем. Мы свое дело сделаем. Не скрипи, Телега.

— Я не скриплю, — сказал Тележка. — Не в том дело. Просто хочется дать больше, чем можешь, понял? Больше и еще в два раза больше.

— Это-то я понял, как не понять. Это в тебе душа горит, рвется душа! Это понятно, это я вижу!

— Все-то вы видите, все-то вы знаете, дорогие наши Степаны Михалычи, — вздохнул Тележка. — Не вахтер с «Самоточки», а чистый профессор кислых щей. Все про людей понимает.

— Не строй из себя, — сказал Степан Михалыч. — Брось смешки. Не глупей вас.

— Да нет, я серьезно, — сказал Тележка и снова вздохнул. — Может, поспим?

— Пора, верно, — сказал Степан Михалыч. — Мить, ты что, уснул, что ли?

— Да нет, — сказал я, — нога болит.

— А ты где ее взял... эту твою... хромость-то? — деликатно, боясь обидеть, спросил Лешка.

— В детстве. Машиной стукнуло...

— Беда, — сказал Степан Михалыч.

— Но он ловко шкандыбает, — заступился Лешка. — Ничего не скажешь, управляется. Это как у тебя получилось?

Он уже меня спрашивал. Но мне не хотелось об этом говорить, и я сказал:

— В другой раз, Леша. Спать охота.

Он ничего не ответил, замолчал. А мне уж очень не хотелось вспоминать. Не хотелось, но оно само пошло. Все-таки я снова увидел, какой я был тогда маленький, я еще поднимался на цыпочки, вставал на приступку, чтобы позвонить домой. На дворе было солнечно и весело, мы играли с ребятами в салочки. Отец вышел из дому с соломенной корзинкой в руках, он шел на рынок, а мне всегда нравилось ходить с ним не только на рынок, а куда угодно, и когда я увидел его, я помчался к нему, уцепился за корзинку и стал просить его взять меня с собой. Но отец сказал, что ему нужно очень быстро обернуться и что я буду только мешаться под ногами. Я отстал, он вышел из ворот, помахал корзинкой, а мне вдруг стало обидно и тоскливо, и я побежал посмотреть, как

он свернет за угол. На улице было мало народу, я видел, как отец свернул за угол, и я стал возвращаться, а в это время из каких-то ворот задом выскочил грузовик и огромной своей шиной переехал мне левую ногу.

Когда отец вернулся с рынка, я уже лежал в больнице. Я долго там лежал, а когда вышел, уже был хромым. Отец никогда не мог простить себе, что не взял меня тогда. С тех пор он всюду меня брал, всегда держал меня на коленях или, если это было нельзя, старался погладить по голове. И когда он меня так гладил, мама всегда плакала.

Я лежал в сарае, в темноте, закинув руки за голову, укрытый соломой, рядом со мной лежал разнорабочий Лешка, обдавая меня своим молочным дыханием, за широко открытыми дверьми в огромном небе бегали рваные тучи, дождь возился в соломе, как осенняя мышь...

7

Утром нас снова построили, и мы, отдохнувшие за ночь, пошли дальше и двигались довольно бодро. Ноги мои еще болели, но Лешка перед выходом взял у меня сапоги, долго колотил камнем и в конце концов раздробил чугунные задники и насовал по полпуда соломы в каждый сапог. Сейчас я шел «почти не страдая» и чувствовал себя как в раю. К тому же и утро было веселое, светило солнце, молодые облака разбегались по небу врассыпную, словно стараясь поскорее скрыться от строгого хозяина. С небольшими привалами шли мы почти весь день, и наконец нам сказали, что мы пришли.

Это было огромное поле, распластавшееся подле небольшой деревушки, стоявшей на двух берегах маленькой речки, от нее метрах в пятистах. Мы остановились на этом поле и вытянулись длинной, неровной, пестрой шеренгой. Теперь на солнце хорошо была видна наша разноперая одежда, возрастная наша путаница и полная несогласица во всем, начиная от манеры двигаться до манеры стоять вольно. Нет, это была не армия, куда там, никакого сравнения! У меня снова заняла старая косточка обиды на судьбу, не давшую мне стать настоящим солдатом.

Тем временем среди нас появились люди с веревками

и колышками и стали натягивать эти веревки и колышки по одной прямой, только им одним ведомой линии. Это продолжалось довольно долго, шеренга наша расстроилась, многие уже сидели на земле или лежали, покуривая. Вдруг мы услышали звук автомобильного мотора, и прямо к нам, переваливаясь через кочки и ухабины, откуда-то выскочила маленькая «эмка», по уши заляпанная грязью. Машина не успела еще остановиться, как из нее вырвался человек с измятым, желтым, нездоровым лицом. Человек этот взбежал на пригорок, повернулся к нам лицом и заговорил. Он был довольно далеко от меня, сильный ветер хватал слова у самого его рта и отбрасывал на правый фланг, и я почти ничего не слышал. Но по тому, как крылато взметались руки этого человека, по злomu напряжению всего его тела было видно, что говорил он хорошо. Он потрясал кулаками и показывал в землю, он грозил врагу, и приказывал, и вел нас за собой, и когда правофланговые нестройно закричали «ура», мы, ничего не слышавшие, но хорошо почуявшие ненависть, пылающую в сердце оратора, — мы тоже крикнули «ура».

Подъехали грузовики, нам роздали лопаты, и человек, говоривший речь, первым схватил лопату и со страшной силой вонзил ее в землю. Он выворотил здоровенный ком, было слышно, как трещал дерн. Не раздвываясь, не ожидая команды, мы похватили свои лопаты и накиннулись на землю. Земля сотрясалась от наших ударов. Человек, говоривший речь, вскочил в машину, и она поскакала вдоль фронта работ. Вслед за ее колесами катилось горячее «ура». Мы рыли землю, мы копали, мы строили рвы, эскарпы и контрэскарпы... Как мы хотели, чтобы здесь, о сделанные нами укрепления, споткнулся и сломал бы свои омерзительные лапы коричневый паук! В этом был смысл работы, в этом была цель нашей жизни, и нас нельзя было остановить. Это было вдохновение. Потное, алчное до успеха, до осязаемых результатов.

Через час огромный вал свежееотрытой коричневой земли протянулся по трехверстному фронту. Это было ослепительное начало. Мы смотрели и не верили, что это сделали мы. Мы гордились этой комковатой неприбранной землей, и хотя самое трудное было впереди, мы уже видели, что сможем — можем, черт побери! Вот

они, результаты нашего труда, они пахнут сыростью, в них копошатся дождевые черви, но намечена первая линия огромного рва, значит, дело будет доделано и со-служит свою службу.

Я захотел пить. Река была неподалеку. Низкий неказистый кустарник рос на ее берегу. Спустившись, я увидел нашего Тележку. Он сидел, сняв шапку и распахнув грудь. С седых его висков сбегали струйки, под глазами лежали лиловые тени, щеки пылали. Небольшой кружечкой Тележка черпал воду из реки и пил. Я взял у него кружечку.

— Митя, — сказал Тележка, клацая зубами. — Ты ноги сбил, а я руки натер до крови — два сапога пара.

Он показал свои руки. На ладонях были огромные, уже успевшие лопнуть волдыри, из-под них выглядывала нежная, розовая, вся в кровавых ссадинах кожа.

Из-за куста вышел Степан Михалыч.

— Надо перебинтовать, — сказал он. — Не набрасывайся на лопату, не жми, не в том дело. Здесь умом надо, а так ты совсем из строя выйдешь, Телега...

Тележка сидел и смотрел на реку.

— Меня знобит, — сказал он.

— Ты эту воду пил?! — закричал Степан Михалыч. — Ну что мне с вами делать, интеллигенция необразованная! Ведь она речная, зябкая, в ней бог весть что плавает. Ведь это риск! Не смей пить! — крикнул он мне и вышиб кружечку из моих рук. — Привезут воды или отведут на ночевку — колодезной попьешь! Посдыхаете тут, а кто работать будет?

Я прополоскал водой рот, зубы заныли, заломило челюсти. Я с удивлением посмотрел на хлипкого Тележку: как он мог пить такую?

Мы снова вернулись на место и стали копать. Оратор давно уехал, многие бегали по нужде за кусты, первый порыв пролетел, и на нашем участке как бы наступили будни.

В это время к нам пришел еще один парень, я уже видел его издалека. Он был в очках, с наискосок сломанным передним зубом, щегольски одетый в галифе и ковбойку.

— Кто здесь отделенный? — спросил парень.

Мы переглянулись. У нас не было отделенного. Лешка сказал:

— Пусть Степан Михайлович.

Парень в очках сказал:

— Норму задания будете получать на пятерых. Я пятый. Меня Бурин прислал. Прошу любить и жаловать — Сергей Любомиров.

Степан Михалыч спросил:

— Студент?

Парень сказал:

— Откуда вам это известно?

— По запаху чую, — улыбнулся Степан Михалыч. — Во мне рентген сидит на вашего брата. Становись.

Любомиров снял ковбойку и обнажил желтые неширокие плечи с рельефно выступающими, узкими, тугими мышцами. Не торопясь он взял лопату и отрезал аккуратный полновесный ломоть земли и аккуратно, как пекарь только что испеченный хлеб, ссунул эту землю позади себя.

Степан Михалыч сказал:

— Вполне.

Мы стали работать впятером. Мы работали так почти до вечера, и у нас дело здорово двинулось вперед. Наша пятерка ушла почти по пояс в землю, когда Тележка отложил лопату в сторону и сел на сырую землю.

— У меня температура, — сказал он, и все мы услышали его хрипкое дыхание, — У меня, наверное, не меньше тридцати восьми.

— Час от часу, — сказал Степан Михалыч. — Говорил я тебе.

Лешка положил свою выпачканную землей ладонь на лоб Тележке.

— Ага, — сказал он, — можно оладьи печь.

— Мне бы попить, — сказал Тележка тихо.

— Терпи, — попросил его Степан Михалыч.

— У меня там фляжка, я сейчас, — сказал Серега Любомиров и ловко выскочил наверх. — У меня есть немного кипяченой.

Он убежал. Мы стояли вокруг маленького хилого Тележки, смотрели на его взъерошенные редкие волосы и не знали, что делать. Тележка дышал ртом, и хрипы резвились в его груди.

По гребню земли пробирался человек в перевязанных бечевками бутсах. Торс его был обнажен и разукрашен

разнообразной татуировкой. На груди, конечно, «Боже, храни моряка» и «Не забуду мать родную» — литература не новая. Длинный, кривой, как турецкая сабля, нос.

Человек подошел к нам и уставился на Тележку спокойным и наглым взглядом выпуклых глаз.

— Доходяга, — сказал он, мотнув носом в сторону Тележки. — Фитилек. Когда догорит, отдайте мне его пайку.

— Здесь тебе не малина, — сказал Тележка. — Иди, блатной, я еще тебя переживу.

— Я не блатной, — сказал человек нагло. — Осторожней выражайтесь...

— Каторжан ты, — перебил его Степан Михалыч. — Самый что ни на есть каторжан. Форменная каторга.

— Ну, отделенный! — восхищенно засмеялся Лешка. — Ведь как прилепил! Каторга — каторга и есть.

Человек на гребне, видно, не захотел скандала.

— Наплевать на вас, — сказал он презрительно. — До следующего раза!

И ушел. А к нам прыгнул вернувшийся Сережа Любомиров. Он открыл фляжку и дал ее пососать Тележке. Тележка устал сосать и сказал, отворачиваясь:

— Себе оставьте.

Наверху стоял Семен Семеныч Бурин — наше высшее начальство. Его привел с собой Сережа. Бурин сказал сверху:

— Обычная история. Работает горячо, вода ледяная. Пьет эту воду, устал, вспотел, ветер, а он грудь растворяет. Чего же ждать? Только воспаления легких. А ну, подсадите его сюда!

Мы стали подсаживать Тележку. Бурин протянул ему руку.

— Сегодня ночуешь в школе со мной — там штаб. Таблетки, то да се. Если завтра полегчает, поставлю на легкую работу: гальюны будешь рыть. Не полегчает — отправлю в Москву.

— Полегчает, — сказал Тележка. — А что это за птица — гальюны?

— Это морское выражение, — серьезно ответил Бурин, — а по-нашему, по-пехотному, — значит, отхожие места.

— Но почему же именно я? — вскинулся Тележка. — Людей мало?

— Не разговаривать, слабосильная команда! — сказал Бурин. — Счастья своего не понимаешь! Иди за мной!

Он вроде бы улыбнулся, но, видно, опять спохватился, что командиру нельзя.

— Сказал — и в темный лес Ягненка поволок, — вяло пошутил Тележка и поплелся за ним следом.

8

Это просто удивительно, до чего у меня болело все тело. То есть не было буквально ни одного мускула, ни одного сустава, который не болел бы. Цирковые артисты называют это явление странным, царапающим словом: «крепатура». Это случается, когда, давно не тренируемые, они вдруг сразу в один прекрасный вечер бросаются в работу. Тут-то их и настигает эта самая «крепатура», явление крайней болезненности в мышцах, вызванное непомерной нагрузкой. Потом постепенно, в результате ежедневной тренировки, оно исчезает бесследно. Я, во всяком случае, надеялся, что оно исчезнет, потому что я так наломался за первый день нашей работы, что еле добрал до предоставленного нам овина и грохнулся на солому, чуть не воя от страшной разрывающей боли во всех мышцах. Руки я, к счастью, почти не натер, потому что всю жизнь у меня были довольно крепкие мозоли, да и краски растирать в десятилитровом ведре — дело не для слабеньких.

Но с ногами было худо. Утром Лешка подарил мне пару новых портянок, но теперь, сняв сапоги, я с трудом оторвал портянки от пяток. Было темно, рассмотреть я не мог, да и все равно заживить-то невозможно — ведь работать нужно каждый день, а босиком много не накопишь.

Разговоров вокруг меня уже не было слышно, все спали, встать предстояло в пять утра, и я растянулся на соломе рядом с Лешей. Я стал засыпать и, засыпая, подумал, что вот сон сразу одолевает меня и я могу не думать о Вале. Война и моя работа на войне вытесняют ее из моей жизни. Эта мысль задела меня самым тоненьким краешком, она словно пролетела мимо моего сознания, едва коснувшись его, но потом покружилась где-то и прилетела обратно. На этот раз она дала знать о себе сильным и грубым толчком в сердце — и сна как не бы-

вало. И я опять стал думать о моей невезучей и удивительной любви.

...Я нес тогда за нею цветы.

Первый взрыв аплодисментов отбушевал, а на стихающую, вторую волну, когда зрители аплодируют уже от желания убить время, которое все равно пропадет в очереди на вешалку, — на эту волну Валя не выходила. Она пробежала мимо меня и сказала на ходу:

— Цветы принесите мне, ладно?

Я стоял у кулисы возле выхода. Она успела еще и улыбнуться мне, и я как обожженный побежал к середине сцены, где стояли ее цветы. Эта была большущая безвкусная корзина, в ней застыли, словно сделанные из маргаринового крема, гортензии. Эти ресторанные цветы, мертвые, ничем не пахнущие, всегда меня раздражали, и все же я поднял эту тяжеленную пошлость и понес, хромя и спотыкаясь. Когда добрел до Валиной маленькой двери, я, не стучась, толкнул ее ногой, вошел и сразу опустил корзину на пол. Когда я разогнулся, Валя стояла передо мной. Видно, она только что сняла с себя театральное платье и халат успела надеть только в один рукав.

Я до сих пор не понимаю, что со мною случилось.

— Извините, — сказал я и схватил ее за плечи.

Я хотел поцеловать ее, а она отворачивалась, и я все время думал, что сейчас она вырвется и я поцелую ухо или подбородок, и это будет самое ужасное. Все это мелькало в моей голове со страшной быстротой. Но все-таки я поцеловал ее в губы. Да, это было так. Потом выпустил ее. Она надела халат как следует и сказала:

— Ну и ну! Смел, нечего сказать! Ступайте. Подождите на улице.

Я шел по коридору, и все, кого я встречал по пути, казались мне красивыми и добрыми, даже этот новый гусак в лосинах, поступивший к нам на роли молодых подлецов, фашистов и разных дантесов. Совершенно одуревший, я вышел на улицу. Стал ждать Валю и дождался ее. Она прошла мимо и процедила сквозь зубы:

— Перейдите на ту сторону и сверните налево...

Я опять молчаливо покорился ей, пошел на ту сторону и свернул, догнал ее в темном переулке с подслеповатыми фонарями. И тут она подхватила меня под руку и прижалась ко мне.

Дома у себя она быстро все устроила, выпила водки сама и дала выпить мне, и такая она была веселая и простая, что даже странно было, почему ее в театре называют стервой...

Она налила еще водки. Я раньше мало пил, то есть совсем не пил, и меня нельзя было уговорить, потому что мне не нравилась водка, но тут, у Вали, я пил как миленький, стоило ей только налить и предложить. Я живо научился. И вот она взяла налитую рюмку и, держа ее в своих длинных пальцах, отошла в глубь комнаты.

— Вы мой поклонник? — сказала она.

Я сказал:

— Это какое-то не такое слово. Поклонник это ерунда...

Она поправилась:

— Я имею в виду, ну, знаете, — театральный поклонник! Болельщик... Вам нравится смотреть меня на сцене?

— Я всегда смотрю вас.

— Я знаю... Я всегда вас вижу. Ага, думаю, хроменький опять здесь.

У меня застучало в висках:

— Над этим не смеются.

Она отошла еще дальше.

— Байрон был хромым... Вы знаете, о ком я говорю?..

Я встал.

— «Прощай, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай...»

— Ого, — сказала она, — смотри-ка — интеллектушко! Не уходите, с вами стоит пить. Тем более что, по моему, вы и еще кое-чем похожи на Байрона.

— Чем же?

Она села на край дивана, рюмка все еще плескалась в ее руках. Она сказала тихо и внятно:

— Байрон тоже был красивый...

«Значит, она уже пьяная, — подумал я, — пошла чепуху городить». Я так ей и сказал:

— Вы уже пьяная, да?

Она засмеялась, но тоже очень тихо и внятно, и потом сказала:

— Вот что: после всех ваших безумств там в театре нам ничего не остается другого, нам нужно выпить на брудершафт.

Я подошел к ней. Мы переплели наши руки и выжили.

И она поцеловала меня, а я ее... Трудно про это вспоминать.

А в ту ночь на дворе стоял май, я был совсем молодой, и я шел по моей прекрасной Москве, впервые в жизни пьяный и впервые в жизни познавший женщину, честное слово, впервые в жизни! И все-таки не было полного счастья во мне. Не знаю почему. Впрочем, к чему же притворяться, — знаю. Прекрасно знаю.

Я все это понял много дней спустя. Я как-то лежал у себя на кровати, в окно начинал входить рассвет, и я вдруг подумал, что тогда, в первый вечер, она боялась пойти со мной рядом. Потом я подумал: а почему же она в театре никогда не разговаривает со мной, виду не подает, что любит меня? Ведь она же не замужем.

В общем, если мы были не в постели, мы были на «вы».

И я любил, любил ее...

...А потом началась война. Я узнал, как бомбили Брест и Киев и как гибли тысячи людей. В это время начали бомбить и нас, Россию залили кровью, и я не находил себе места. Я пошел в военкомат, но меня не взяли, и это было хуже всякого оскорбления. Я был обречен на тыловое прозябание, я не находил себе места и метался по городу в поисках возможности попасть на фронт.

Были дни, когда казалось, что мне повезло, я сумел попасть в списки добровольцев кавалерийского корпуса, который формировался в Москве. У меня там был знакомый парнишка из осоавиахимовских активистов, он-то и подсунил мою фамилию эскадронному. Я возликовал, начал ходить на Хамовнический плац и ждал окончательного формирования. Не хватало конского поголовья, лошадей проминали немногие ребята — старички этого дела, и все ждали: из армии обещали подкинуть конского брачку.

Я ходил на плац и стоял в сторонке у изгрызенной коновязи, все привыкли ко мне, и мечта моя, может быть, и исполнилась бы, но я сам себя разоблачил. Однажды, когда я только входил на плац, мимо пробежал какой-то старшина и крикнул, подтолкнув меня в спину:

— Седлай Громобоя, скачи на Плющиху к Никитченке, он тебе пакет даст. Духом! Аллюр — полевой карьер!!!

Не стоит об этом вспоминать. Ну его к черту! Они выгнали меня, едва увидели, как я вхожу в стойло. Этот сволочной Громобой за версту почуял, какой я кавалерист. Не успел я с уздечкой в руках войти к нему, как он тут же, без промедления, прижал меня своим косматым боком к стенке и стал давить. В фиолетовом его глазу, в каждой кровавой прожилочке играла насмешка. Я застонал, пихая его кулаками, но он все нажимал и, наверно, раздавил бы меня, если бы кто-то не крикнул в это время настоящим, серьезным кавалерийским голосом:

— Пррринять!..

Тут он сразу отскочил как ошпаренный.

В общем, меня выгнали, и комэск Иванов химическим карандашом вычеркнул меня из жизни добровольного кавкорпуса. И я ушел с Хамовнического плаца, сопровождаемый визгливым хохотом кобыл.

Да, теперь это вроде смешно, а тогда я думал — совсем пропаду.

Вале я про все это не рассказывал, она ходила в последнее время какая-то притихшая, словно оглядывалась, словно искала своего места. Мы встречались с ней по-прежнему, только, может быть, не так часто, как в мае, и я крепко верил, что она любит меня. Эта вера держала меня на поверхности, а то бы давно бросился с Крымского моста в реку. Я тоже продолжал искать свое место в этой войне и однажды услышал, что набирают людей в ополчение, рыть окопы в Подмосковье. Я быстро все разведаль, вцепился в глотку райкомщикам, и тут уж я своего не упустил, я своего добился, и меня зачислили. Нельзя рассказать, как я обрадовался, что хоть куда-нибудь годен. Я первый из театра уходил туда, ближе к войне, артисты еще только сколачивались в агитбригады или готовили репертуар для раненых бойцов, чтобы выступать перед ними в госпиталях. А в Действующую армию, так сложилось, у нас пока никого не взяли.

И вот я зашел к Вале, она сидела в своей уборной и учила какую-то роль. Когда я вошел, она сказала:

— Среди бела дня, могут войти, уходите...

Я сказал:

— Валя, прощай! Я послезавтра уйду в ополчение.
Я сказал ей «ты», поэтому она поверила сразу.

Она спросила:

— А как же...

Я понял:

— Там хромота не мешает.

Тогда она медленно положила голову на гримировальный столик, прядь волос опустилась в пудру. Она плакала. И я почувствовал, что буду любить ее всегда. Я сказал ей, плачущей, придерживая плечом дверь:

— Завтра в девять приходи к аптеке. Проводи меня. Это прощание.

Она согласно качнула головой. Я вышел и отправился за разными справками, а весь следующий день мотался как проклятый, но к вечеру, к девяти, я был уже свободен, я купил всякого барахла для закуски и стоял у темной аптеки и ждал. Напрасно, зря стоял.

...Так и не удалось мне спать в эту ночь, хотя всего меня ломило и здорово ныли побитые ноги. Не вышло мне тогда спать в открытом ветру и звездам сарае, хотя все кругом давно уже спали, потому что вставать надо было в пять утра.

9

Когда где-нибудь в доме отдыха целый день забиваешь козла или когда в выходной выедешь с ребятами за город и тоже целый день собираешь землянику, то потом, ночью, когда земляника уже давно съедена или костяшки убраны, все равно перед глазами долго еще мелькают красные ягодиночки или белые очки, и никак от них не избавишься. Так было и сейчас. Что бы я ни делал, в голове моей мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в своих железных ладонях, баюкали ее или резали аккуратными ломтями. Лопаты шлепали по земле, били по ней, дробили ее, поглаживали, рубили и терзали, заравнивали и подскребывали ее каменистое чрево. Иногда одна лопата, которой орудовал

стоящий глубоко внизу человек, взлетала кверху только до половины эскарпа, до приступочки в стене, оставленной для другого человека, тот подставлял другую свою лопату и ждал, пока нижняя передаст ему свой груз, после чего он взметал свою ношу еще выше, к третьему, и только тот выкидывал этот добытый трудом троих людей глиняный самородок на гребень сооружения. Лопаты, только лопаты, ничего, кроме лопат.

И мы держались за эти лопаты, это было наше единственное орудие и оружие, и все-таки, что там ни говори, а мы отрыли этими лопатами такие красивые, ровные и неприступные ни для какого танка рвы, что сердца наши наполнялись гордостью. Эти лопаты, любовь к ним и ненависть крепко сплестили нас, лопатных героев, в одну семью.

Постепенно, день за днем, я узнавал новых людей на трассе. Теперь я уже знал, что вон там, за леском, показывает небывалые рекорды казах Байсеитов — батыр с лицом лукавым и круглым, как сковорода. Ученые говорят, что нависающие веки у азиатов появились для защиты глаз от ветра и солнца. В таком случае Байсеитов защитился особенно надежно. Я его глаз никогда не видел. Две черточки, и все. Но им гордились, его знали все, и я гордился тоже, что знаю его. Я знал также, что слева от меня работает Геворкян, оператор из кино, знаток фольклора и филателист, а с ним рядом Ванька Фролов, голенастый пекарь, белый, как непроявленный негатив. Вон частушечник, толстый, как сарделька, Сечкин, он любит показывать фотокарточку своих четырех ребят, похожих друг на дружку, точно капельки. Это вот Киселев, печатник, он хворый, грудь болит. Вот неутомимый шестидесятилетний бабник аптекарь Вейсман. Волосатый гигант Бибрик, задумчивый пожарник Хомяков. Масса ополченцев, такая безликая вначале, распалась для меня на сотни частичек — разных, по-разному интересных, построенных на свой манер каждая. Снег падает, вон его сколько, сугробы, а каждая снежинка откована по-особому — протри глаза!

В эти дни установилась славная, почти летняя погодка, здесь не было затемнения, налетов не было и бомбежек, не было патрулей, ночных дежурств, и все мы немного оздоровились, подзагорели, налились в мускулах. Работали горячо, на совесть, потому что отчаянно вери-

ли, что делаем самое главное, помогаем своими руками, своим личным трудом близкому делу победы. Так что настроение могло быть и ничего, но мешало, что не было радио и газет. Это очень нам мешало и срывало душевный настрой. Люди все ждали чего-то, томились, болели сердцем за близких, и за все общее, и при встречах, когда шли на работу или домой, или на перекур, все спрашивали друг друга, не слышал ли кто чего? А слышали, конечно, часто, и все больше плохое...

Тяжело это было, люди тревожились и теперь уже не бросались молча в солому после восемнадцати часов труда, не засыпали сразу, нет. Теперь подолгу сидели, покуривали, вглядывались в темноту и разговаривали негромко. По вечерам и ночью на соломе — я заметил — говорят тихо, настороженно, как будто враг близко, где-то рядом, и может услышать наши голоса и открыть по ним шквальный смертельный огонь.

10

— Орел отдали, — сказал холодным ветренным утром Степан Михалыч.

— Да, — сказал Фролов, — прет, зараза, на Тулу. Есть сведения.

— Скоро сюда объявится, — сказал Лешка и улыбнулся. Ему казалось, что он шутит.

Но Сережка Любомиров крикнул так яростно, что стало жутко:

— Хрен ему в горло! Здесь ему конец!!!

Мне вдруг стало тошно от одной мысли, что фриц может подойти так близко к Москве. Меня сразу всего покрыло испариной, и, в который раз кляня свою, мешающую идти на фронт уродскую ногу, я взял лопату и пошел. За мною потянулись все, и мы снова начали работать, и работали сегодня особенно ярко, молча, без разговоров.

Дело было на новом участке, я уже выкинул с кубометр. Лешка был где-то рядом. Мы с ним теперь крепко сдружились, потому что он был золотой, золотой человек, иначе не скажешь. Мы работали с ним на склоне. Вокруг торчало много пней, видно, здесь сводили когда-то лес, а фронт наших эскаропов тянулся как по ниточке, и если нам по пути попадались пни, то мы их корчевали.

Мы с Лешкой стали как раз корчевать огромный пнище. Пень запустил свои берендеевы пальцы глубоко в землю и не хотел вылезать. Мы собирались поотрубать ему все щупальца и спихнуть его в реку. Дело было нелегкое, мы с Лешкой сопели и пыхтели, не зная, как бы управиться половчей. В это время недалеко от нас раздался крик. Мы выскочили из окопа. За гребнем стоял Каторга. Увидев людей, он замахал руками и завопил:

— Кро-от! Давай сюда-а-а! Кро-от выкопался!!!

Мы сбежались и сгрудились вокруг Каторги. У него на лопате лежала маленькая, черная шерстистая свинка. У нее был розовый подвижной пяточок. Свинка упористо шевелила передними сильными и когтистыми лапами. Городские жители, мы устали на крота, как на чудо. Лешка улыбнулся и наморщил лоб. Тележка присел на корточки, чтоб лучше видеть, Байсеитов сказал:

— Животная...

И на странное, ханское его лицо легла легкая, нежная тень.

Каторга пошевелил лопатой, чуть-чуть тревожа крота, ему хотелось отличиться, наглый, кривой его нос висел в задумчивости. Наконец вдохновение осенило его, и он заорал:

— Топить!

И, широко размахнувшись, подкинул крота к небу. Маленькая свинка взлетела, превратилась в точку и, описав кривую, булькнула в речку. Все это произошло очень быстро, и можно было расходиться.

Но Геворкян тихо сказал:

— А жаль. Крот — он ведь нашей породы. Слушай, он же землекоп.

По реке плыла щепочка. Щепочка вдруг клюнула, как поплавок, а через секунду рядом с ней уже торчало маленькое рыльце: это наш бодрый работяга крот подумал, что жизнь — чересчур распрекрасная штука, чтобы расставаться с ней на заре туманной юности, всплыл и уцепился за щепочку. Лешка первый это понял и, хлопнув себя по бокам, закричал, повизгивая от восторга:

— Ай, кротяга! Всплыл! Ай, чертова сопелка! Спасать!!! — И в чем был, золотой наш Леха пошлепал по течению вниз, зашел в воду, подождал и вытаскал крота.

Он вынес его на берег, встал на колени и, подув за чем-то на землю, положил крота. Крот трясся, и мы опять стояли над ним тесным кругом. Лешка сказал строго:

— Дайте солнца!

И мы раздвинулись, чтобы крот мог отогреться.

Крот грелся, оживал, и все становилось на место.

Нужно было идти работать, и так сколько времени потеряли. Я прошел и задел Каторгу плечом. Я это сделал без умысла. Он посмотрел на меня и сказал, ухмыляясь:

— Ходи вежливо, жлобьяра. А то тебе выйдет боком. Я накопляю на тебя матерьял.

Я не стал ему отвечать. Я пошел к своему пню, стал с ним возиться и ждать Лешку.

11

А ночью вдруг задул северный леденящий ветер, он сотрясал ветхий наш сарай, расшвыривал солому на крыше, и в открытые двери полетела сухая белая крупа. Мы проснулись полузамерзшие и сбились в кучу. Ветер пробирал до костей, было тоскливо, хоть вешайся, да иначе и быть не могло — на дворе стоял октябрь, проклятый октябрь сорок первого года, такой несчастливый для нашей земли.

— Теперь сарайной жизни конец, надышались вольным воздухом, — сказал Лешка и вздохнул. — Чуть рассветлит — надо в деревню перебираться.

— Переведут организованно, — сказал Тележка. Он уже давно вырыл галюны на всю нашу армию и теперь снова жил и работал с нами.

Но Лешка, несмотря на свой незрелый возраст, был мужичок себе на уме. Предприимчивость так и кипела в нем.

— На бога надейся, — сказал Лешка с мудрой улыбкой.

Деревня Щеткино лежала немножко левее нашего фронта работ, километрах в полутора. Мы жили в ее гумнах, совсем неподалеку от крайних домов, не встречаясь с ее обитателями, занятые только своей работой, не имея никакой возможности выбиться из жестокого ее ритма. Мы уходили затемно и приходили в темноте.

Полевая наша кухня окопалась в лесочке, там мы и ели. Деревня нам была не нужна, мы были сами по себе, они — сами по себе. Знали только, что стоит Щеткино на двух берегах расширявшейся в деревенской своей части речки, что большая часть деревни стоит на той стороне, ближе к нашей трассе, и там же помещается наш штаб, и что есть еще малая часть Щеткина, как бы затыльная, заречная его часть.

В сарае становилось все холодней, но небо начало светлеть, и было уже видно, как серые недобрые тучи всползали на небо.

Мы все стояли у сарайных дверей и молча смотрели в поле.

— Сходим постучимся, — сказал Лешка. — Чем зябнуть, все лучше.

Он двинулся. Я пошел за ним.

— А ты посиди, — сказал Лешка, не оглядываясь. — Чего тебе-то? Я все сделаю.

— Я с тобой, — сказал я.

Мы пошли по узкой невидной тропке, по застывшей, сцепленной крепким заморозком земле. Было еще темно-вато, и, хотя брезжило утро, казалось, что это сумерки и скоро настанет вечер. Деревня была голая и грязная, как немытая ладонь, вся какая-то пустая. Безрадостно было идти по ее неприветной улице.

Дома были какие-то полуслепые, и по Лешкиной походке я видел, что ему неохота идти и проситься на ночлег ни в один из этих домов.

— Пойдем туда, за речку, через мост, — сказал он.

Мы спустились и пошли через ветхий мостик, пугливо вздрагивающий под нашими шагами, потом поднялись в гору. Здесь у домов не было палисадников, ограды дворов сплетены из веток, из палок с надетыми на них ржавыми банками, из обрезков старой кровли, разноцветных тесин, хвороста и прочего барахла.

— Бедность, — сказал Лешка пригорюнившимся голосом. — Бедность, куда там. Толкнемся сюда?

Я кивнул. Дом был серый, старый, с похилившейся набок крышей. В окнах мелькал слабый огонек... видно, хозяйка встала спозаранку и теперь растапливала печь.

Лешка вошел на крылечко и постучал. Дверь открылась.

Лешка сказал:

— Бабушка, мы хотим у тебя ночевать.

Она сказала:

— А вас сколько?

Лешка сказал:

— Ну, пятеро! Не замерзнуть же в сарае!

— Вы московские, что ль, ополченцы?

— Ну да.

— Прямо не знаю. Не знаю и не знаю. Изба-то махонькая, кроватей нету.

— Мы на полу, что вы, баушк.

— Было бы тепло, — сказал я.

— Топить-то мы топим...

— И мы когда дров притащим, — сказал я.

— Мы каждый день будем таскать, — сказал Лешка. — Ведь мы из лесу ходим. Насчет дров не сомневайтесь, баушк.

— Прямо и не знаю. Тесно уж очень. А люди, видать, хорошие.

— Мы очень хорошие, — сказал Лешка. — Мы платить будем вам, баушк, у нас деньги есть.

— Деньги — это не надо, — сказала она. — Стесняюсь я, плохо вам будет у нас. Ведь нас трое. Да вас вон сколько — пять душ!

— В тесноте да не в обиде. Верно, баушк?

— Это-то верно, — сказала она, и мне послышалась какая-то невысказанная обида в ее голосе.

А Лешка пошел с козыря:

— Мы вашей внучке сахарку будем давать, баушк.

— А когда придете-то? — сказала она. — Я полы вымою. А так у меня мальчик, Васька, есть, ему если только сахарку, а внушек нет никаких...

— Мы вечером придем, — сказал Лешка. — Вы только нам соломки натаскайте. Как стемнеет, мы придем.

— Ну, я буду в ожидании, — сказала старуха и протянула Лешке руку. — Ребята вы больно участливые.

— До свиданья, — сказал я.

— Спасибо, баушк, — заключил Лешка.

— Да не зови ты меня баушкой, — вдруг встрепенулась старуха. — Какая я баушка, я хозяйка, а не баушка. Это я неприбранная, утрешняя, вот тебе и мнится все баушка. Я еще хоть куда!

Она улыбнулась тихо и несмело.

— Вы зовите меня теткой Груней, — сказала она, вдруг повеселев. — Ну, а вас как?

Мы назвались ей поочередно, и она сказала:

— Очень приятно...

Еще раз простившись, мы ушли. Несколько минут мы шли молча, а когда сбежали к мостику, протопали по нему на штабную сторону и пошли потише, я сказал:

— До свиданья, баушк. Спасибо, баушк. Уж вы как-нибудь, баушк! Верно, баушк! Мы, баушк, да вы, баушк.

Лешка схватился руками за живот, остановившись у края дороги, согнулся в три погибели.

— Сдохну! — закричал он. — Сейчас лопну! Ой, перестань!

— Что с вами, баушк? — сказал я.

— Замолчи! — орал Лешка. — Умру! Я, говорит, еще хоть куда!

— Я вас не понимаю, баушк.

— Перестань! — застонал Лешка. — Ведь я подольститься хотел, повежливей чтоб выходило, понял, нет?

— Понял, баушк.

— Ой! — И Лешка снова схватился за живот.

Наконец, отдышавшись, мы пошли с ним дальше.

— Устроились все же, — сказал Лешка. — Теперь в тепле будем, а это, брат, великая вещь. Возьмем Серēju, Степан Михалыча и Тележку, напишем на доме — второе отделение второго взвода, — и ура.

Я сказал:

— Надо бы Геворкяна к нам и еще казаха.

— Ага, — сказал Лешка, — обязательно. И Фролова бы хорошо, и хворого этого, как его, забыл фамилию...

— Киселев, — сказал я.

— Во-во. Его, — сказал Лешка. — И еврея этого, что баб любит, хороший мужик, и пожарника, конечно, Хомяка.

— Давай, давай, — сказал я, — будем жить в одном доме тыща человек.

— А хорошо бы, — засмеялся Лешка. Я согласен. Гляди-ка!

Он показал пальцем в проулок. Там стояла замурзанная деревенская лошадка ростом с небольшого ослика, а за ней, на земле, лежала телега, груженная бревнами. Телега лежала на боку, и, видно, бревна были увязаны ладно, по-хозяйски, потому что они не рассыпались, а только съехали набок и своею тяжестью перевернули телегу. Простоволосая девчонка в клочковатом полушубке пыталась поставить телегу на колеса. Она кричала на лошадь свирепым мужичьим голосом:

— Р-разом! Давай! Ну, господа бога, давай же!

Лошадь корячилась задними ногами, тужилась, отставляя репицу, девочка налегала ключицей, а телега, конечно, оставалась на месте. Я пошел в проулок к этой девчонке, и Лешка пошел за мной. Мы подошли поближе. Девочка разогнулась, обернулась к нам лицом, и тут у меня похолодело в груди. Передо мной в стареньком рваном полушубке стояла васнецовская Аленушка. В руках ее был кнут, и она тяжело дышала, платочек висел на шее, держась одним концом. Так вот она какая стала, когда подросла! Мастер, написавший ее у ручья, наверно, не знал ее дальнейшей судьбы, вот почему так задумался он вместе с нею тогда. Теперь Аленушка уже заневестилась, ей можно было дать на вид лет шестнадцать, и как же была она красива, передать нельзя! Увидев нас, она перевела дыхание, поправила платочек и сказала хрипловато и дерзко:

— Давай помогай, кавалеры!

Мы поставили ее телегу на колеса. Когда ставили, я видел рядом со своей Аленушкину руку, озябшую и красную и такую удивительно маленькую. Мы все кричали на бедную коняшку, и Аленушка кричала что-то дикое и устрашающее.

Потом она поправила волосы и сказала:

— Ай да мужики! Что значит мужики-то... Плохо бабам без мужиков!

Лешка сказал строго:

— Тебе сколько лет?

Она удивилась.

— А тебе на кой?

— Больно ругаться здорова. Не дело.

Она отвернулась и сказала, уставившись в забор:

— Это я без души и мысли. От тягости. А тебе не нравится — вали отсюда.

Я сказал:

— Как вас зовут?

Она обернулась и посмотрела недоверчиво.

— Дуня. Табариновы мы.

Я протянул ей руку, и она тотчас, улыбаясь, протянула мне свою озябшую, маленькую ручку.

Я сказал:

— Мы теперь у тети Груни будем жить.

— За речкой?

— Да.

— Там тише...

— Вот и хорошо.

— Кто как любит...

— Верно.

— Ну что ж. Спасибо.

Она взялась за вожжи.

— Не стоит, что вы. Увидимся?

Она снова посмотрела удивленно.

— А у вас есть желание?

— Есть.

Она ответила:

— Было бы желание, а там, бог даст, увидимся...

Она задергала вожжами, закричала на лошадь, быстро глянула на меня из-под шелковых, небывалых ресниц и пошла за лошадью, пошла такая маленькая и такая гордая и сама по себе. Только она уже не ругалась больше, нет, она только помахивала своим умильным кнутиком.

А я остался и не мог двинуться с места, а рядом со мной стоял Лешка, и, наверно, у меня был не совсем обычный вид, потому что Лешка вдруг толкнул меня и окликнул испуганно:

— Ну? Ты что? Окаменел, что ли?

12

Как только мы с Лешкой пришли, товарищ Буриц, наш командир, собрал нас всех, построил и сказал:

— Наступает зима. Вот. Чего же ожидать? Безусловно холода. Переходим, значит, на зимнее положение. Уже договорились: спать будем в домах. Теперь новые распоряжения: побудка устанавливается в четыре утра. Перекуры — это бич. Сокращаем перекуры с десяти минут ежечасно до пяти. Обед — час. Много.

Полчаса. Из этого приказа мы видим о том, что рабочий день выигрывает сами считайте насколько. Чем вызывается? Последним напряжением. Прет, бандюга. Так что надеюсь на вас.

Он кончил свою речь и ушел, поблескивая железными очками. А мы разошлись и снова стали грызть нашу землю. Буринский приказ иссушал душу. Не потому, что он ухудшал нашу жизнь, а потому, что было ясно: это не его приказ, не он это выдумал, чтоб нам меньше спать, этот приказ — результат обстановки на фронте, этот приказ идет сверху, а если там так приказывают, значит, дело наше плоховато, значит, пока еще ничего нет хорошего после трех месяцев войны.

Горько это было, сказать нельзя как. Оторванные от мира, от близких, без газет, замерзшие, плохо оснащенные и безоружные, мы готовы были работать, работать, работать — только бы увидеть в глазах командира светлый отблеск успеха, услышать в его голосе торжествующий отзвук первых побед.

Небо было серое, цвета солдатских шинелей. Ветер усилился, и скоро пошел дождь, осенний, крупный, седой от горя дождь. Над трассой висело молчание. Лопаты шли туго, темп работы упал. За этой завесой дождя, снега и туч послышался одинокий саднящий звук. Над нами пролетал фриц. Все подняли головы к небу. Звук ушел по направлению к Москве. В перекур мы развели костер. Голая ольха, стоящая на берегу реки, ломалась легко, как сахар, и шла в огонь. Она горела ярко и красиво, почти не давая тепла. Я стоял близко у костра, и когда отошел — мой ватник тлел в двух местах. Я прибил огонь ладонью.

— Хотя бы по винтовке дали, в случае чего, — сказал Лешка.

— Да, лопата не стрелит, — поддержал его Горшков, беззубый плотник с «Борца».

Вот, вот. Это было то самое, что давно уже глодало наши души. Сережа Любомиров остервенело ударил по комку глины, навалившейся ему на сапог.

— Ах, черт его раздери, — он весь затрясся и стал растирать себе шею. — Это-то и терзает. Драться же хочется, драться! Разгромить его в порошок, в пыль, в тлен и прах, чтобы кончить раз и навсегда. А где оружие? Я вас спрашиваю, где оружие, ну?

— У армии есть оружие, — сказал Степан Михалыч. — Не робь, Серега!

— Да, я тоже хочу, пойми ты! Я что, рыжий, да?! — Сережа кричал как безумный. Он поднял лопату над собой и, не в силах сдержаться, вымахнул на гребень. Он потрясал лопатой. — Вот она! — кричал он, срываясь и заклебываясь. — Вот она, лопатка, старый друг! И все! А что еще? Когти, да? Зубы, да? Мало этого, мало!

— Все сгодится, — снова сказал Степан Михалыч и покачал головой. — На этот раз, сынка, все сгодится. Одному там танок или, скажем, миномет, а нам с тобой лопата. Не впадай ты, Сережка, в панику, без тебя тут не ай какой вечер танца.

Сережка снова прыгнул к нам и принялся за работу. Ветер полоснул, как ножом, деревья завyli и стали бить веткой о ветвь в тщетной надежде согреться. А мы работали молча и зло, и я все время думал, что Сережка тысячу раз прав.

А к полудню ветер немного расчистил небо, стало виднее вокруг, и долгий седоволосый дождь прекратился. Солнце блеснуло, яркое и холодное. Близилось время обеденного перерыва, и к нам на участок принесли газету. Номер этот был недельной давности, но мы и такому были рады. Степан Михалыч бережно развернул газету и передал ее голубоглазому наборщику Моте Сутырину. Мы встали вокруг Моти широким полукругом, закурили, наскребывая остатки махорки, и засунули застывшие руки в карманы. Степан Михалыч убедился, что мы готовы.

— Давай, Мотя, — негромко сказал он. — Послушаем наши дела...

Да, плохие вести читал нам свежим певучим голосом Мотя Сутырин, плохие, не дай бог. Каждое слово сводки резало нас, как ножом, било безменом по темени, валило с ног.

«Оставили». «Отступили». «Отошли». «Потеряли». И это все мы должны были слышать про нашу армию, про нас? А немцы, значит, гуляли по нашим полям, они топали и свистели. жгли что ни попадя и пытали комсомольцев?! И все это мы слышим наяву, не в кинофильме, не в старой книжке про гражданскую войну, а сегодня, сейчас, под Москвой, мы, живые, стоим и

слушаем это, засунув руки в карманы?! Это было невозможно, нельзя, нельзя понять...

— «В деревне Дворики, — читал Мотя, — фашистский ефрейтор изнасиловал четырнадцатилетнюю Матрену Валуеву...»

— Громче! Не слышно... — перебил Мотьку Каторга и стал расчесывать грязные цыпки на потрескавшихся руках.

Мотька замолчал и поднял на Каторгу свои пасхальные глаза. Было видно, как задрожала газета в Мотькиных руках.

— Врут это, — снова сказал Каторга, глумясь. — Один на один не изнасилуешь!

Я обошел Лешку, пройдя перед Бибриком и Киселевым, вышел вплотную к Каторге и прямо с ходу дал ему по морде. Он зашатался и отскочил.

— Ну, все! — торжественно сказал Каторга и выплюнул длинную тесемку крови. Он все еще отступал, словно для разбега. — Уж пошутить нельзя человеку! — крикнул он надрывно. — Шуток не понимаешь, хромая ты гниль? Теперь все! — Он стал приседать в коленках для пущей зловещности. — Теперь пиши скорей мамаше, чтобы выписала тебя из домовой книги!

Я видел, как рвется к нему Лешка. Но Байсеитов остановил Лешку и вежливо взял Каторгу за руку. Каторга мгновенно позеленел, руки у Байсеитова были страшней волчьего капкана. Байсеитов отпустил его.

— Читай, Мотя, дальше, — тихо сказал Степан Михалыч.

И Мотя стал читать дальше.

Наш учетчик Климов заболел. Он метался на соломе, хрипел, никого не узнавал и дико кричал: «Бей!» — на каждого, кто подходил к нему. Случилось это на второй день нашей жизни у тетки Груни. Маленький желтоволосый ее сынок смотрел на Климова и боялся. Я сходил к Бурину и доложил ему об всем. К концу дня стало известно, что Климова повезут в Москву на каком-то чудом добытом грузовике. Повезет Климова наш

Вейсман, аптекарь, старик с лицом президента, бабник и звонарь. Представлялась возможность написать письмо. После работы мы сидели кто где и строчили.

Я сидел у изголовья Климова, слушая его бред, и писал письмо Вале:

«Валя, я жив. Я посылаю тебе это письмо с оказией, чтоб ты знала, что я жив. Ты плакала в тот день, когда я сказал тебе, что уезжаю. Ты плакала, Валя, и я вдруг поверил, что ты любишь меня. Верно ли я подумал? Ведь ты никогда еще не говорила мне о любви. Но когда ты заплакала, узнав, что я уезжаю, я вдруг *совершенно* поверил, что ты меня любишь. И понял еще и то, что я-то тебя люблю, и что это написано во мне большими буквами, и я всегда могу сказать это при всех, не стыдясь. Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.

Почему ты не пришла проводить меня? Ведь мы бог знает когда встретимся. Я ступил на тропу войны, как говорили индейцы моего детства, и теперь не сойду с этой тропы до самого конца. А если я выживу сегодня, здесь, я пойду дальше, а если и там я выживу в пятистах боях, я пойду в пятьсот первый. Я пойду, несмотря на то, что хочу быть рядом с тобой, живой и желанной, я пойду несмотря ни на что. И это не мальчишеская жажда подвига, нет, это железная необходимость, это моя правда, мой долг, мне иначе не жить. И вот вопрос: зачем я пишу тебе об этом? Тут ответ простой, Валя: сказать нужно, нельзя молчать, а ты вот меня любишь, значит, тебе. Но ты пойми правильно, это не печальное письмо, я хочу дожить до Победы, и я доживу до нее, я вернусь домой живой и здоровый, и я тебе очень понравлюсь, потому что я буду весь в орденах и со шпорами, и я увижу тебя и обниму.

Я сижу сейчас в полутемной комнате тетки Груни, приютившей нас в своей ветхой хибарке. Нас здесь немного, четырнадцать человек да трое хозяев. Невообразимо тесно, мои товарищи тоже пишут письма, они яростно скребут карандашами. Карандаши скрипят, я слышу любовный хор карандашей, их соловьиный мощный разлив...

Если бы ты написала мне! Это письмо передаст тебе один из наших, верный человек. Напиши хоть три слова, ты сама догадаешься, какие слова я хочу услышать от тебя. М.»

Я сложил нескладное это письмо в треугольник и заклеил его сахаром. Аптекарь Вейсман сидел в углу и штопал носки. Я подошел к нему.

— Вейсман, — сказал я, — хотите иметь слугу и раба?

— А на хрена? — сказал Вейсман. — Что я — барон?

— Слушайте, старик, урвите для меня десяток минут. Заезжайте по этому адресу и передайте это письмо в собственные руки. И возьмите ответ.

Он поскреб в затылке и сказал:

— Если дело любовное, то я постараюсь.

— Любовное, — сказал, — не беспокойтесь.

— Красивая? — спросил Вейсман, и в глазах его зажглись огоньки.

— Ну, — сказал я, — вы таких и не видали.

— Почему ты знаешь, что я видал и чего не видал?.. — Он посмотрел на меня с превосходством. — Я такое видел в этом смысле, что тебе и не снилось... Так красивая, говоришь?

— Да, — сказал я твердо, — красивая!

— Приложим усилия, — сказал Вейсман важно, как президент. — Только бы не подвели с обратной машиной. Готовься, привезу тебе целую жменю маринованных поцелуев. Иди, не мозоль глаза!

И он сунул мое письмо в карман, как суют измятый носовой платок.

Этот собачий пень портил нам с Лешкой линию нашего участка, его обязательно нужно было свалить в реку. Я возился с ним долго, срубить корневища лопатой было очень трудно. Лешка возился немножко ниже по склону. Мы с ним договорились, что когда пень будет подготовлен, мы вместе спихнем его. А пока я уже настолько взмок, что мне нужно было скидывать ватник. На таком холоде. Вообще, я никогда не думал, что ватник может так быстро изнашиваться и продыряться в стольких местах. Ветер свободно простреливал его во многих направлениях, и я прямо не знал, что делать с этим треклятым холодом. Я был весь замерзший. Я был всегда и везде замерзший. Снизу доверху, и

вдоль и поперек, и внутри тоже. Согревался только тогда, когда непрерывно махал лопатой, вот тогда было ничего, тепло. Поэтому я работал бойко. Еще я согревался ночью в избе у тетки Груни и дяди Яши. Славные были они люди — и тетка эта, и дядька. Жаль только, что мы не успели еще толком познакомиться, две-три раскуренные в дружелюбном молчании самокрутки — вот, пожалуй, и все. Времени у нас не было на знакомство. Ночь, темнота, теснота, храп. Стук в окошко. Темнота, теснота, оделись, пошли. Лопаты, лопаты, лопаты. Земля, земля, земля. И снова ночь, темнота, теснота, храп. Вот как оно было. Но все-таки дядю Яшу я полюбил. Он был похож на Иисуса Христа или на князя Мышкина. Они вообще, по-моему, похожи. Дядя Яша дома всегда ходил в рубашке враспояску. Дядя Яша был слабогрудый и говорил глухо. Вместо прощания он всегда по утрам изрекал:

— Бей фрица, и больше ничего!

И уходил, прямой, с чалмой бородкой, ну пророк и пророк.

Он уходил еще раньше нас. Трудно было прокормить даже себя и сына, война несла с собой и голод, и отсутствие рабочих рук в деревне, как и в городе, словом, все, как полагается...

Когда дядя Яша уходил, мы кормили его Васятку, маленького, хилого и милого, как больной котенок, мальчонку. Мы давали Ваське хлеба и сахару. Тетка Груня плакала неслышно, когда мы кормили малыша, а он грыз сахар и протягивал на липкой ладошке матери, делился, значит, угощал. Она отказывалась, а мы отворачивались, чтоб не видеть всего этого. Потом мы уходили, напившись кипятку. Два раза я в сырой предутренней мгле за мостиком видел васнецовскую Аленушку, Дуню Табариннову, я махал ей рукой, и она приветливо отвечала мне тем же, милая, сказочно красивая девочка с красными ознобленными руками.

В эти дни мы должны были соединиться с идущими нам навстречу ополченцами, и линия контрэскарпов казалась мне бесконечной. Я представлял себе, как она опоясывает всю Москву — широкая, надежная, недоступная... Я представлял себе всех нас сидящими внутри этого прочнейшего пояса. Вот он, фашист, прет, прут его танки, пехота, они наступают, но стоп! Ша-

лишь, фашистская морда, не тут-то было, не пройдешь! Танки их растерянно тычутся вправо и влево, шутка ли, перед ними неодолимое препятствие, они замешкались, выключили моторы, а мы их поливаем, а мы их поливаем огнем! Они валяются во рвы, вырытые нашими руками, и здесь находят свою смерть, и благодарная история вписывает наши безвестные имена золотыми буквами на свои сияющие страницы...

...Но пень покамест портил мне все дело. Он все-таки заставил меня скинуть ватник, в такую-то погоду. Пень уже висел на одном корешке, но сколько я его ни пихал, он и не думал двинуться с места. Я решил подрвать его еще немного. Невдалеке, немногим пониже меня, копошились Лешка с Тележкой. Они выкорчевали уже три пня. Чуть левее их орудовал Степан Михалыч с Сережкой Любомировым, и у них тоже были успехи, а я все еще возился со своим Берендеем. Я стал сбоку подрывать под ним яму. Здоровый был пнина и страшный, как леший. Я выкинул две-три лопаты из-под туго вросшего, похожего на морской канат корня и увидел, что пень пошел. Он наклонился вперед всем своим почерневшим, заросшим плесенью срезом и, видно, собирался кувырнуться. Он уже заходил на кувырок и мог меня придавить. Я отскочил, положив руку на его жесткий кабаний бок и подпихивая его. В двух шагах под пнем, спиной к нему, стоял на четвереньках Лешка. Пень заходил уже за ту точку, перейдя которую он понесется вниз стремглав, страшный, как зверь. Я попытался остановить его и схватил за торчащий снизу сук. Лешка все еще возился. Язык у меня стал толстый, он не поворачивался во рту, это было как во сне, но я превозмог наваждение и крикнул:

— Лешка! В сторону! Берегись!

Он сразу понял, пригнул голову и быстро передвинулся на коленях вправо, а пень повалился боком, очень мягко подвернул мой палец под сучок и, наконец, словно окончательно надумав, как мальчишка, ринулся галопом вниз, скача и подпрыгивая легко, несмотря на свой вес. Он так и докатился до самой речки, скача и приплясывая, вбежал в речку по сукастые свои колени и встал.

А я смотрел на свой большой палец. Он висел почти отдельно, как с чужой руки. Он уже синел. Испарина

выступила у меня на висках. Лешка подбежал ко мне. Он сказал:

— Сломал?

Я сказал:

— Не знаю.

Вокруг уже собралось много народу. Степан Михайч положил мою кисть на свою широкую ладонь.

— Нет, — сказал он, — не сломал, нет.

— Растяжение, — сказал Тележка.

— Вывих...

— Теперь тебя отправят...

— Не работник, ясно.

Стоявший неподалеку Каторга, вытянув шею, крикнул:

— Это он сам над собой сделал, самострел клятый...

Лешка погрозил ему кулаком.

— Позовите Сему, — сказал Байсеитов.

Сережа Любомиров сказал:

— Сейчас.

Но кто-то уже вел Сему. Он был, как гном, борода-тый и горбатенький. Я его знаю по Москве, он раскле-йщик афиш, свой брат, такой же, как и я, служитель муз.

— Ну-ка, — сказал Сема, — покажь.

Он погладил мой палец, осторожно, не причинив боли, наоборот, даже приятно было.

— Этот палец, — сказал Сема важно, — этот самый палец выскочил из своего гнезда. Держите огольца. И ничего особенного.

Лешка обнял меня сзади за плечи и прижал к себе. Мне было слышно, как в левую мою лопатку сильно стучится Лешкино сердце. Сема взял мою руку и сказал убаюкивающе:

— Закрой глаза.

Я закрыл, но не сдержался. А Сема сказал, отходя:

— А зачем орешь? Орать не надо. Операция закончилась. Затяни чем-нибудь. Освобождение, конечно. Ну, хошь на день. Доложись командиру.

Я смотрел на его горбик, бородку, кривые ноги и подумал, что он, наверно, в самом деле гном и колдун, это он притворяется, что он раскле-йщик. Палец, хоть и болел и был синий, и опух ужасно, а все-таки он болел нормально, как-то по-другому, чем минуту назад. Да здравствуют гномы!

Я пошел к штабу и разыскал Бурина. Он долго и пытливо рассматривал мою вздутую кисть и синий палец, потом подозрительно спросил:

— Это как же вышло?

Я рассказал ему. Он рассердился:

— Испугался, значит, за дружка?

— Да.

— Он бы сам отбег. Надо бы тебя на губу или судить как дезертира!

Я сказал:

— Ты спятил, Бурин. А если бы задавило Фомичева?

— Брось, — сказал он жестко. — Не ной. Я тебя знаю, не думай. И только поэтому, черт с тобой, отдыхай, гуляй, ваше сиятельство, барствуй! Валяй, значит, лодыря, через свои нервы. — Это в насмешку так сказал — «нервы» и покривил едко губы. — Но завтра выходи на трассу! Не сможешь — отправлю. Иди. — Он отвернулся.

Ишь ты, какой железный командир! Он меня отправит! Ты подавишься семь раз, прежде чем меня отправишь. Я тебе покажу «нервы».

15

— Здравствуйте. Что не на работе?

Она кликнула меня из своего проулка, когда я шел от Бурина, злой как черт. Я шел к нам в избу, к тетке Груне. Не обратно ж на трассу идти, стоять там столбом. Я очень обрадовался, когда увидел ее. Я просто опять окаменел: да разве бывает такое лицо не на картинах?.. В кино у нас все уступили бы ей по красоте, если честно подходить — они и пятки ее не стоили.

Я сказал:

— Здравствуйте, Дуня. Освобождение получил. Вот палец...

Она осматривала палец, а я думал: ландыш. Только ландыш такой красивый, и Дуня — это ландыш.

— Чем бы перевязать? Вы знаете, Дуня, его надо подзатянуть.

— Ну да, — сказала она заботливо. — Зайдем-ка до нас.

Она взяла меня за руку и повела к себе. Дома у нее никого не было. Против печи шкафчик со стеклянным

верхом, там стояла кой-какая посуда. Герани и фикусы на подоконниках и на полу, и пол дощатый, голый, чисто вымытый, по такому полу хорошо ходить босиком. Левый угол был отделен занавеской, видно, там стояла кровать. Еще там была скамья, старая, серо-белая, я очень люблю этот цвет старого домашнего дерева.

— Садитесь, — сказала Дуня, — я сейчас.

Она скинула свой клочковатый полушубок и оказалась в простом ситцевом платье. Она была стройная и держала торс очень прямо, как цирковая балерина. Обута она была в огромные валенки с калошами. Калоши она тоже скинула, а валенки нет. Так и ходила — ноги слона и торс юной балерины, и лицо. Она принесла какую-то тряпочку и села передо мной. Я повернулся к ней, и она стала перевязывать мне руку. Пальчики ее согрелись, прикосновение их было ласковое, и русая ее головка с недлинной косой и неслыханной красоты лицо, — все это брало за душу, и славно становилось жить подле нее, как-то доверчиво и любовно.

— Вы сами московский будете? — спросила Дуня.

— Московский.

— С матерью живете?

— Один.

— Что так?

— Она умерла.

— Ах ты... давно?

— Год уже...

— Отчего она, бедная?

— У нее болезнь была... тяжелая... Она в больнице лежала.

— В больнице?

— Да.

— Плохо в больнице лежать...

— Это все от людей, какие люди...

Я сам не знаю, почему мне вдруг захотелось рассказать Дуне. Хоть немного. Я сказал:

— Я один раз был у нее в больнице, раньше не пускали, а тут вызвали. Посиди, говорят, с мамой, повидайся. Я и не понял ничего, с радостью пошел. И когда я пришел, я пожалел. Там у них был доктор. Наглый такой, сановитый... Ему все можно. Например, резать правду-матку в глаза. То есть такую правду, которой не надо. Терпеть не могу. Я к нему пришел и дождался

очереди и случайно услышал, как он одному тихому такому парню, рабочему, говорит: «Послушайте, любезнейший»... Слышите, Дуня? «Любезнейший» — в наши дни в обращении к рабочему. Вы чувствуете, что стоит за этим словом «любезнейший»?

— За этим словом стоит, что доктор сволочь, — сказала Дуня.

Я обрадовался, что она поняла, уловила в чем дело.

Я вообще не очень-то любимый стал в последнее время, но, странное дело, я чувствовал, что говорить с Дуней можно. Вот именно — можно, она меня поймет так, как я хочу быть понятым.

— Ну а дальше-то что? — поторопила меня Дуня.

Я сказал:

— Так этот доктор и лепит ему в глаза: «Вот, любезнейший, должен вас огорчить, надеяться не на что, жена ваша плоха, предвижу летальный исход». Тот так и закачался, ноги подкосились, сел, воздух ловит ртом.

— Это что ж за исход такой? — спросила Дуня.

— Летальный? Это смерть. От слова «Лета» — река забвения. Я и дожидаться его не стал, так мне противно было. Я пошел в палату, сидел у матери и держал ее руку. И вот в какую-то минуту ей стало больно и, видно, уж очень. Лицо исказилось, и она отвернулась, чтобы я не видел. А меня насквозь пронзило...

— Как это все тяжело и прискорбно, — грустно сказала Дуня и замолчала. Глаза у нее стали влажные, и она сказала, положив мне руку на плечо: — А батя ваш где?

Я сказал:

— Отец погиб на Хасане. Он герой.

— О господи, — сказала Дуня. — Значит, вы сирота?

Я сказал:

— Да.

Она задумалась.

— Круглый, значит, сирота. — Она посмотрела на меня каким-то новым взглядом, более близким взглядом старшего и сильнеешего. Ах, славная, бесценная Дуня. Она сказала: — Жалею я вас, нельзя сказать, как жалею! Вы сами с какого?

— С двадцать второго. А вы с какого?

— Угадайте.

— С двадцать второго.

— Что вы! Неужели я выглядываю на с двадцать второго?

Она обиделась. Вот история! Я сказал:

— Ну, с двадцать третьего.

Она сказала недовольно:

— Конечно, теперь будете перебирать по одному.

— Я не умею угадывать!

Она улыбнулась.

— Молодой еще.

Я сказал:

— Так с какого же вы, Дуня?

Она сказала, словно желая сделать мне сюрприз:

— Я с двадцать четвертого!

— Ну да? — сказал я. — Значит, вы маленькая?

— Семнадцать годов — маленькая?

— Ну, не грудная, конечно, но все-таки маленькая.

Очень молодая...

Она опустила ресницы, улыбнулась уголком рта и сказала лукаво:

— Самые года.

Я сказал:

— Конечно! Невеста!

— Не смейтесь!

— Нет, — сказал я, — я не смеюсь. А сватались?

Только честно!

Она притворно зевнула:

— Глупости это все. Учиться надо.

— А на кого?

— Я на учительницу хочу. Я очень понимаю маленьких ребят. Я с ними, хоть с каким, сразу как своя.

— Хорошее дело, — сказал я. — Я тоже ребят люблю, всех маленьких люблю, жеребят и щенят. Ну, а ребята, конечно, всех лучше. Они воробьями пахнут.

Она засмеялась и снова глянула на меня долгим, испытующим взглядом.

— Вот вам и надо сто ребят завести своих. А вы холостой?

— Да... Я холостой...

— Что это вы как будто сомневаетесь... Может, неправда?

— Нет, нет, что вы. Я холостой.

— И никого нету?

- Где?
- Ну, на примете.
- Ох, так нельзя.
- Почему же?
- Ну, нельзя... А если бы я вас так спросил? Вы что бы мне сказали?
- Я?
- Да. Вы.
- Раз у меня никого бы не было, я бы так и сказала, а если бы я виляла, значит, что-то бы у меня на уме было, что я бы скрыть хотела...
- От кого?
- От вас. Да что вы все на меня-то повернули?..
- Я не сворачивал... Дуня, мне, пожалуй, идти надо?..
- Куда же вы так быстро? Поговорите еще со мной.
- А про что?
- Да про что хотите, мне все интересно. Хоть про книжки...
- Да про книжки что ж рассказывать, их читать нужно. Вы что читали?
- Я? Много кой-чего... Ну, Толстого читала «Анну Каренину», Пушкина «Капитанскую дочку», Бляхина «Красные дьяволята» — много вообще... «Железный поток»... Это Станюковича...
- Серафимовича...
- Ой да, Серафимовича...
- Ну, а что больше всего понравилось?
- «Анна Каренина», конечно. Ах, бедная, несчастная... Я всегда слезами обливаюсь, как она с сыночком своим виделась. Несчастливая Аннушка, красавица, а несчастная.
- Я сказал:
- Да ты сейчас-то не плачь. Конечно, она несчастная, да ведь это книжка.
- Нет, — живо сказала Дуня, — это хоть и книжка и про старое время, а все-таки так было. Это жизнь. Так в жизни бывает. Это все про жизнь.
- Дуня, — сказал я, — Дуня, ты просто я не знаю какая!
- Она быстро повернулась ко мне, балерина в валенках.

— Понравилась? — сказала она.

У нее было радостное лицо.

— Выше макушки, — сказал я с таким видом, что шучу.

— Сватайся! — сказала она.

Я сказал, но не сразу:

— Война.

— Да, — задумчиво сказала она, опустив руки, — война! Не можешь ты свататься. Скоро вас под присягу повезут.

— Это как? — У меня забилося сердце.

— Так. Привезут знамя — и под присягу, и все. И на фронт.

— Дуня, вы это серьезно или так? Неужели правда?

— Да вы чего всколыхнулись-то? Ай на фронте сладко?

— Слаще, чем здесь.

Она задумалась, подошла к окошку и закинула руки за голову. Потом обернулась ко мне и сказала укоризненно:

— А кто же с нами будет? С бабами и с девками да с малыыми ребятами? Ведь мы бьемся, сил нет никаких. Я вот девушка, а тогда ругалась при вас на лошадь, как пьяный бандит. Разве это хорошо? Зачем это так жизнь заставляет? Я раньше никогда себе этого не позволяла, да и сейчас с души воротит от дурного слова, а вот поди ты... А где мои папаня с братом? А, вот то-то... Мы с матерью работаем, а у ней кила, разве ей можно? Значит, все я да я. А тетка, она придурок, все с сектантами шушукается, кто ей мозги вправит? Опять я? Да она меня так шуганет, что я и костей не соберу! Вот... А вы все на фронт тянетесь, души у вас нет...

Она с досадой задернула марлевою занавеску. Рука у меня успокаивалась, она пульсировала ровно и болела сладко, выздоравливала. Я подошел к Дуне. Мы стояли рядом и молчали.

— Осерчал? — сказала она тихо.

— Нет, — сказал я, — и нисколько.

Никогда еще ни с одной женщиной или девушкой я не чувствовал себя так легко, как с Дуней. Мне с ней

и говорить было легко, и дышать легко, я ей рассказал про больницу, и даже это мне с ней было легко. Такого еще ни разу в моей жизни не случилось. Не рассказал бы я этого Вале — внутри затормозило бы. Она назвала бы меня сентиментальным, но это не сентиментальность. Нет. Чувства ведь все-таки есть? Бывает тебе грустно или нет? Вот тут-то и нужно, чтоб тебе попался такой человек, как Дуня... Но это редко бывает, я таких не встречал. Я вообще до Вали никого не встречал, у меня, кроме Вали, никаких романов не было. Нельзя же считать романом наши поцелуи с Адой Ляминой. Давно это было, еще в пятом классе. Мы выходили после школы на бульвар, она заставляла меня прятать руки за спину, и сама прятала свои. Мы стояли на расстоянии двух шагов и наклонялись друг к другу, выпятив губы и приблизившись, сухо и быстро клевали друг дружку носами. Это называлось целоваться и считалось страшным грехом. А потом выяснилось, что нет в классе мальчишки, не целовавшегося так с Адой. Нет, это был не роман. Это все детство. Какой это роман.

...В избе у тети Груни было пусто и неуютно, я даже пожалел, что так быстро ушел от Дуни. Там было чисто, а здесь солома лежала на полу, сбитая, старая, в комнате стоял наш знаменитый ополченский запах, воздух был синий от невыветрившегося махорочного дыма. Маленький Васька играл в чурочки возле холодной печи. Я сел к окну и подозвал его и отдал ему два кусочка сахару, они лежали у меня в кармане — я еще утром припас. Васька снова сел на пол, босые его ножки, грязные и твердые на подошвицах, были раскинуты. Он поел сахару, глядя на меня неотрывно. Дело это было минутное, и Васька обтер мокрые руки о женское лиловое трико, в которое был одет. Подошел ко мне и приткнулся у колена, и искательно погладил мой сапог.

— Ты, Митька, всегда носи мне сахару, — сказал он.

— Ладно, — сказал я, — а где мама?

— Пошла. Сказала, чтоб я не баловался.

Я взял его под локотки, поднял эти полфунта ребрышек и посадил на колени. Он стал смотреть в окошко. Я понюхал его всклоченную головушку. Пахло воробьями. Под моей рукой билось маленькое сердце, билось гораздо чаще, чем у меня. Мы сидели так с

Васькой и молчали. Он пригрелся у меня на коленях, растаял, притих и, видимо, боялся, что я взял его ненадолго, сейчас снова уйду и оставлю его на весь день. Поэтому он затаился, как мышонок, — не хотел спугнуть меня, боялся шелохнуться, чтобы не напомнить мне о моих непонятных взрослых делах. А я снова думал, что если я люблю этого Ваську и всех других, таких же, кто сиротливо сидит один на полу в грязи, у холодной печи, то чего я здесь сижу, надо идти, идти, на большую войну, и сделать что-то большее, чем я делаю сейчас. Опять заскрипела душа, заняла гордость, и долг застучал кулаком в сердце.

За окном уже стало темнеть, скоро должны были прийти наши. Впервые я встречал их здесь, и я решил прибрать избу, проветрить ее, вскипятить воду. Неловко мне было, что я весь день проваландался с пальчиком, как обыкновенная рохля. Я встал, Васька соскочил с колен и устался на меня. Я сказал:

— Большая приборка! Свистать всех наверх! Эй, на юте! Пошевеливай! За мной, Василь Яклич!

И мы с ним начали орудовать. Он мне здорово помогал. Такой маленький, а работу он знал. Я подмел пол, принес свежей соломы, открыл надолго дверь и впустил свежего воздуха. Затопил печь, поставил кипятить чугуны воды. Хлеб ополченцы должны были принести свой, а может быть, и кашу или консервы. Мы долго возились с Васькой, и он все время помогал и шлепал за мной маленькими ножками и стучался об углы. Я вытер ему сопливый нос, пригладил всклокоченные волосы, и он оказался очень даже ничего себе. Мы крепко с ним вообще подружились. Я решил прилечь и подождать, уложил Ваську на кровать, а сам лег на солому и, как только лег, мгновенно заснул. Спал я крепко и проснулся оттого, что Лешка укладывался со мною рядом.

— Это ты, Лешка?

— Ага, — сказал Лешка, — болит рука-то?

— Утихает...

— Что ж ты не ужинал?

— Проспал.

— На вот хлеб. Освободил Бурин-то?

— Ругался. Судить бы, говорит, тебя как дезертира!

— Плюнь. Это он сгоряча. А ты думал, меня раздавит пневм?

— Он уж начал переваливаться на тебя.

— Что ж руку-то не выдержнул?

— Да не успел, черт его знает.

— Я теперь должен тебе отплатить!

— Спи, друг.

— Да. Это так, я тебе друг, запомни.

— Так и я тебе друг. Так и знай.

Лешка придвинулся ко мне еще ближе.

— Слушай, — сказал он. — Сережка-то прямо спятил. Бежать хочет в Москву.

— Не может быть!

— Сражаться надо, — спокойно сказал из темноты Сережа.

— Ты не спишь? — спросил я.

— Я все ночи не сплю!

— Это не дело!

— А ты не учи! Не учи ученого!

Я хотел ему ответить как-нибудь порезче, но в это время что-то завывало, загудело, и страшный нарастающий визг пронесся над нами, как будто ведьма на помеле пролетела, потом ужасно трахнуло, дом наш зашатался из стороны в сторону, и в углах его послышался треск.

— Бомба! — крикнул с постели дядя Яша. — Васька, ты где?..

Васька откликнулся ему, тетя Груня заплакала и запричитала в темноте, а мы повскакивали с соломы. Кто-то чиркнул спичку, мы стали одеваться, толкаясь и хватая чужую одежду.

— Пойти взглянуть, — сказал Степан Михалыч в случайно образовавшейся паузе.

Его голос подействовал успокаивающе. Стало тише, люди, уже не геснясь, вышли на улицу. Было темно. На горизонте пылало зарево.

— В лес, что ли, упала, — сказал дядя Яша. — Но то не эта, нет. Больно далеко. Горит где-то около Боровска. Видно, фриц за Боровск взялся терзать. А если он его возьмет, нам всем хана.

— Это почему же? — зло спросил Сережа Любомиров.

— Отрежет, — просто сказал дядя Яша, — отре-

жет, и нету нам никакого пути. Если только левее, на Наро-Фоминск. Ну, так и фриц, коли он Боровск возьмет, неужели он Наро-Фоминском погребает?

— Не каркай, дядя Яша, — сказал Тележка. — Как вы это все любите, в хате сидя, располагать.

— Думать надо, умом надо своим пользоваться, — сказал дядя Яша, — и тогда картина сама себя окажет.

— Наполеон, чисто Наполеон, — сказал Бибрик.

Киселев тяжело дышал, слышно было, как он скребет свою щетину.

— Стой не стой, завтра рано на работу, — сказал Степан Михалыч. — Наша война продолжается.

Он пошел в избу. И все пошли за ним. А я пошел на деревню. Спать не хотелось, вот что было странно. Ну да я ведь поспал уже часа три. Почти норма. Я перешел через мостик, и он опять пугливо задрожал под моими ногами. На этой, штабной, стороне было как-то тише и спокойнее, и люди, которых я встречал, все держались спокойно, а если и были встревожены, то друг перед другом этого не показывали. И я подумал, что надо бы мне пройти мимо Дуниного дома, мало ли что: может, я им понадоблюсь.

Как только я вошел в маленький проулок, так сразу от забора отлетела легкая тень, и Дуня прильнула ко мне.

— Испугалась? — сказал я. — Дунечка ты моя маленькая.

— Испугалась, — сказала Дуня и вздохнула прерывисто, по-детски, — ужас как испугалась. Я в амбарушке спала, там у меня жаровенка есть, а он как тарарахнет, ну, думаю, конец света...

— Нет, это еще не конец, — сказал я, и мне стало тоскливо. — Много еще будет бомб, надо привыкать...

— Холодно, — сказала она и повела плечами.

Я сказал:

— Пойдем провожу.

Мы пошли с ней в глубь проулка, вошли к ним во двор, и я увидел, что слева от ворот стоит крохотный нахохленный домик, просто как декорация, такие строят у нас в Сокольниках под Новый год для детей.

— Вот здесь и сплю, — сказала Дуня и открыла дверь. — Входи.

Там были нары или скамья, прикрытые какими-то дерматиками и веретем, и красным раскаленным глазком смотрела маленькая железная жаровенка, похожая на керогаз. Дуня села на скамью, в красном призрачном свете были видны ее таинственные глаза.

— Как хорошо, что ты пришел, — сказала Дуня. — Я так хотела, чтобы ты пришел.

— А я стоял на крыльце с нашими, смотрел, где бомба упала. А потом все пошли спать, а я сюда.

— Само потянуло?

— Само...

— Сердце сердцу весть подает... Садись, что ты...

— Да я не устал, ведь я не работал.

— Садись со мной, — сказала Дуня.

И я сел с ней рядом. Она положила свою руку в мою, и долго мы так сидели с ней, и я держал эту милую руку и глядел на эти несказанные глаза, на жемчужные зубы несмело улыбающегося рта...

— Ну, а если бы не война? — вдруг сказала Дуня.

— Что?

— Я говорю, если бы не война, а вот мы с тобой встретились, и тебя бы сюда тянуло, как сегодня, а меня к тебе. Вот если бы можно нам было, ты бы посватался ко мне?

Как она сказала это слово «можно»! Я сегодня все зремя думал, что вот с тобой мне все можно. Болтливым быть или даже глупым, молчать или хромать, заплакать тоже можно, все можно. И насмешек не будет, и зла за пазухой не будет, и оглядки и фальши не будет, нет.

— Что молчишь-то? — сказала Дуня. — Не посватался бы, значит?

Да что я, каменный? Кто же это выдержит. Ведь все равно мне с ней нельзя по десятку причин, но зачем же обижать — ведь лучше ее нет в целом свете, и потом, ведь это правда.

— Посватался бы, — сказал я, — еще как. Семьсот верст пешком бы к тебе бежал.

Она придвинулась, и прильнула ко мне, и положила мне голову на плечо. Я почувствовал ее маленькую, твердую грудь.

— Ты девочка, Дуня, — сказал я. — Ты маленькая.

Нельзя тебе стать сейчас моей женой, война раскидает нас завтра, как пылинки, в разные концы...

Она заплакала, я погладил ее лицо и омыл пальцы ее слезами. Я понимал, что наш с ней разговор в этот странный час, при свете маленькой жаровни, — это и есть высшее счастье нашей жизни, какого я, может быть, никогда уже не достигну, и горячая тоска давила мне на горло, не давала биться сердцу.

Дуня говорила, глядя в окно и сложив руки на груди, и слезы все бежали по ее лицу:

— Возьми меня с собой! Ведь я, Митя, не вдруг это говорю. Я как тебя в первый раз увидела, тогда, с товарищем твоим, когда ты мне телегу поднял, я тогда сразу поняла, что ты верный человек. Не умею сказать... Ты верный человек, это по лицу видно. Детей как хорошо любишь... Вон ты какой... Мне без тебя нельзя здесь оставаться. Кто защитит? Как подумаю о фрице, как подумаю...

Она это так говорила, что лучше бы вынула из жаровни уголья и прожгла бы мне глаза...

Я сказал:

— Не плачь. Дуня, родная моя...

Она потянулась ко мне, и я обнял ее и поцеловал, и она тоже меня поцеловала, и время летело мимо нас, и я все целовал Дуню, ее маленькие твердые ручки, и губы, и шелковые мокрые ресницы, и ситец на ее коленях целовал, и это было лучше, что я испытывал в своей жизни.

Я ушел от Дуни за час до побудки. Она плакала беззвучно и все не отпускала меня и еще, и еще целовала. Я ушел от нее в ту ночь. Я не сделал ее своей женой. Я любил Валу.

Утром приехал Вейсман. Он очень осунулся. Когда он стоял над нами на гребне, было видно, какой это старый и больной человек. Лишняя кожа свисала с его лица. Стоя на ветру в вытертом своем «цивильном» пальто и качаясь от ветра, Вейсман сказал:

— Шоссе обстреливают насквозь. Я отдал Климова в больницу и позвонил его родным. Плачут. Я говорю: как вам не стыдно, надо радоваться, парень в боль-

нице, уход как за графом. Вы плачете не по нем, говорю я, вы плачете по мне, мне еще обратно ехать. Никакого впечатления... Между прочим, я заезжал в райком, скандалил насчет махорки. Они мне стали вкручивать, что через недельку, и пятое, десятое, но когда я взял их за грудки, сразу нашлась пара ящичков.

Внизу восхищенно засмеялись. Старый враль никого не мог обмануть, но все-таки приятно было представить, что Вейсман кого-то там мог брать за грудки. И потом, он привез махорку! Ванька Фролов, больше всех страдавший без курева, подбросил в воздух монетку.

— Мировой старик! Жук, а не старик! Докладывай дальше.

— Еще в райкоме говорили, что скоро сюда придут боевые части нашей армии. Они здесь займут оборону. И, может быть, нас тоже вооружат...

Сережка Любомиров крикнул коротко:

— Ура! — И еще раз: — Ура!

Вейсман поклонился, как будто это он приведет сюда Красную Армию и выдаст нам оружие. Отойдя в сторонку и поймав мой взгляд, он деловито кивнул мне. Я взлетел кверху.

— Не волнуйся, — сказал он и положил мне руки на плечи. — Я все сделал.

— Ну?

— Я ее видел, хотя мне это было дьявольски трудно устроить.

Старик набивал себе цену, а мне было стыдно его доброты, и набивать ничего не надо было. Просто это был геройский старик.

— Я ее видел, — сказал Вейсман. — Хорошенькая, при титечках и все такое, ничего не скажешь. Но ты не расстраивайся... — Вейсман отошел на шаг, чтобы мне удобнее было падать. — Она сказала: ответа не будет.

Удивительно, что я это знал раньше. Никакого впечатления это известие на меня не произвело. Провожать — неудобно. На письмо — ответа не будет. Вот так. Вот так.

Вейсман смотрел на меня с мудрой проникновенностью.

— Да, — сказал он, — такие вещи убивают. Тут не до слез. Я все это хорошо понимаю. Что мне тебе сказать?

— Вейсман, — сказал я ему. — Милый ты человек. Спасибо за хлопоты.

— Иди, сшей себе шубу из твоего спасибо! — закричал Вейсман грубо. Он, видимо, был растроган. Неловко пятясь, он задрал полу своего пальто и полез в карман. — На, развеселись, вот тебе письмо! Какой-то обормот подошел, когда я говорил с твоей красоткой, симпатичный такой обормот, в очках, толстый, как боров.

— Федька! — сказал я и вырвал у старика клочок бумаги, сложенный пакетиком.

«Друже! — это были ужасающие каракули. — В первых строках сопчаю, что я жив и здоров, чего и вам желаю, а второе — огромная новость: я иду на фронт. Как говорится, следую примеру лучших, читай — твоему! Приедешь в Москву живой, позвони моей матери. Она будет знать, как и что.

Жму. Твой Федор».

Я сжал эту бумажку, как Федькину руку, и мне захотелось повидать его. Я спрятал Федькино письмо в нагрудный карман и начал спускаться вниз. И тут я услышал их снова. Они летели звеном прямо над нами. Широкие кресты лежали на их фюзеляжах. Когда они пролетели, у одного из них из брюха выпала какая-то масса. Я подумал — бомба, но цвет и форма были непохожи на бомбу. Все вокруг застыли в ожидании, подняв головы кверху. Масса, оторвавшаяся от самолета, вдруг рассыпалась на тысячи мелких, величиной с игральную карту, пластинок, и эти пластинки, кружась, планируя и вертясь, стали снижаться.

— Листовки, — сказал кто-то.

Они летели, колеблемые ветром, отравленные эти листовки, они летели в нашем подмосковном небе, фрицевские самолеты скрылись, оставив в воздухе эти вонючие бактерии. Они низвергались на нас, потом ветер отнес их в сторону, и они осыпались на оголенный угрюмый лес. Один из листовок упал шагах в двухстах от нас. Сережка Любомиров кинулся к нему. Мы следили за ним. Он возвращался, держа двумя пальцами сероватый листок. Лицо его было ужасно. Взглянув в текст, как бы опасаясь осквернить свои глаза, он произнес прерывающимся голосом:

— «Массаами к нам перебегайте!»

И тотчас бросил листок наземь. Потом Сережа Любомиров резко размахнулся и с ужасающей силой рубанул бумажку лопатой, как живого и ненавистного врага.

К нему подбежал Лешка, и оба они, Сережка и Лешка, стали мочиться на этот листок.

В это время снова послышался вой его моторов, и мы увидели, что вдоль вырытой нами линии, на небольшой высоте, летит фриц. Он летел, как мог, медленно и низко, и снова мы стояли, задрав голову, а он пролетел и превратился почти в точку, но развернулся и опять пошел по линии, снизившись до бреющего полета. Он выпустил короткую очередь, никого не ранил, но когда пролетел, мы высыпали наверх и кинулись к деревьям. По двое, по трое вцеплялись мы кто в осинку, кто в ольху, стараясь слиться с ними и оберечь себя. Фриц снова пролетел по трассе.

— Фотографирует! — крикнул Тележка с отчаянием.

Мы стояли бессильные, держась за стволы подмосковных деревьев, ища у них защиты, замерзшие и ненавидящие. Фриц же по-хозяйски летал над нами, делал, что хотел, изредка постреливая для острстки, чтобы мы не смели носу высунуть из лесу. И такой дул стылый, проклятый ветер, и так мы замерзали без движения, и такое горькое отчаяние вцепилось в наши сердца, что в эту минуту уже не верилось ни во что хорошее. И тут из леса на гребень наших контрэскарпов, с громким посвистом выбросился Каторга. Он разорвал на себе ворот, двумя руками сдернул с головы шапку и что было силы шлепнул ее в грязь.

— А ну, больше жизни, лопатные герои, — закричал нам Каторга. — Что вы там затухли? Жизнь продолжается! Давайте спляшем! — И он топнул двумя ногами, и грязь, как фейерверк, брызнула из-под его перевязанных бечевками бутс. — Что?! Или мы уже не советские?! А? Неужели мы скиснем из-за этого летучего дерьма?! — Он вложил в рот два стянутых в кольцо пальца, дико свистнул и забил ладонями по груди и бедрам. — Алеш-ша, ша! Держи полтона ниже! — крикнул он в небо. — Заткнись там, подонская морда! Да здравствует Евгений Онегин!

Он заплясал в грязи, этот чертов проходимец, этот непонятный человек с кривым носом, заплясал с ужимками и «кониками», по всем правилам одесского шика, и открылся нам в эту стыдную минуту нашей слабости чистой и прекрасной своей стороной. И мы, словно опомнились, скинули наваждение, словно обрели себя, — мы кинулись все на гребень и пошли плясать всюю ватагой, смеясь, и толкаясь, и размахивая руками, как малые дети. Мы жили, жили, жили так, как считали нужным, мы жили своим законом под обстрелом фашистского гада. У нас в руках были только кривые, затупленные лопаты, а вот же мы знали, что мы сильнее того растленного типа там, наверху, куриное сердце которого позволяло ему бить в безоружных.

18

В обед я сидел у окна в нашей избе и поджидал Сережку с Лешкой. Они должны были принести из кухни щи. Мы съедали наше варево в доме, это давало возможность подкормить хозяев. Так делали почти все. Я сидел один в избе, Васька еще не появлялся, видно, заигрался где-то с ребятами, я скучал по нем. Ни тети Груни, ни дяди Яши тоже не было. Лешка освободил меня сегодня от очередного дневальства и не в очередь пошел за щами. Рука моя все-таки давала себя знать, и на работе я еще ворочал с трудом. Я сидел у окна, смотрел на деревенскую улицу, лежавшую передо мной, и думал, что, слава богу, наша работа подошла к концу. Было приятно видеть бесконечную ровную линию наших контрэскарпов, их трехметровую ширину и страшную глубину, их насыпи и зализанные закраины — работа была отличная, мы сознавали это и гордились своим трудом. Все это было еще более приятно и потому, что вейсмановская версия подтверждалась, и шли усиленные разговоры о том, что сюда со дня на день, с часу на час придут наши части и встанут здесь защищать Москву. Здесь, у сделанных нами рубежей. Да, время приходит нашим, самое время!

В эту минуту я увидел, что через мостик, осторожно ступая, идет Лешка, держа в одной руке дымящиеся котелки, а другой прижимая к груди полкирпичика хлеба. Я помахал ему из окна, и он широко улыбнулся и

кивнул головой. Я вышел к нему навстречу и помог донести котелки. Мы поставили еду на стол, положили по углам алюминиевые ложки.

Я сказал:

— А Сережка где?

Лешка мотнул головой:

— Следом идет.

За окном послышался треск моторов. Я кинулся к окну. По улице шла танкетка, за ней другая, за той третья. Я обернулся к Лешке и сказал, улыбаясь:

— Ну, кажется, наши пришли!

Лешка тоже прильнул к окошку. Теперь уже было лучше видно, первая танкетка подошла ближе к нам. Вдруг она остановилась, не дойдя до нашей избы метров пятнадцать, повернулась и пристроилась задом к огородному плетню. Тотчас из короткого ствола ее пушки вылетел белый дымок, раздался выстрел, и возле красного флага нашего штаба на той стороне взлетели кверху щепки, пыль и дым. В эту страшную минуту мы, наверно, одновременно с Лешкой, увидели черный крест на боку танкетки, такой же мы видели на фюзеляжах самолетов. Все это происходило очень быстро и не сразу дошло до сознания. Из-за танкетки вышел длинный фриц. Он двигался в сторону нашей избы. Через плечо его неряшливо висел автомат. Мы замерли. Фашист шел к нам. Навстречу ему бежал через мост Сережа Любомиров. Он что-то кричал скривленным набок ртом и бежал на немца, высоко замахнув через правое плечо лопату. Немец остановился, расставив ноги, и смотрел на него — глаза его ничего не выражали, они были тусклые, задернутые пленкой, как на плавленном олове. Видно, не раз уже на него бросались безоружные люди, и немец знал, что ему делать. Он ждал удобного момента.

Сережка бежал на немца, и когда он уже почти добежал, тот небрежно шевельнул автоматом. Я услышал очень короткое «та-та». Немец отступал, пятился, а Сережка все бежал на него с лопатой, но я уже видел, что Сережки нет, что он уже мертв, что это бежит одна неутолимая Сережкина ненависть, которая не умирает.

Лешка схватил меня за руку и дернул за собой. Мы выбежали на задний двор и легли наземь.

— За огород, — прохрипел Лешка, — под плетень, а там вырвемся.

Я пополз за его сапогами по мокрой грязной земле, а позади слышались выстрелы, пушки работали исправно, чередуясь. Мы ползли, не оборачиваясь, бежали, а немец бил по красному флагу нашего штаба. Там сейчас было много народу, много наших друзей, они собирались сейчас похлебать горячих шей, а немец крыл их без пощады хладнокровным огнем, а мы с Лешкой все ползли, проползли под плетень и еще ползли, а потом встали и побежали за деревню. Минут через пятнадцать мы достигли леса. Мы остановились. Я сказал:

— Откуда, откуда они?

— Десант, верно, — сказал Лешка. — Перелетел, гад.

Лешка задергал губами и заплакал.

— Пойдем, Леша, — я тронул его за плечо, — надо отходить.

Он пошел за мной покорно, как мальчик, и огромным, грязным своим кулаком утирая глаза. Надо было спастись, бежать от верной и бесполезной смерти, добраться до Москвы, получить оружие и вернуться, вернуться во что бы то ни стало! Нельзя было оставлять эти места — в эту землю была вбита наша душа, наша вера в победу, слишком близкие люди остались там за нашими плечами, у домика с красным флагом.

Меня всего жгло. Слава богу, никто не видел, как мы шли вдвоем с Лешкой и ревели. Я ковылял впереди, Лешка за мной. Мы шли напрямик через лес примерно с полчаса и ушли версты за две, потому что выстрелы стали тише, и здесь нам показалось гораздо безопасней.

— Что теперь? — сказал я. — Дальше что?

— Кабы знать, куда идти.

— Ищи дорогу, — сказал я. — Ищи, Лешка.

— Надо искать — да, — сказал он, — а то заплутаем, как бы в обрат не наскочить...

— Левей надо.

— Верно, и я так помню. Там много дорог должно сходиться, помнишь? Когда сюда шли, я запомнил.

А я ничего не запомнил, я тогда не обращал внимания на дороги. Я горожанин, и не было у меня этой привычки. Я сказал:

— Теперь ты иди впереди, Лешка.

Он прошел мимо меня вперед, и я побрел за ним.

Ах, горько так идти по своей земле среди бела дня, идти и знать, что ты идешь не по своей воле, не гуляешь, не грибы собираешь, нет, ты бежишь, скрываешься, спасаешь свою жизнь от злого и наглого осквернителя, и нельзя тебе остановиться и принять бой. Горько так идти, никому не пожелаю, трудно! Но мы шли, нужда гнала. Мы шли напролом, продираясь сквозь подлесок, сквозь тесные группы молодых деревьев, стоящих густо, непроходимой стеной. Исцарапались мы, еще больше изодрались и плутали, но был у нас все-таки какой-то собачий нюх, да и сама земля, наверно, помогла, ведь мы были ее дети, и минут через сорок мы все-таки выскочили на дорогу.

— Смотри-ка — никого, — сказал Лешка.

Он посмотрел на меня, и я понял, о чем он думает... Я и сам этого боялся.

— Неужели мы одни? — спросил я у Лешки. — Неужели мы одни ушли?

— Прямо не знаю, — сказал он упавшим голосом.

— Может, стоим немного?

— Дай освоиться, — сказал Лешка.

Мне почудился треск сучьев.

— Тихо! — сказал я шепотом. — Идут!

— Фриц?

— Не знаю...

— Прячься...

И Лешка зашел за огромную ветлу, стоявшую у дороги. Мы спрятались за кривое двустволое ее тело.

— Не может быть, чтоб фриц, — шепнул Лешка.

Треск становился все сильнее, ближе к нам, и противно было то, что у меня забилося сердце. Но я решил, что, если это фашисты, я брошусь к ним навстречу и хоть одного, да задушю. Среди деревьев замелькали какие-то силуэты, и я увидел ватники. Лешка перевел дыхание: наверно, и он переживал. На дорогу вырвались люди. Это были Степан Михалыч, Каторга и Тележка.

— Вот она, дорога, — сказал Степан Михалыч. — Сейчас определимся — что и как. Не робь, Телега!

— Москва где? — жадно спросил Каторга.

Степан Михалыч встал на дорогу и резко рубанул рукой куда-то наискосок и вправо.

— Вот, — сказал он, — так держать, и будет тебе Москва.

Мы с Лешкой вышли из-за ветлы.

— Глядите, товарищи, Митя, — сказал Тележка и нежно улыбнулся. — Митя и Леша. Наши.

Мы подошли к своим. Мы молчали, они трое и мы с Лешкой. Мы только смотрели друг на друга. Как будто десять лет не виделись. Я чувствовал, что все сейчас плачут.

— Вот оно как вышло, — сказал Степан Михалыч виновато.

— Да, — сказал я, — хуже не бывает.

— Сережка-то... — сказал Лешка и отвернулся.

Все замолчали. Словно сняли шапки у свежей могилы. Степан Михалыч двинулся первым. Мы пошли за ним.

— Наших там тыщи три осталось, — сказал Тележка.

— Больше.

— Уйдут! Многие ушли, многие вырвутся.

— Где ж они?

— Прячутся...

— Или другими дорогами идут...

— Тут кто как сможет, — сказал Каторга.

На дороге, по которой мы шли впятером, было пусто, и лес стоял, сквозной и пустой, и небо было пустое. Стрельба позади прекратилась, и это был плохой признак.

— Всё, видно, заняли Щеткино, — сказал Степан Михалыч. — Теперь польется наша кровь...

— Пойдут теперь расправляться... Коммунистов искать... — сказал Лешка.

— И некоммунистов тоже, — сказал Тележка.

— Коммунистам хуже всех, — повторил Лешка печально. — У меня отец коммунист, и брат тоже.

— Теперь и не узнаешь, кто коммунист, кто нет, — процедил Каторга.

Степан Михалыч остановился и поглядел на него в упор.

— Я член партии непобедимых коммунистов, — громко сказал Степан Михалыч, и губы его побелели. — Я член партии, и ты можешь называть меня комиссаром, Каторга.

Он отвернулся и пошел дальше. Мы двинулись за ним.

Каторга перегнал его и заступил дорогу.

— Каторга да Каторга, — сказал он тихо. — Сколько можно? Какой я Каторга, я Гришка Полещук! Я вас очень уважаю, Степан Михалыч.

Тот двумя кулаками разшебаршил свою бороду.

— Пойдешь со мной, Гриня, — сказал он Каторге. — И ты, Телега, пойдешь со мной. Нельзя мне вас всех вместе вести, а вдруг да я что и не так сделаю. Не туда вас заведу. Пусть мы разделимся.

— Нет, мы вместе, — сказал я.

— Это мой приказ, — сказал Степан Михалыч. — Теперь пришло расставанье, Митя. Мы трое вон там пойдём, — он показал направление. — На Боровск. Мы будем его огибать справа и, может, выйдем на железную дорогу. А вы, Митя с Лешей, вот здесь идите. — Он и нам показал, где бы нам, по его мнению, лучше было идти. — Вы всегда вместе, вы дружки, вам вместе надо. Теперь: в Москву придете, вступайте в армию, ребята, добровольно идите. Вы теперь народ подготовленный. Ну все. Два, значит, у нас отряда во временном отступлении. Всего вам, ребята!

Он протянул мне теплую, согретую добром руку. Я пожал ее. Прощай, Ячмень и Лен! И если навсегда, то навсегда прощай. Тележка протянул мне свою узкую руку, я взял ее и покрыл сверху левой рукой. Он тотчас же положил свою левую руку на мою. Мы трясли так руками, смотрели друг на друга, что-то хотели сказать друг другу и не смогли, постеснялись.

— До свиданья, — сказал Тележка.

— До свиданья, — сказал я.

Потом я пожал корявую руку моего товарища Гришки Полещука — грязную корявую руку человека, которого мы несправедливо дразнили Каторгой...

Лешка простился тоже. Они пошли по большой, пустой дороге к далекому горизонту, а я смотрел им вслед и понимал, что это уходят из моей жизни люди, без которых мне никогда не будет вполне хорошо.

— Айда и мы, — сказал Лешка.

Мы шли с ним скорым приемистым шагом по огромной разметанной дороге, тянущейся сквозь низкий красновато-серый осинник. День перевалил на вторую поло-

вину, грязь на дороге уже начала застывать в предчувствии ночного заморозка, идти стало легче, и мы прошли уже верст шесть или восемь, не встретив ни одного человека.

— Где теперь наши? — сказал Лешка.

— Какие?

— Кто вышел оттуда.

— Плутают...

— Повидать бы...

— А может, кто-нибудь сзади идет, кто позже добрался до дороги.

— Покричим?

Мы несколько раз останавливались и кричали. Никто не откликнулся.

Мы были одни с Лешкой. Словно одни во всей России, так пусто было вокруг. И мы снова шагали с ним по дороге вперед и сворачивали у развилок, не раздумывая. У нас появилась уверенность, что мы не можем ошибиться, и мы выйдем к Москве. Крупинки железа притягиваются к магниту, они не ошибаются никогда.

— Такому человеку, — сказал Лешка, и голос его дрогнул, — такому человеку надо поставить памятник. Узнать, где он жил, и на его улице поставить памятник. Пусть малые дети на него восхищаются и все другие тоже.

— Да. Сереге надо памятник.

— Приду домой, — сказал Лешка, — доберусь только до дома, мать повидать и спать не лягу, побегу записываться в добровольцы. Теперь-то меня возьмут... Теперь люди нужны. Верно?

Я сказал:

— Верно.

Лешка посмотрел на меня и понял.

— Хорошо бы, — сказал он, — нам быть вместе. Да, Митя?

Я сказал:

— Гроб дело. Меня не возьмут.

Несколько минут он молчал, потом зашел ко мне слева и горячо заговорил:

— Я знаю, что надо делать. Нам с тобой, Митя, одна дорога. Нам надо в партизаны идти, вот куда!

Я посмотрел на Лешку. Это было как озарение. Как я сам не додумался до этого?

Я сказал:

— Ты, Лешка, бог!

— Верно? — Он как будто даже удивился похвале. — Значит, пойдешь? В партизаны, да, Митя?

Я сказал:

— Я тебе могу поклясться. Я не знаю даже, как я это сам не дотумкался. А что ты это так быстро сообразил, я тебе никогда не забуду. Значит, идем?

Лешка сказал:

— Факт. Возьмут, не бойся. Мы вместе будем. И не беспокойся, что ты хромой, ты молодой, ты сильный, у тебя руки как камень.

Он просто лечил меня, этот парень.

— Ты ходкий, ты же быстро ходишь, ты никогда не отставал. Я тоже, как медведь, здоровый. Мы с тобой так возьмемся, мы такое *ему* устроим! У *него* и правда под ногами земля загорится.

Ну и здорово же он говорил, Лешка Фомичев, — златоуст, ничего не скажешь! Я даже засмеялся от удовольствия.

А он продолжал:

— И мы с тобой еще до победы доживем, увидишь! Она скоро будет, не думай! Это он временно прет, на шарапа берет, а мы еще не опомнились. А потом такое будет, что он и кишок не соберет, да, Митя?

Я сказал:

— То есть, конечно!

— Вот, — сказал Лешка удовлетворенно, — мы его добьем, а потом вернемся домой и будем жениться...

Я сказал:

— А на ком? У тебя есть?

Лешка засмеялся и стал глядеть в сторону:

— Есть одна.

— Как звать?

— Таська! — сказал он и улыбнулся снова. У него улыбка была замечательная, добрая очень.

Я сказал:

— Что ж ты невесту так называешь несолидно — Таська!

— Какая же она невеста? Она в седьмом классе. Таська и есть!

— Ну да? — я очень удивился. — Она что, школьница? А как же она согласилась?

— Она не соглашалась, она и не знает даже ничего...
— То есть как не знает? Чего не знает?
— Ну что я на ней женюсь!
— Как же она не знает?
— Ну, не знает, и все. Это я пока один решил. Я ее заприметил и решил.

Я сказал:

— Ну, ты и ловок. Прямо чертов сын!

Лешка снова засмеялся. Этот разговор будоражил его и счастливил, и ему еще хотелось про это говорить, он ведь мальчик был, совсем мальчик.

— Вот, значит, годика через три я на ней и поженюсь!

— Ну, победа-то раньше будет, — сказал я.

— Это конечно, но я все равно подожду. Тут особо торопиться нельзя, да и родители ее не отдадут раньше...

— А у нее кто родители?

— Академики какие-то...

— Значит, ты будешь тоже академик?

— Нет, куда там, мне бы хоть на инженера пока... по металлу. Ну, а ты? — вдруг спросил Лешка. — У тебя тоже есть невеста?

Я сказал:

— Нет, Леша, у меня нет никого.

Не знаю, что меня заставило так сказать. Но у меня не было права сказать, что есть у меня невеста.

Дорога лежала перед нами нескончаемая и грязная, и мы пробирались теперь не так уж ходко. Вдруг позади что-то бахнуло, и нам показалось, что это поблизости. Лешка прибавил шагу. Я сказал:

— Я так быстро не могу.

Он сейчас же пошел потише и сказал:

— Я не спешу. Это ноги сами.

Я сказал:

— Выйдем мы, Леша, как думаешь?

Он помолчал. Оживление его уже прошло, он понимал, что дело наше нелегкое, но он был настоящий человек. Он сказал тихо, но твердо:

— Иначе не может быть.

Мы замолчали опять. Стало холодней, время шло уже к четырем. Не помню, сколько мы так шли с Лешкой. Потом опять услышали мотор. Он рычал еще где-то далеко, но мы сразу услышали его. Мы остановились

с Лешкой и стали глядеть в небо. Рокот становился все ближе, и вдруг мы увидели, что с вершины далекого неба, как на салазках с невидимой снежной горы, катился самолет. Он снизился, выровнялся уже совсем недалеко от нас и потом низко-низко по-над самым леском рванулся в нашу сторону. Он давно нас заметил и теперь снизился специально из-за нас.

— Беги, — крикнул Лешка, побежал вперед, метнулся в сторону, перепрыгнул заросшую пожухлой травой обочину и бросился под невысокую ольху, обнял ее и втянул голову в плечи. Я сделал то же самое. Мы под одним деревом лежали, я — с одной стороны, Леша — с другой, и держались мы с ним за одно дерево. Я лежал, вдавливаясь, вжимаясь в землю, зажмурил глаза и поджал плечи. Я слышал рокот и услышал длинное, не в пример утреннему, та-та-та-та-та-та. И ветер. И дерево гнется и дрожит: р-р-р-та-та-та-та-та-та. Стихает... Да, слава богу, я почувствовал, что стихает звук и напряжение уменьшается, слабеет, удаляется... Дерево, в которое я судорожно вцепился, уже не трепещет больше, и, выждав еще несколько секунд, я из-под руки глянул в небо. Фрица уже не было. Он побаловался и пошел дальше.

Я сказал:

— Ушел, дерьмо такое.

Я приподнялся на локтях и переполз на другую сторону, где лежал Лешка. Он все еще лежал на животе, так же, как я секунду тому назад. Он обнимал дерево, и было похоже, что он целует землю, на которой лежит. Возле его уха лежала тугая, нерасплывающаяся лужица. Она не блестела. Она лежала, выплеснувшись вся, как в блюдечко. Темно-красная тусклая лужица, и это была убежавшая из веселого Лешкиного тела жизнь.

Я не знаю, что со мной случилось и почему я это сделал. Я, наверно, соскочил с зарубки. Со мной случилось что-то странное. Я не знаю. У меня все заболело сразу, опоясало, и перекрестило, и запеленало болью. И, ощущая невыносимую боль во всем теле, и стоная от боли, и плача, я приподнялся, подтянулся и сел, прислонившись спиной к нашему с Лешей дереву, рядом с ним. И вот тут-то я услышал в себе:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня...

Я услышал это четверостишие до конца и посидел потихоньку, покачиваясь, и услышал снова:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня...

Ничего другого я не мог делать. Я сидел так, как самый настоящий тяжелый псих, и повторял эти слова, наверно, пять тысяч раз подряд:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня...

Я пел эту песню, и видел свою Дуню, ненаглядную свою Дуню, родимую свою, которая осталась там, в Щеткине, за мостиком, в своем проулке, ее сейчас, верно, ломают и гнут, и крутят руки, и бесстыдно рвут ее платье, и хрустят ее косточки. И я видел маленького Ваську, как бьют его пахнущую воробьями головушку об угол сарая. Я видел Вейсмана, как его сжигают живьем, и я видел распятого дядю Яшу, и лежащего на деревенской улице мертвого Сережу, и мертвую девочку Лину...

Я ничего не мог с собой поделаться. Я сидел у дерева, и рядом со мной холодела живая человеческая золотинка, мой друг, мой товарищ, мой брат Леша. А я не мог встать и похоронить его, оказать ему последнее уважение. Я смотрел вперед перед собой и держал руку на безответном Лешкином плече и все повторял и повторял одни и те же слова:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня...

Я сам себя не слышал, вернее, слышал, но так, как будто я пою где-то далеко, а здесь вот сижу тоже я и плохо слышу того себя, который поет вдалеке.

Уже совсем стемнело, когда ко мне подошел Байсеитов. Он подошел, как будто все давно знал, постоял возле нас с Лешей и ничего не говорил. А потом опустился на колени и стал рыть, рыть своим ножиком землю. Я слышал его удары о землю и короткое дыхание. Он долго копал и скреб, и до меня дошло тогда, что ему одному не управиться. Я встал, подошел к нему и стал помогать. Я рыл сначала пряжкой пояса, а потом просто ногтями, и мы наконец вырыли вдвоем с Байсеито-

вым неглубокую овальную яму, неровную и некрасивую, и я взял Лешу за плечи, а Байсеитов за ноги, и мы его, как сонного, уложили в сырую, безвестную, ненадежную постель. Мы засыпали его землей и заложили голыми безлистыми ветвями, и я опустил на колени и поцеловал эти ветви там, где у Лешы сердце, и Байсеитов сделал так же. Мы встали потом у могилы, и Байсеитов спел со мной:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня...

Потом мы пошли по дороге вперед.

20

Он пытался меня пожалеть и два раза брал меня под руку, как старуху, но я пихнул его локтем в грудь, и он отстал. Мы шли с ним уже часа два-три, над лесом встала кривобокая луна, и на дороге были видны замерзшие лужицы. Под тонкой прозрачной корочкой льда переливалась нежным узором еще живая вода, и лужицы были похожи на кружева. Они были похожи на узоры из наряда царевны Волховы. Они были похожи на серебряные слитки. И на причудливые обломки зеркал. И на удивленные глаза.

Мы давно уже шли с Байсеитовым и еще не сказали друг другу ни слова. Часа полтора тому назад небо за нашей спиной запылало кровавыми перьями пожаров, и бомбы стали разрываться за нашей спиной. Они прямо наступали на пятки. Видно, фриц двинулся вперед. Надо было нажимать, и мы шли очень быстро, не так, как ходят в строю, а просто вовсю, и мне было трудно. Да и Байсеитову тоже, ведь мы давно ничего не ели, а шли уже в общей сложности часов десять, а впереди ничего не было — ни огня, ни жилья. Но все-таки мы шли и шли, влекомые Москвой, все вперед и вперед, несмотря на то, что ноги у меня опять болели и мне казалось, что они кровоточат. Мы шли вдвоем с Байсеитовым. Теперь Байсеитов был моим спутником, а Лешка отстал в пути, прилег на дороге и не догонит никогда...

— Потерять друга — счастье потерять, — сказал Байсеитов. Он догадался, понял, о ком я думаю, идя с ним рядом.

Я сказал:

— Да.

Байсеитов расстегнул ватник. Прямо в лицо нам дул ледяной ветер, но Байсеитов подставил ему свою коричневую дубленую грудь, которая не чувствовала холода.

— Обида жгет, — сказал он гортанно, — когтит душу, как кобчик перепелку.

Он замолчал и потом снова сказал кому-то гневно, с укором:

— Нельзя так, слушай, — так нельзя!

Да, обида грызла нутро. И с этой обидой, как с пулей в груди, закусив губы и шатаясь, в тяжелых сапогах, мы шли с Байсеитовым, мы шли, шли, шли, шли, без конца. Мы только с ним и делали, что шли, шли, шли, шли... Дорога лежала перед нами, бесконечная, ночная дорога, стылая и молчаливая, холодюга стоял собачий, ветер подвывал в голых вершинах, и два десятка километров остались за нашими плечами, как два десятка лет. И казалось, что конец нам, никогда мы не выйдем из этой тьмы и холода, и все равно надо было идти, идти, идти и идти. После полуночи силы отказались мне служить, мне стало наплевать на все на свете, и снова боль охватила все тело. Она сжимала меня обручами, особенно грудь, и не давала мне ни вдохнуть, ни выдохнуть. В глазах моих встало какое-то марево, оно кружило голову, и странная полусонная одурь нашла на меня. Я хотел спать. Плюнуть на все и завалиться поспать. Простое желание, и я высказал его Байсеитову.

— Я посижу, Байсеитов, — сказал я, садясь. — Иди. Я догоню.

Я сел у дороги и уютно привалился к дереву.

Байсеитов стоял подле. Он попытался поднять меня, но я выскользнул из его рук и снова стал моститься у дерева.

— Встать! — крикнул Байсеитов, как командир. — Встать немедленно!

Я встал, пошатываясь. Это было неожиданно для меня самого. Я встал и вытянул руки по швам и закрыл глаза. Меня качало.

— Открой глаза, — сказал Байсеитов. — На!

Я увидел в его руке маленькую круглую жестяночку

из-под вазелина, она была открыта, в ней что-то белело. Байсеитов приподнял мою левую руку и подставил под нее свое плечо. Рука его опоясала меня, это был спасательный круг.

— Масло, — сказал Байсеитов. Он поднес вазелиновую баночку к самому моему лицу. — Двадцать пять граммов. Паек. Я со стола ухватил, когда побежал.

Он сунул палец в банку, подковырнул масло и вложил мне палец в рот. Оно растаяло во рту мгновенно и сделало свое дело. Я сказал:

— Пошли, Байсеитов.

Он лизнул пустую банку два раза и отшвырнул ее. Мы двинулись по дороге. Он шел впереди, и мы опять занялись с ним делом: мы шли, шли, шли... Сколько — не знаю. Знаю, что бесконечно долго. Я опять начал пошатываться и засыпать на ходу, и железный Байсеитов тоже шел неверной походкой, плечи его опустились, голова подалась вперед вместе с шеей, и он шел, шел, шел под горящим небом, а за ним, то догоняя его, то далеко отставая, шел, шел, шел я. Ночь застыла, она отказалась двигаться, она забыла про нас, и до рассвета было еще сто лет. И никого, никого, кроме нас, на дороге.

Идем, опять идем, опять идем, идем, ковыляем, идем, спотыкаемся. И вдруг, спустившись в маленькую ложбинку, мы увидели бредущую нам навстречу лошадь.

— Ну вот, — сказал Байсеитов облегченно, — вот и все! Сейчас мы верхом поедем!

Он стал подходить к лошади, протянув перед собой руку ладонью кверху. Лошадь доверчиво шла к нему навстречу. Она подошла к нам и стала тыкаться нежным храпом в руку Байсеитова.

— Хлеба хочет, — сказал Байсеитов.

Я сказал:

— Нету хлеба.

Байсеитов прислонился к лошади, и она пошатнулась. Он повернулся к ней лицом и взял ее за холку левой рукой. Он попытался вскочить на нее, на костистую жалкую ее спину. Он бормотал:

— Счас... Счас... я сяду. Потом тебя втащу. Прр, тпру...

Но сесть ему не удавалось: он слишком устал, ослаб и отошал, и слишком тяжелые были на нем сапоги, он только тщился бесполезно и карябал бока лошади сапо-

гами. Лошадь терпела все это. Но Байсеитов не мог на нее взобраться. Тогда он взял ее за ноздри и повлек за собой, он брел так, покуда не увидел того, что искал. Это был пенек. Байсеитов поставил лошадь у пенька и взошел на него. Лошадь стояла тихо, она понимала наше положение и хотела нам помочь. Я это видел. Байсеитов подпрыгнул и лег животом на острый хребет. Он повисел так, отдуваясь, и наконец перекинул правую ногу. Он уже сидел, когда лошадь вдруг подогнула передние ноги и рухнула на колени. Байсеитов сполз к шее и слез на землю.

Я сказал:

— Она умирает.

Байсеитов закрыл лицо руками. Лошадь легла на бок и пошевелила ногами. Она хотела нам помочь, я это знал. Но у нее не вышло. Она была стара, и она умирала. Байсеитов пошел по дороге. Лошадь тихонько ржнула ему вслед. Байсеитов не оборачивался. Я пошел за ним.

21

Утром мы увидели Наро-Фоминск. Первый же косматый старичок, встретивший нас у самого выхода дороги на окраину города, увидев нас, замер от испуга, и когда мы попросили у него воды, вынес нам целое ведро. Он долго глядел на нас и наконец сказал хрипло и натужливо:

— Вы откуда вышли-то, ребята?

— Из Щеткина, — сказал Байсеитов.

— Вона, — сказал дед. — Как же вы из Щеткина?

Из Щеткина много народу пришло еще ночью.

Мы переглянулись с Байсеитовым.

Я сказал:

— Где же они выходили?

— Да вона, — дед показал рукой, — у вокзала — во-она!

— А мы отсюда выходили, вот здесь, за вашим домом, — сказал я.

— Вот что, — дед показал два зуба на голых деснах, — это, милые, старая дорога, по ней никто не ходит, это вы крюку дали верстов двадцать, а то и двадцать пять!

И он засмеялся добродушно так, сердечно.

И мы пошли с Байсеитовым через весь город и увидели, правда, другую дорогу, по которой шло множество всякого народа, двигались машины и крестьяне на телегах, и скотина, и весь этот живой поток вливался в широкую улицу, ведущую к вокзалу. Мы шли вдвоем, опираясь на суковатые палки, — на рассвете Байсеитов оснастил нас этими чудовищными полупосохами-полукостылями. Мы шли и чувствовали на себе внимательные взгляды встречных, идти было невыносимо трудно и больно, и хотя я знал, что скоро конец этому моему походу, но я все равно каждую минуту думал, что умру. Нас догнала телега, рядом с ней шла высокая костистая старуха в мужском пальто и шляпе поверх платка.

— Садись, — сказала старуха зычно. — Подвезу.

Мы еле вползли на телегу, и старуха подсаживала нас.

Она была громогласная и разговорчивая. Мы неудобно пристроились с самого края. Телега была завалена маленькими полосатыми, как арбузы, мандолинами и крутобедрыми гитарами. Наверху лежала гигантская балалайка. Весь этот странный товар позванивал и потренькивал от тесноты, и когда Байсеитов неловко шевельнулся, жалобно зазвенела какая-то басовая струна.

— Полегче, полегче, — сказала старуха трубным своим голосом. — Смотри не раздави мне музыку — она государственная. Оркестр народных инструментов колхоза «Восход»...

Она шевельнула вожжами, и мы заскрипели по улице. Старуха шагала рядом с нами. У нее были удивительно крупные шаги.

— Спасая музыку от фрица, — сказала старуха. — Ему на ней не играть... Одна я в клубу-то—все на войну ушли. И заведующий, значит, и библиотекарь, все побегли душить проклятого. Ну а я гляжу, этак он ненароком до нас дорвется, шалавый черт, — запрягла да всю музыку-то и навалила валом. Пережду где-нибудь, пока его отобьют, а потом в обрат. Не играть ему в нашу музыку, лешему, нет! Так, что ли, ребята?

— Вы правильно делаете, бабушка, — сказал я.

Старуха удовлетворенно хмыкнула. Лошадь двигалась медленно, улица была запружена народом, забита

транспортом, глаза мои слипались, но я не спал, не мог спать, наверное, от голода. Я смотрел на дорогу, на людей, которых обгонял, и видел, как в толпе мелькнули Киселев, и, кажется, Ванька Фролов, и еще кто-то, не Хомяков ли. Не узнал, не успел догнать взглядом, а окликнуть просто не было сил. Только я видел многих наших и видел, что они были такие же слабые, как мы, если не слабее.

Байсеитов тоже не спал, он растирал свои набитые ноги, налитые кровью пятипудовые ноги.

Старуха остановила лошадь.

— Стой, тпрр, — сказала она. — Вам куда?

— На вокзал, — сказал я.

— Слезайте тогда — вот он, вокзал!

Перед нами была маленькая площадь. В центре стояло здание вокзала. Мы слезли с телеги. Не успел я встать на ноги, как меня резанула по пояснице резкая боль. Байсеитов вскрикнул тоже.

— Ослабли мы, — сказал он и смущенно улыбнулся.

Старуха все не отъезжала. Я спохватился.

— Спасибо, — сказал я.

Байсеитов тоже сказал:

— Большое спасибо!

Старуха взмахнула кнутом, свистнула и, пробежав за телегой несколько шагов, вскочила по-мужицки на бочок. Телега скрылась. Перед нами был вокзал. За невысоким его палисадничком был виден небольшой ладный паровоз, он пыхтел, выпуская плотные клубы дыма. Зеленые вагончики пристроились к нему длинной очередью. Было до них — рукой подать. Но Байсеитов не двигался. Он показывал пальцем за угол.

— Смотри, — сказал Байсеитов странным прерывающимся голосом. — Скорее смотри!

Я глянул туда, куда указывал Байсеитов, и чуть не закричал. Это была Армия! Да, это шла наша Армия! Был слышен ее мерный, твердый, уверенный шаг. Может быть, это была одна только рота, но мне показалось, что я вижу необозримую массу солдат, полки, дивизии, корпуса. И главное чудо было в том, что они шли нам навстречу. Они шли туда, откуда мы ушли. Они спешили, они торопились, они двигались на ускоренном марше, они бежали вперед на выручку, на помощь к своим, на бой кровавый, святой и правый.

Они шли, придерживая автоматы на груди, шагали упругими, здоровыми, молодыми ногами. Здесь не было плохо накрученных портянок, здесь все было пригнуто удобно, точно, наилучшим образом, и земля хрустела под сапогами, как кочерыжка на молодых зубах, и для меня не было ничего слаще этого звука, любимого еще с детских лет, звука, с которым была неразрывно связана в моей душе память об отце, звука похода, неотвратимой поступи приближающейся Победы, идущей с развевающимися алыми знаменами впереди. Да, наверно, все было не так красиво на самом деле, и солдат было мало, и много грязи налипло на их сапоги, но все равно наша Победа шла сейчас нам навстречу, это наша Победа собирала свои войска в подмосковных лесах, и это было наше светлое будущее, и мне сжало горло...

Солдаты проходили мимо нас. Лица их были чисты и строги. Мне хотелось побежать с ними рядом и показать им дорогу на Щеткино, и сказать на ходу каждому из них, чтобы они шли скорее, и дрались беспощадно, и спасли бы мою Дуню, перед которой я виноват без вины, и спасли бы всех наших, которые ждут их сейчас, призывают и кличут. Солдаты шли мимо нас, и я не успел побежать за ними, потому что вдруг понял, что не нужно мне делать этого, солдаты все знают сами. Они сделают свое дело во что бы то ни стало, у них такое же сердце, как мое, и бедное сельцо Щеткино для них Родина, и Дуня для них тоже Сестра и Любовь.

Байсеитов негромко крикнул:

— Бей фрица, ребята, бей!

И в колонне блеснули ответные горячие взгляды, и замыкающий солдат, проходя мимо, метнул на нас быстрые огневые свои глаза и негромко и страстно сказал:

— Будь спок!

Он улыбнулся и прошел вперед. И мы долго смотрели им вслед, и Байсеитов сказал по-восточному напевно:

— Сердце мое идет с ними рядом...

Мы двинулись. Паровоз все дымил.

На вагонных окнах белели чистенькие занавески. Это было странно. Просто невероятно.

— Чудно, — сказал Байсеитов, словно не понимая и не веря, что после прожитой ночи в мире могут существовать такие белые занавески...

— Скорее, — прокричал на ходу какой-то парень, — скорее, поезд отходит!

Мы заторопились, вдруг смертельно испугавшись, что опоздаем.

На площадке последнего вагона стояли две рослые девушки в шинелях, краснощекие грудастые девушки с наведенными бровями. Они протягивали нам руки, и мы, стыдясь, протягивали им свои, и девушки втащили нас в вагон. Когда поднимали Байсеитова, его ноги стучали о ступеньки как деревянные.

— Этот полегше будет, — сказали девушки про меня, и когда втащили, одна шлепнула меня пониже спины. — Давай, хромой веселее!

Я вошел в вагон. Он был набит до отказа. На чистых сверкающих скамейках и на чистом сверкающем полу, под чистыми сверкающими занавесками сидел измазанный, наш, усталый, измученный и голодный народ. Странно было знать, что это те же самые люди, которые так недавно ехали сюда такие чистые, сытые и здоровые. Но это были они, те же самые, и вид у них был отработанный, они смахивали на отходы, на второй сорт, потому что горе и обида иссушили их за одни сутки. Но я-то хорошо знал, что этот народ не сдался, нет, не сдался! Просто мы все ехали перезаряжаться.

Байсеитов нашел мне место в дальнем углу вагона, рядом с собой, и я опустился на пол. Было тепло и, несмотря на большое количество людей, очень тихо. Народу все прибывало. Потом больше уже никто не входил: видно, грудастые проводницы никого не пускали, люди шли вперед, к голове состава, я слышал голоса за окнами. Вдруг дверь открылась, и к нам в вагон вошел слепой старик. Лысая его голова была обнажена, водянистые серые глаза смотрели строго. Старик все время что-то неслышно шептал, губы его непрерывно шевелились. Впереди него пробиралась крохотная девочка-поводырь. Она была в ладненьком, перевязанном веревочкой зипунчике, головка повязана платочком. В больших, наморщенных, синеватых своих руках старик держал каравай хлеба. Он прижимал его к груди. Войдя в вагон, старик остановился и строго сказал что-то шедшей за ним проводнице. Она скрылась и быстро вернулась, протянув старику длинный и острый нож. Тонким и осторожным движением старик отрезал от буханки не-

большую горбушечку. Он отдал ее девочке, и та подошла к первому из нас и протянула хлеб. Человек взял, а девочка тотчас вернулась к старику. Он уже ждал ее с новым небольшим ломотком черного хлеба. Девочка взяла ломоток и отдала следующему. Так шли они по вагону, старик и девочка, и оделяли голодных людей, и мы принимали этот хлеб с благодарностью, и проводницы стояли и плакали.

Совершенно не помню, сколько я спал и сколько мы ехали, какие места проезжали, ничего не помню. Вскочил я, когда поезд стоял у перрона Киевского вокзала и половина наших людей уже покинула вагон. Надо мной стоял Байсеитов, он трогал сапогом мои ноги.

— Вставай, — говорил Байсеитов, — вставай же. Москва!

Не передать того, что я почувствовал, когда услышал это слово. Не стоит об этом. Я жадно, до иступления жадно вбирал глазами Киевский вокзал, его грязный, немый стеклянный купол, нехитрые киоски вокруг и большой разлет площади. Мы стояли на ступеньках вокзального здания, на площади было пусто, знакомые с детства камни лежали передо мной. Да, это была Москва, в этом было все дело, и сердце билось тяжело и сильно, как язык многопудового колокола.

Слева, с Бородинского моста, четыре девочки вели азростат. Четыре ладные девочки с узенькими талийками вели под уздцы допотопное чудище. Девочки знали, как с ним обращаться, и чудище безропотно подчинялось им. Байсеитов не смотрел на девочек.

— Мне на Можайку, — сказал Байсеитов и переступил с ноги на ногу, — прощаться надо.

— Напиши адрес, — сказал я.

Мы пошли к перронной кассе, попросили карандаш и кусочек бумажки и обменялись адресами.

Я сказал:

— Я написал тебе адрес, Байсеитов, не просто так. Байсеитов, слышишь, приходи ко мне. Мой ключ лежит всегда в почтовом ящике, и если меня не будет дома, ты входи и обожди. Я тоже к тебе приду.

Мы протянули друг другу руки, и Байсеитов раскрыл глаза. Я увидел глаза Байсеитова. Оказывается, это

были прекрасные глаза, не маленькие, не узкие, нет. Это были огромные человеческие глаза, наполненные нежностью и грустью. Я долго смотрел в эти глаза. Мы обнялись. Он спустился по ступеням и быстро пошел, не оглядываясь. Он шел, а я смотрел ему вслед. Без него тоже никогда не будет совсем хорошо.

И я пошел домой. Быстро идти я не мог, да и не хотел. Коряга-костыль был теперь моим спутником. Он постукивал слева, и ноги саднили, но сердце оживало, дело было в Москве, идти было легко.

Над городом висел странный и неприятный запах гари, черный дым вываливался из многих труб, людей было мало, изредка проносились машины, груженные узлами и разной рухлядью. На узлах сидели насупленные люди. Окна магазинов были завалены мешками. Мрачно было и строго. Москва была сжатая, подобранная, и мне показалось, что я вижу ее лицо, подлинное лицо, без гари и машин с узлами. Многие в ней изменилось за время моего отсутствия, в самом воздухе изменилось, и я чувствовал, что это неспроста, что еще серьезнее дело стало. Москва напоминала мне сейчас бойца, что стоит вот так же сумрачно и тихо, широко расставив ноги, и глядит исподлобья, прежде чем одним разом, одним ударом смыть с себя позорное оскорбление, скверное надругательство врага, которому если не отомстить, то и жить уж нельзя на свете. Я вспомнил строки и сказал вслух:

Изловчился он,
Приготовился...
И ударил!!!
Своего ненавистника!
Прямо в левый висок!
Со всего!!!
Плеча!!!

Это было у Смоленского. А на Арбате мимо меня проскакал конный. Лошадь стлалась по центральной улице Москвы, всадник свистел плетью и жег коня, он гнал его как безумный, стоя в стремях и качая поводьями, чтобы еще ускорить этот дикий бег. Бледные искры взлетали из-под конских копыт. Да, наверняка дело серьезное.

В нашем дворе никого не было, никто не видел, что я пришел домой, бородатый, с костылем, и я долго стоял у

своего почтового ящика не в силах побороть волнение. Потом я наконец решился и пошарил в нем рукой. Он был пуст, в нем не было ни одного письма, и ключа от моей комнаты тоже не было. Я нашарил в полутьме свою дверь и толкнул ее. Она была открыта.

Вот он, гвоздик на стене, где висел плащ девочки Лины.

Я шагнул в комнату. За столом, на стульях и на кровати сидели женщины. Много женщин. Старые и молодые, разные. Они повернули ко мне головы. Все молчали. Первой заговорила стриженная курчавая женщина, стоявшая у стены. Она сказала требовательно и сухо:

— Вам кого, товарищ?

— Никого.

— Не понимаю вас, — сказала она и прищурилась.

— Я пришел домой, — сказал я. — Я здесь живу.

Женщина еще не понимала.

— Черт знает что! — воскликнула она. — Райсовет предоставил нам это помещение для занятий медсестер.

— И прекрасно, — сказал я, — молодец райсовет.

— Но нас уверили, что помещение совершенно свободно!

— Я не помешаю вам, — сказал я. — Занимайтесь, сестрички, меня действительно не было, но я пришел. Я из ополчения, — добавил я. — Я спать хочу. Занимайтесь, сестрички.

Те из них, кто сидел на кровати, вскочили. Я прошел к кровати и снял сапоги. В комнате сразу запахло портянками. Я лег в чем был и повернулся к стене.

— Занимайтесь, — сказал я. — Занимайтесь, сестрички.

Было совсем темно. Я вскочил и начал лихорадочно одеваться, мне показалось, что это побудка и нужно растолкать Лешку, но рядом никого не было, рука моя ткнулась в подушку, соломы не было, воздух был чист, не слышно было храпа. Я вспомнил, что дома. Медленно, ощупью пробрался и проверил затемнение. Оно было в полном порядке, можно зажигать свет. Я щелкнул выключателем. В комнате все было чисто прибрано, все было как всегда, только на стенах не было Валиных фо-

тографий — на стенах висели прибитые большими гвоздями плакаты, объясняющие, как лучше переносить раненых, как накладывать повязки, делать уколы и так далее. На столе лежало несколько кусков хлеба, куски эти имели разные оттенки и даже разные цвета, еще там лежал небольшой кусок колбасы, конфетка «прозрачная» и кусок сахара. Я вспомнил женщин с курсов медсестер и понял, что это они оставили мне поесть, позаботились обо мне и собрали между собой кто что может. Я налил в огромную кастрюлю воды и поставил ее на керосинку. Пока вода грелась, я нашел чистую рубашку, трусы, носки и снял с полки красивый плотный кусок мыла. Потом я подождал у керосинки и водил пальцем в воде, пока она не согрелась.

Я налил немного воды в таз и вымыл голову. Потом, в новой воде, я мыл ноги. Там, где у меня были язвы, теперь была новая розовая кожа.

Потом я разделся весь донага и развел оставшуюся воду холодной и кое-как вымыл тело. Живот у меня так ввалился, что я удивился даже. А грязи на мне было столько, что когда вода стекала в корыто, я смотрел на нее и только приговаривал сто раз подряд:

— Ну-ну! Ну и ну!

Я вымылся начерно, чтобы потом не стыдно было идти в баню, убрался, подтер пол и надел чистое белье.

Потом я встал у стола и поел оставленного мне медицинскими сестрами разнокалиберного и разноцветного хлеба: черного, серого и коричневого. Я съел сахар, конфету, маленький кусок колбасы и запил все это холодной водой. Потом потушил свет и, отодвинув штору из черной бумаги, глянул в окно. На дворе было светло. Значит, был день, и я проспал часов шестнадцать. Нужно было идти...

Войдя в театр, я почувствовал странную атмосферу безлюдья. Никто не встретил меня в служебном проходе, и я, опираясь на байсеитовский костыль, прошел через внутренний коридор, не встретив ни одного человека. В коридоре, загораживая проход, стоял ящик. На нем было написано: «Аппаратура». Он был перевязан толстыми веревками. Протиснувшись боком, я прошел даль-

ше и увидел сквозь неплотно закрытую дверь следующей комнаты Зубкина. Он был похож на лягушку больше, чем когда-либо. Воровато озираясь, он вытащил какую-то папку и разорвал ее в клочки. Я смотрел на него. Я не понимал, что он делает, но во всей его повадке в эту минуту было что-то такое мерзкое, подлое и даже предательское, что у меня просто почки заболели от отвращения, и я ушел.

Пройдя налево, я услышал голоса в буфете.

«Вот и еда», — подумал я и толкнул дверь.

Валя шла через комнату на подламывающихся каблучках. Она шла, обходя голые мраморные столики, прямо к стойке. Там стоял человек. Он был в узких брюках, мне показалось, что это лосины. Валя шла, протягивая к нему руки. Он подал ей стакан. Валя взяла его и пошла за свой столик. Она меня не видела. Я шагнул к ней навстречу.

Я сказал:

— Почему ты не ответила на письмо?

Она взглянула на меня и выронила стакан. Он упал на каменный пол, и кисель разлился розовой лужицей.

А Валя смотрела на меня, и вдруг я увидел, что ее глаза до краев переполнены злостью. Она сказала негромко и внятно:

— Как вы изменились. Вы что, с того света, что ли? Я получила вашу записку, она патетична. Меня тошнит от патетики!

Она подошла ко мне близко, и никто не мог слышать ее слов. Я ожидал чего угодно, но она всегда была полна неожиданностей. И тут она сказала мне, глядя в глаза, очень откровенно:

— Письмо — это документ, братец... — И пошла мимо.

Значит, так: я получу твое письмо и потом буду показывать его каждому встречному и поперечному и буду похвальнось?

Сука.

Я спустился вниз, в кладовую. Кладовщик сидел и барабанил пальцами по столу. Увидев меня, он спросил:

— Вернулся?

Я сказал:

— Да. Примите.

Я снял с себя ватник и, привалившись к стене, стянул сапоги. Старик долго и сокрушенно осматривал прожженный истершийся ватник. Он поворачивал его и так и этак, поближе к свету, и все поглядывал неодобрительно на меня, качал головой и цокал. Сапоги мои окончательно расстроили его, и он сердито бросил мне мои ботинки. Я снял портянки и переобулся. Стало удивительно легко ногам. Просто казалось, что я босиком. Я поднялся наверх и вышел из театра.

Мне надо было попасть на Тверской бульвар, в райком. Я знал, что делать. Пусть попробуют мне отказать! Я не от себя прошу. Так мы сговорились с Лешкой Фомичевым. Он упал на траву, там, на этой проклятой дороге, он упал на траву и закрыл свои карие очи. Меня надо взять, это за меня просит моя единственная, моя ненаглядная Дуня, она ждет, что я приду и возьму ее в жены. Сережа Любомиров просит за меня и те, кто остался позапрошлой ночью на той стороне, у нашего штаба, когда фриц перелетел и отрезал им путь к жизни. Они посылают меня к вам, товарищ Райком. Я остался цел, но это чудо, и значит только то, что я должен доделать работу. Эту страшную работу войны. Я буду делать ее всегда, пока цел. А если я цел не останусь, то останется другой.

Вот так я и скажу в райкоме, пусть попробуют меня не послать, я черт знает до кого дойду — не имеют права меня браковать!

25

Я еле протолкался через толпы людей. Повсюду стояли столы, кого-то записывали, выкликали, проверяли. Здесь были студенты, рабочие, служащие и даже школьники. Здесь никто не собирался зажимать меня. Просто мне сказали, что я пришел не туда, и сочувственно и благожелательно посоветовали:

— Иди в МК. Раз ты в партизаны, иди туда. Колпачный переулочек.

— Возьмут? — грубо спросил я, нервы мои были напряжены.

— Иди сходи. — уклончиво сказал вихрастый инструктор.

Хотелось мне тогда иметь крылья, но пришлось все-таки идти пешком. Но я не такие куски хаживал, я отдохнул, я надеялся и поэтому дошел быстро и споро.

В коридоре толкался народ. Я увидел женщину в черном платке, крест-накрест, туго-натуго облежавшем грудь. Она была похожа на ту, которая звала с плаката «Родина-мать зовет!».

— Двух сынов убили и мужа, — сказал кто-то тихо.

Я с любовью смотрел на ее прекрасное лицо. К человеку, от которого все зависело, была очередь, входили по двое-трое. Я долго ждал. Когда меня вызвали, я вошел в просторную, плохо прибранную комнату, в ней тяжело пахло холодным табачным дымом, и за столом сидел человек с густо заросшим зеленой бородой лицом. Он сидел на табуретке, она скрипела под ним, под его вертким телом. Он был в кожанке. Перед этим человеком стояла девочка в синем пальто. Из-под пальто торчала коричневая юбка, а из-под юбки красные лыжные штаны. Из-под огромной шапки-ушанки свисали две косички. Я видел ее худенькое личико, освещенное серыми глазами, огромными и чистыми. Девочка стояла перед человеком в кожанке и что-то говорила. В голосе ее была мольба. С решимостью и надеждой смотрела она на привыкшего к запаху холодного табачного дыма человека. Он же смотрел на нее из-за барьера своих бессонных ночей и моргал красными, воспаленными веками. Он все наклонялся вперед, табуретка скрипела, видимо, человек хотел лучше разглядеть девочку. Выслушав ее, он болезненно поморщился и спросил:

— И что же ты собираешься делать в наших партизанских отрядах?

Девочка взмахнула худенькой рукой и шагнула к столу.

— Взрывать, — сказала она.

Человек в кожанке взглянул на нее, и вдруг что-то осветило его заросшее зеленой щетиной лицо. В глазах появились нежность и боль. Но он тотчас сдержался, погасил свой свет изнутри и сказал, отвернувшись:

— Иди, девочка, домой...

Она отошла от него и, прислонившись к грязной стене, заплакала. Он скрипнул табуреткой и сказал:

— Следующий.

Я подошел к нему, стараясь не хромать, он поговорил со мной и сказал, что ладно, я вполне подойду и что завтра меня, возможно, отправят к месту назначения, чтоб я не уходил.

— А пока, — сказал он мне, черкнув что-то на бумажке, — а пока, Королев, можешь спуститься вниз, в подвал, найдешь там товарища Андреева, предъявишь ему эту записку, и он тебе выдаст сапоги и ватник...

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО

1

Это был, пожалуй, самый лучший парик из всех, в которых мне приходилось работать. Он был удивительного алого цвета, волосы на нем лежали, как живые, врассыпную, и, кроме этого, он был снабжен всей возможной техникой: в его монтюр были вшиты и резиновые грубочки — слезопроводы, и крылья его поднимались оба вместе и каждое в отдельности, и, главное, он был по мне, он был мой любимый. Сделал его несколько лет тому назад сам Николай Кузьмич, непревзойденный мастер всяких наших цирковых парикмахерских ухищрений. Я редко надевал этот парик, все берег, экономил, а сейчас вот вынул его из туго набитого чемодана и надел. И как только надел, так снова убедился в необычайной его добротности и в удивительном свойстве: лицо мое под этим париком мгновенно изменилось до неузнаваемости, стало именно таким, каким бы я хотел его видеть перед выходом, и от этого мне сразу стало весело и захотелось работать. Я взял на палец немного второго тона, растер его чуть-чуть и аккуратно замазал все лицо, законопатил все его чудовищные рытвины и морщины, особенно возле носа и у глаз, затем я хорошенько зашпаклевал все свои синие веснушки и плотно загрунтовал шов, чтобы совершенно не видно было того места, где гладкий лобик парика соединяется с моим довольно морщинистым лбом. Потом я растушевал краску от скул и подбородка к шее, свел ее на нет и прибавил как следует красного у висков. Нос я сегодня сделал себе из гуммоза, он хорошо взялся и торчал такой добродушной картошечкой, я и его подкрасил, да и губы тоже, никак, впрочем, их не деформируя, не умень-

шая и тем более не увеличивая, — рот у меня, слава богу, от природы не маленький. Настоящий клоунский рот, во всяком случае его отовсюду видно, в этом я не сомневаюсь. Светло-кофейный пиджак и брюки с мотней, оранжевый бант, полуметровые ботинки и зеленая кепка. Собственно говоря, я готов, можно уже идти. Но еще рановато, и можно посидеть перед зеркалом несколько минут. Хорошо было сидеть в старом цирке, в маленькой старой гардеробной, в которой когда-то, может быть, сживал мой отец, сидеть в полном клоунском облачении перед зеркалом и слушать знакомые звуки цирка, и прежде всего далекую музыку, и стараться угадать по музыке, какой там номер работает сейчас на манеже, и как он — нравится публике или нет, «проходит» артист в программе или так, еле ползет и получает в награду лишь вежливые аплодисменты. Минуты бежали, я сидел у зеркала и, сказать по правде, немного волновался. Теперь нужно было идти. Я улыбнулся в зеркало и скорчил знаменитую гримасу... Все в порядке.

— Ура-ри-пу! Вот он я!..

Я вышел из гардеробной. В коридоре было пусто, звуки оркестра стали явственней, и я подумал, что где-то уже слышал эту музыку и что она мне не нравится. Я так шел, и думал, и старался вспомнить, и наконец вспомнил Ташкент и лысого молодого человечка, Лыбарзина, — лысого, уже толстеющего жонглера. Мы работали в одной программе, он скользкий был, этот тип, и большой ходок по бабам, он пудрился, и от него всегда несло дешевым одеколоном. И когда мы в первый раз увиделись, познакомились, я помню, он коснулся моей руки своими холодными скользкими руками. Потом он куда-то неожиданно уехал и в спешке забыл со мной проститься, и сейчас мы снова с ним встретились в программе, и он, наверно, сконфузится, когда увидит меня. Чепуха какая. А все-таки артистом этот Лыбарзин никогда не станет. Нет, нет. На мой взгляд, не станет. Начнем с того, что его фамилия вот уже несколько лет встречается на афишах разных цирков, а кидает он все равно не больше пяти предметов и то, как правило, «сыплет» — нет отработанности, нет блеска в номере, того самого блеска, который достигается непрерывной, жестокой и требовательной тренировкой. У него все случайно, напряженно, никогда нельзя быть вполне уверен-

ным, что номер пройдет гладко. Правда, он прыгает немножко и после каждого трюка крутит колесо, как на первом курсе, или еще что-нибудь в этом же бесхитростном роде, а то под финал скрутит даже задний сальтомортале, и все это с прикриком, с продажей, с вольтажом-куражом и черт его знает еще с чем, и в результате все-таки удается подэлектризовать публику, и ему хлопают, и девочки десятых классов пищат: «Лыбарзин», — и этот дурак улыбается им улыбкой уличной девки. Не артист, нет.

Я спускался вниз, никого не встретив по пути, лишь в самом низу из-за занавески навстречу мне вырвался молодой испуганный униформист. Я никогда в жизни не видел его. Узнав меня, он остановился как вкопанный.

— А, дядя Коля, — сказал он и вздохнул. — Это вы... уже идете?

Он, видно, недавно в цирке. Поэтому и подумал, что я могу опоздать на выход. Я сказал:

— Да, это я. Ступай в манеж. И не пыхти так.

Он хихикнул и побежал обратно. Сзади хорошо было видно, какие у него смешные торчащие уши с резко срезанным углом внизу.

У репертуарной доски никого не было. Я посмотрел программу. В третьем отделении было написано: «Слоны», и я понял, что Ванюшка Русаков здесь, это было очень хорошо, номер международного класса, работу Русаков показывал такую, какую нигде больше нельзя было увидеть, и этого одного было бы достаточно для полных сборов в любой столице мира. Второе отделение, видимо, было еще не полностью сформировано, в программе белые пропуски, но все-таки было ясно, что номера будут отличные, по первому классу, разнообразные по жанрам, и хотя там были и случайности вроде Лыбарзина, но, в общем, все строилось неплохо и, может быть, даже с расчетом на экстра-класс. Уже одно то, что я заканчивал первое отделение, говорило о многом, ведь мое законное место в нормальных программах всегда было в конце второго отделения, здесь обычно нашей режиссурой устанавливался этаким смеховой пик программы, потому что я давал два-три сцепленных антре одно за другим, низал их в целое ожерелье, смеха получалось, в общем, довольно много, и можно было на этом успокоиться. Но здесь, видно, был другой замысел, здесь

все было немножко передвинуто, и раз уж меня поставили в первое отделение, значит, у них в кармане есть нечто более интересное, значит, готовится что-то грандиозное, какой-то ошеломляющий сюрприз. Программа еще только собирается, и артисты съезжаются сюда со всех концов Союза, официальная премьера состоится через несколько дней, а сегодня первая черновая репетиция, прогон программы и просмотр уже прибывших номеров. А по-настоящему лепить, выстраивать программу начнут не раньше чем послезавтра, когда съедутся все гастролеры.

Я прикидывал в уме самые различные варианты. Из комнаты инспектора вышел Борис. Мы с ним старые товарищи. Он знал меня еще молодым, розовым мальчишкой. Мы с ним старые товарищи, но я его молодым не знал. Он всегда был высоким, плотным, одет в отличную черную пару, тщательно причесан на пробор. Увидев меня, Борис ускорил шаги. Он подошел ко мне. Мы пожали друг другу руки.

— Ты приехал, Николай? — сказал Борис, как всегда чуточку в нос. — Ты приехал?

— Вот он я.

Он положил мне руку на плечо. Значит, рад был свидеться. Он дружил еще с моим отцом. Однажды, когда мать спала, я снял с ее руки кольцо и проглотил его. Оно встало у меня поперек горла. Отец схватил меня на руки и побежал. Я задыхался и синел. Отец бежал по цирку как слепой. Он тыкался во все двери и не мог найти выхода. Его увидел Борис. Он отнял меня у отца, этот решительный человек, и мизинцем вытащил застрявшее в горле кольцо. Теперь он стоял, положив руку мне на плечо, и радовался, что мы свиделись. Я радовался, наверно, еще больше. Я знал, что мы хотим поцеловаться. Мы оба знали это, и с нас было достаточно.

— Что-нибудь нужно? — спросил Борис.

— Нет, — сказал я, — ничего не нужно. Я выйду, а ты стой сбоку — сыграем мою любимую Классику.

— Вильгельм Телль? — спросил Борис.

— Да, Вильгельм Телль, — сказал я.

Я люблю это старое, классическое, наивное и уморительное антре. Я видел многих исполнителей этой бесподобной сценки, но я никого их не сравню с отцом, сам

я только подражаю ему, и теперь выбором этой сценки для сегодняшнего вечера я хотел сделать приятное Борису. Он это понял, я видел, как благодарно сбежались морщинки к углам его глаз. В это время к нам подошел Жек. Тоже старый друг, профессор всех возможных и невозможных цирковых искусств, в униформе нет никого старше его, опытней и умелей. Да он, собственно, и не униформист, он гораздо выше любого инженера, он прекрасно разбирается во всех цирковых аппаратах, сам может сконструировать удивительные вещи, отремонтировать все на свете — от медвежьего намордника до какого-нибудь капризничающего подшипника в «воздушной ракете». Он — главный помощник Бориса, его верная опора, и я люблю его юмор, его седые волосы, шрам на лбу и коричневый румянец.

— Кого мы видим! — сказал Жек. — Мы видим короля клоунады! И мы видим его уже готовым. Запишите, он уже в костюме! Ну, здорово! Как она, жизнь?

— Как в сказке, — сказал я. — Чем дальше, тем интересней.

— Ага, живой! — сказал Жек. — Раз шутит, значит, живой. А про тебя здесь говорили, что ты подорвался!

— Это верно, — сказал я. — Что верно, то верно — подорвался.

Борис придвинулся ко мне близко и стал рассматривать мое лицо. Он осмотрел меня сверху вниз, потом снизу вверх. Это было похоже на обнюхивание.

— Ничего не вижу, — сказал Борис, — а сказали — подорвался, все лицо изуродовал. Где же следы? Ничего не видать...

— Есть следы, — сказал я. — Я теперь весь в синюю крапочку. Очень интересный.

— Хорошо, что глаза не выжгло, — сказал Жек. — Но небось исчезла вся ваша неземная красота? Бедные девочки, погиб ихний красавчик.

— Не беспокойся за моих девочек, я еще лучше стал, тебе говорят. Теперь девочки со стульев падают, как только я выхожу на манеж.

— Ах вот оно что! — сказал Жек. — Там у центрального входа целых три штуки валяются, это, случаем, не через вас? Не ваши это жертвы?

— Ну да, мои, — сказал я. — Неужели вы не знали? Одичали вы тут как-то.

— Слушай, — сказал Борис, — сколько можно разыгрывать? Расскажи-ка, что будешь делать? Я тебе нужен?..

— Да ведь я говорил. Вильгельм Телль.

— Ну да. А на выход?..

— На выход «собачку».

— «Собачку»?

Было видно, что ему по душе мое пристрастие к старым «классическим» репризам. Но что-то его тревожило.

— Да, — сказал я, — «собачку». А что? Ты имеешь что-нибудь против?

— Да нет, — сказал он нерешительно. — Я ничего не имею против. Но ведь ее давно не делают. Вышла из моды. Забытые страницы.

— Ну да, беззубое зубоскальство...

— Безыдейщина, — вздохнул Жек. — Куда там!

— Тогда сделаем так, — сказал я. — «Добрый вечер! — скажу я. — Здравсте! Я клоун! Разрешите мне приветствовать вас от имени всего нашего дружного спаянного коллектива.

Вот бежит речушка,
А за нею лес!
А над ним сияют
Огни только что открытой,
но довольно-таки мощной ГЭС».

— Во-во! — сказал Жек. — Очень хорошо. Все будут хохотать как сумасшедшие. Они попадают прямо со стульев. Пойду соломки постелю.

— Понимаешь, я какой-то странный, — сказал я, — чокнутый, наверно. Мне хочется, чтобы они действительно смеялись. Наяву. Раз я клоун и раз я к ним вышел, они должны смеяться. Понимаешь, я чокнутый, и мне так кажется. Иначе я никуда не гожусь. И не беспокойся, они будут смеяться вполне идейно. Я это умею. Я живу как раз для этого, уважаемые члены дорпрофсожа!

— Разошелся, — сказал Жек, — кипятится...

Я сказал:

— Если они не смеются, если они не будут смеяться, когда я выхожу в манеж, можете послать меня ко всем собачьим свиньям. Меня вместе с моим париком, штанами и репертуарным отделом Главного управления цирков.

— Тише, — сказал Жек, — говори шепотом. Начальство услышит — голову оторвет.

— Плевал я на твое начальство.

— Замолкни, Жек, — сказал Борис, — не зли его. Ведь он же перед выходом. Ему сейчас работать... — И он повернулся ко мне.

А я не злился. Сказал, что думаю, вот и все.

— Ты где остановился? — спросил Борис.

— Еще нигде. Прямо с вокзала в цирк. Прошел наверх, заглянул в малый коридор, а на дверях моя афиша. Ты устроил?

— Ну, я, — сказал Борис.

— Спасибо, — сказал я, — это здорово, когда есть собственная гардеробная. Маленькая, но своя. Это дом.

Да, да. Мы бездомные бродяги, и для нас своя отдельная гардеробная — это дом и мир. Не люблю гримироваться в длинной общей комнате на восемнадцать человек, в комнате, где шумно, как на стадионе, и где твоя соседка справа, юная акробатка, — обязательно кормящая мать, а сосед слева занят тем, что целый день лечит собачку-математика от нервного расстройства.

— Спасибо, — сказал я еще раз.

— Вы заслужили, родные. — Жек все шутил.

Борис прислушался и скрылся за занавеской. Через секунду он вернулся к нам.

— Лыбарзин кончает, — сказал он, — сейчас выпущу следующую. Ты, Коля, постой здесь. Идем, Жек, слышишь?

Мимо нас пролетела какая-то барышня. Она была в белом, осыпанном бриллиантами трико. Накрахмаленная юбочка торчала всеми тремя слоями. Она остановилась у занавески. Я видел ее впервые в жизни. И сказал:

— А вот и каучук.

Она улыбнулась мне, ямочки украшали ее забавную мордочку.

— Здравсте, дядя Коля, — сказала она и грациозно присела. — С приездом!

— Здравсте! — сказал я. — По-моему, я вижу вас первый раз в жизни.

— Я Валя Нетти, — сказала она, — вы меня просто не узнали. Валя Нетти, дочка Сергея Петровича.

Черт побери, я ее видел лет пятнадцать тому назад где-то в Ижевске, тогда ее носили на руках, она уже тогда щеголяла в одних передничках и юбочках. Правда, без трико. Тогда эта артистка была известна тем, что повсюду оставляла за собою лужицы. Даже у меня на коленях. Но теперь я не сказал ей об этом. Ей бы не пришлось по сердцу подобные воспоминания. После того как она мне сообщила, кто она такая, она смотрела на меня, видимо ожидая, что я сейчас умру от восторга. Поэтому я всплеснул руками и сказал:

— Ой-ой, смотрите, как время бежит. Смотрите, какая вы большая, а я вас на руках носил.

Она засветилась вся и повертелась передо мной:

— Как вам костюм, дядя Коля? Только сегодня сшили, у нас всегда горячка.

— Хорош, — сказал я восхищенно, — хорош, и тебе очень идет. — Она вся расцвела. — Только вот что, — продолжал я, — ты подтяни резинки повыше, а то ты все время стесняешься и опускаешь их, натягиваешь, они врезаются, и у тебя получают повсюду шрамы и тело красное — некрасиво. Ты уж лучше сразу задери их повыше — и дело с концом.

Она так и сделала, а потом спросила:

— А не чересчур голо?

— Ну, — сказал я, — тут уж ничем не поможешь. И так чересчур голо, и этак то же самое.

На плечах у нее был лебонький свитер, а ноги были голые, они начинали синеть и покрылись пупырышками. Она стала разминаться, подпрыгивать, и приседать, и высоко выкидывать ноги на батман, и сгибаться, и проворачивать корпус, почти касаясь пола затылком. В это время раздались недружные аплодисменты, и мимо нас проскочил разгоряченный Лыбарзин, за ним бежал пожилой униформист. Лыбарзин не заметил меня, он взбежал по лестнице, роняя на ходу разрисованные яркие мячи, кольца и булавы. Его униформист спотыкался и поминал черта. Я не стал окликать Лыбарзина. Не та была минута. С манежа донесся гулкий голос Бориса, он что-то прокричал, и сейчас же грянул оркестр. Из-за занавески выглянуло испуганное лицо ушастого униформиста. Он крикнул:

— Нетти! Что же ты? Давай!..

И Валя побежала на выход, махнув мне рукой.

Я подумал, что надо бы мне посмотреть ее работу, совсем молоденькая, а в такой программе соло выступает, это не шутки. С другой стороны, уже одно то, что она дочка Сергея Петровича, говорит, что она должна быть хорошей артисткой, тут все должно быть на сливочном масле, старик не потерпит «туфты»: я, мол, хорошенькая, где чего недоделаю, так доулыбаюсь, оно и сойдет. Можно ручаться, что здесь и труд есть, и красота, и умение, иначе батя не выпустил бы ее.

В это время с манежа вернулся Борис, Жек шел за ним.

— Электрик эффекты знает? — спросил его Борис.

— Два раза утром проходили, — ответил Жек. — Все в порядке, не идиот же он!

— Кто вас знает, — сказал Борис, — все вы такие. С первого взгляда вроде не идиот, а если, товарищи, глубже копнуть... В общем, если будут накладки, ты у меня за все в ответе.

Они подошли ко мне.

— После Нетти пойдешь, Коля, — сказал Борис. — Тебе-то не все равно? После тебя — лошади, и кончим отделение. Это пока на сегодня так, не против?

— Ладно, — сказал я, — тогда иди в манеж. Стой у форганга.

— Я тоже пойду, — сказал Жек.

— Значит, не объявлять? — спросил Борис.

— Да, не надо, — сказал я, — пошли. Ты только стой у форганга. Я выйду, и сработаем. Ты только «собачку» вовремя подай. Реплика в реплику. А дальше само пойдет.

— Да что я, в первый раз, что ли? — сказал Борис. — Ну, ни пуха!

— К черту, — сказал я, — иди к черту.

2

Жек побежал вперед, Борис поспешил за ним. Я прошел не торопясь к занавеске. Со стороны кулис висит довольно старая служебная занавеска, неприглядная, обшарпанная и затерханная, покрытая пятнами, жесткая и коротковатая. И я не люблю ее, когда иду в манеж... От нее, от этой старой тряпки, остается всего только восемь шагов до другого, парадного, зана-

веса, работающего на зрителя, и это роковое расстояние между двумя занавесками в старину называлось коридором смерти... Видно, всегда, во все времена страшно было артисту перейти эту роскошную бархатную черту занавеса, пышные складки которого отделяют зрителя от нашего волшебного мира, мира невысказанно голубоглазых красавиц и белозубых аполлонов, мира мечты и дерзости, мира безумной храбрости, риска и вызова, силы, ловкости и красоты, мира неслыханных мышц, необычайных поступков, желанного, волнующего, таинственного, зовущего цирка. Я люблю эту декоративную занавеску, и больше всего именно теперь, когда я иду в манеж, когда до встречи со зрителем остаются считанные секунды. Я люблю ее потому, что верю в этот наш парадный цирковой мир, мое сердце бьется горячо и влюбленно, когда я стою в крошечной темноте перед этой занавеской в ожидании выхода, мое сердце бьется глухо и часто — это в него стучится кровь тысяч клоунских сердец, создавших цирк. И хотя я хорошо знаю на собственной шкуре, что такое наша адская работа, что такое ее пот и боль, ее разнообразие грыжи и выпадения прямых кишок, ее расплюснутые суставы и отбитые крестцы, растяжения, вывихи, переломы и ушибы, — я верю в вечную легенду о цирке. И я умею пройти мимо этой жалкой занавески, не замечая ее убожества и нищеты и ощущая только суровый восторг и волнение перед тем невероятным и удивительным, что ждет меня там, за красным занавесом, на маленьком, усыпанном опилками кругу, перед смеющимся, грохочущим, ревушим и рукоплещущим празднеством, перед тем, что было, есть и пребудет во веки веков, — цирк, цирк, цирк!

...Я стоял так в темноте, в этом самом коридорчике смерти, музыка играла, и в разошедшиеся фалды занавеса было видно, как Валя Нетти крутит от самого оркестра к форгангу финальную комбинацию трюков: рундат — флик-фляк — сальто-мортале. Это была ее бисовка или, как говорят у нас, де капо. Эта девочка крутила серию мужских трюков, крутила классно, школьно, блистательно. Нет, ее батя не выпустил бы какую-нибудь недоделку на публику. Валею он мог гордиться: это была артистка цирка, артистка высокого класса. Публика вовсе не дура, далеко нет; наоборот,

дурак тот, кто придумал это про публику. Если работа чистая, высокая, публика это сразу раскусит, она все видит и понимает, и Валю проводили дружно и горячо, и Борис, стоящий у форганга, два раза вернул убегающую Валю, и она посылала «комплименты» залу, изящно отставляя то левую, то правую ногу и приветственно подымая руку.

Ушастый униформист подал ей маленький серебряный плащ, и она ушла с манежа красивой и достойной походкой, на носках, чтобы фигура выглядела женственной, и ее провожали дружными аплодисментами до самой той секунды, когда она скрылась за занавесом.

— Я смотрел, — сказал я, когда она прошла мимо меня, и я почувствовал раскаленный ее запах. — Люкс, первый класс. Умница. — И добавил: — Ай, браво!

Так говорят обезьянкам, когда хотят одобрить их понятливость или вообще поощрить, приласкать. Так говорят в цирке обезьянкам, медвежатам и вообще разным симпатичным зверькам.

— Ай, браво! — сказал я еще раз и почувствовал, что девочка улыбается во тьме, гордая моим одобрением.

В эту секунду занавеска распахнулась на две стороны, и униформисты повернулись: один ряд — налево, другой — направо. Я стал виден зрительному залу, электрик вонзил свой прожектор прямо в меня. И я сразу пошел вперед... Несколько секунд я шел молча, и лишь поровнявшись с первым униформистом, то есть первым от меня и, следовательно, самым дальним от публики, я засмеялся. Это я делаю всегда, это мой пробный камешек, моя заявка, что-то вроде предьявления визитной карточки. Я сразу настраиваю публику на свою волну, и если она ее примет тоже сразу и безоговорочно, тогда все у нас пройдет как нельзя лучше, и мы оба, публика и я, будем наслаждаться нашей встречей — это закон. Сегодня зал был неполон, публика бесплатная, состоящая в какой-то части из артистов предыдущей программы, из их знакомых и родных, из работников аппарата, из пап и мам, из случайно забредших людей, из завсегдаев и болельщиков, — словом, публика была самая пестрая. Но делать нечего, занавес за тобой задернут, чтоб не убежал, вот стоит Борис и вся его шарага-униформа — тоже стерегут, чтоб не убежал. Делать нечего, спасенья нет — алле! — и я рас-

смеялся, и эта сборная солянка, сидевшая в зале вместо моей милой сплоченной публики, вдруг рассмеялась мне в ответ, рассмеялась радостно, и удивленно, и заинтересованно. И тут я увидел, что все униформисты тоже засмеялись, и я похлопал по животу Жилкина, он стоял первым к публике, он наш председатель месткома, и когда я его похлопал, он прямо покотился со смеху, и лицо у него стало глупым и добрым, хотя в жизни Жилкин довольно сволочеватый старик. И тут я сразу почувствовал себя отлично и вышел уже в манеж. Я сделал всего два-три шага, как раз столько, сколько нужно, и с точностью до секунды во времени и до миллиметра в пространстве меня остановил Борис.

— Стоп! Стоп! Стоп! — закричал он радостно. — Николаша! Ты откуда?

— А-а! Борис Александрович, — сказал я. — Здравствуйте!

И я стал с ним здороваться, снимал бесконечную перчатку и лез целоваться, падал и чихал — словом, поработал возле него довольно долго и все время слышал многоголосый смех, и это меня подстегивало и подливало масла в огонь, и я импровизировал разные новые маленькие трюки. Борис все это принимал очень хорошо, готовно и профессионально, и мы могли бы так еще минут десять здороваться, но он ловко, умело и незаметно для публики поторопил меня, чтоб не затягивать, и сказал, вытаскивая у меня из-за пазухи детское ружье:

— А это что у тебя такое?

Я сказал:

— Это ружье! Берданка! Я на охоту иду! Я знаешь какой меткий!

— Ну да? — сказал Борис. — Ты — меткий? Ни за что не поверю!

— Я — снайпер, — сказал я. — А ты не веришь. Да ты спроси кого хочешь! Все подтвердят... Да вот недавно, чего лучше! Недавно я охотился. В горах. Со своей верной собачкой. И вдруг гляжу — сверху орел. Крылья — во! Когти — во! Прямо камнем сверху — хлоп! Цап мою собачку — и в облака! Тут я сразу обозлился, вскинул ружье, приложился и сразу этого орла — бац! Точно! В глаз! Готов. Упал прямо передо мной... На камни.

— Ну да? — сказал Борис. — Вот это здорово!

— То-то! — сказал я.

— Ну, а собачка? — вспомнил Борис.

— Что — собачка? — сказал я.

— Ну, орла ты подстрелил, а собачка куда девалась?

— А собачка дальше полетела... — сказал я тихо.

Эту фразу надо говорить, начиная с пустого места. Как будто у тебя температура тела ноль градусов. Как будто в мире до тебя не было клоунов и артистов. Чарли Чаплина или еще кого-нибудь. Как будто не было никогда ничего записано и прорепетировано. Как будто все это в первый раз в жизни, в веках, в литературе, тут чем меньше хочешь публике показать смешное, тем оно смешнее будет. Не жми педали, забудь все на свете, скажи так, как будто только что на свет появились эти слова. Скажи так, попробуй — и увидишь.

После того как на местах немножко поуспокоилось, я стал показывать работу. Все-таки я не был здесь целых два года, надо было показать, что время не проходит даром, и я выложил все, что накопил. Они принимали меня очень хорошо, особенно классику, но потом я решил: сейчас или никогда — и показал им «Галерею Бешеных». И мне особенно дорого было то, что это — злободневные политические репризы, а они смеялись, смеялись всюю, и я не посрамил своего имени и имени моего отца — я сделал то доброе, что только и могу делать в этой жизни. Они смеялись, черт побери, и слезы текли у них из глаз, они сморкались, и задыхались, и многое забыли в эти минуты, и, может быть, даже забыли, что еще не миновала ужасающая опасность войны, которая не дает мне спокойно спать по ночам, потому что я тревожусь за них, за тех, кто смеется сейчас здесь, в цирке, я тревожусь за них, за их любовь, за их жизнь, за их детей... И вот сейчас они смеются, и все во мне смеется в ответ, и они даже не замечают этого, а я все равно тянусь к ним всем сердцем и знаю, что делаю для них свое веселое и доброе дело.

И когда я пошел за кулисы, Борис шесть раз возвращал меня на поклон, и я кланялся и «лепил корючки»: то кланялся, как прима из «Лебединого озера», а то как дамский любимчик тенор, а то приветствовал народ, как начальник главка, и они все хлопали, и под

конец я просто снял парик и гуммоз с носа и поклонился очень серьезно, от души. И тут мы с ними совсем подружились, и когда я прошел за кулисы, я увидел эту старую занавеску и вытер об нее мокрые руки, и она дружелюбно висела на моем плече, старая, уютная, знакомая...

— Сколько лет я тебя знаю? — сказал Жек. — Двадцать?

— Да, — сказал я, — прилично...

— Иди размазывайся, — сказал Борис, — порядок.

— Не могу привыкнуть, — сказал Жек, — двадцать лет смотрю, всегда смеюсь, как маленький...

— Колдун, — сказал Борис, — вся порода такая.

— Буфет работает? — спросил я.

— Работает. Только нету. Запретили.

— Для меня-то? — сказал я.

— Думаешь, ему выпить хочется? — сказал Жек. — Ничего подобного! Он это для виду. На самом деле ему повидаться хочется. «Знать, забило сердечко тревогу», — и он приложил палец к щеке и подперся, изображая хор Пятницкого.

— Ну, она-то на месте, — сказал Борис, — куда она денется? Поспеешь к своей Сикстинке.

— А вы, ребята, балабоны, — сказал я, — скоморохи вы, чтоб вас черти взяли... Пойду разденусь.

Они остались у репертуарной доски и смотрели мне вслед, и я шел, стуча своими длинными башмаками, и они, вероятно, смеялись мне вдогонку. И я слышал, как Жек крикнул мне не без яда:

— Ромео Джульетыч!

Но все это мне было совершенно безразлично. Главное было позади. Я отработал. Дал, что мог. И не впустую, нет, они смеялись. Если так будет всегда, то жить можно. Стоит.

Честно говоря, я немного устал. Просто физически. Наломался очень. Я вошел к себе в гардеробную и на гвоздиках, вбитых в стену, распялил вывернутый наизнанку и совершенно мокрый парик. Я снял с себя ботинки, пиджак, брюки, рубашку и трусы. Вот еще одно преимущество собственной гардеробной. Можно посидеть голяком после работы, а это кое-что да значит. Потом я

подсел к зеркалу и размазался. Синие пятна на моем лице опять выступили наружу. Они не украшали меня, нет. Ну что ж, какой есть. Я надел халат, взял свежие трусы, махровую перчатку и пошел в душ. Там были три кабинки, но занята была только одна, в ней стоял под игольчатой сеткой воды какой-то паренек, совершенно незнакомый. На вид ему было не больше пятнадцати лет, тело у него было белое, гладкое, хорошо тренированное, без особо выдающихся мускулов, без этих узлов, наростов и мослов, какие бывают на теле у заслуженных цирковых лошаков. Весил он приблизительно сорок пять — сорок шесть, не больше. Должно быть, верхний, подумал я, оберман. Подкидные доски или что-нибудь другое в этом жанре.

Я прошел мимо него в соседнюю кабинку, он как раз массировал себе левую ногу.

— Здравсте, дядя Коля, — сказал он. — Уже отработали?

Честное слово, я никогда не видел его до сих пор.

— Здравствуй, — сказал я и пустил воду, — а ты чей?

— Винеровский я. Вам слышно? Винер — икарийские игры.

— Слышно, — сказал я, — не надрывайся, слышно. Тебя как звать?

— Славик.

— Что-то я тебя в первый раз вижу...

— Ой, что вы, дядя Коля, это вы меня забыли. Мы с вами вместе в Харькове работали. Я тогда верхнего работал, я маленький был, но прыгучий... Это я теперь вырос, и вы меня не узнали. Теперь я тяжелый стал. Теперь Витька в оберманы вышел, ему десять лет, малыш, самый возраст, а мне уже поздно, мне теперь четырнадцать, теперь я среднего работаю.

— А сам старик как поживает?

— Дядя Винер-то? Отлично поживает, слава богу. Только его радикулит мучает, прямо воет иногда от боли. Мы его спиртом натираем, всей труппой трем, ни черта не помогает, воет все равно. Хороший человек. Отец родной — дядя Винер. Он меня из Днепропетровска взял, я сам из Днепропетровска. Он меня взял и усыновил. И работе научил. Отец родной, верно говорю. А отцом называть не велит. «Ты мне сын, Славка, это

закон,—говорит,—но я тебе не отец. Твой отец был пожарник и погиб на посту. Он герой, ты должен только его отцом считать и его память чтить». Вот какой дядя Винер и его жена, тетя Эмма. Их все в цирке уважают. Особенно его. Потому что он большой педагог. А она всю труппу оденет, обмоет, обошьет...

За плеском воды я плохо слышал его болтовню, но все равно разговор был приятный, вода лилась и бодрила, с этим парнишкой было просто и дружелюбно, и я подумал, что ему тоже нужна моя работа, она и ему помогает, ведь мало ли как может обернуться его жизнь.

— ...Ну, конечно, иногда и выпьет, а что же, ведь он же не скандалит. Выпьет, и спать... А теперь в цирках не продают напитки, — донеслось из соседней кабинки. — Дядя Винер, как приехал, разбежался было в буфет, а ему от ворот поворот, запрещено, приказ дирекции.

Мальчишка расхохотался. Его смех напомнил мне почему-то антоновские яблоки: как их кусаешь, спелые, полным ртом и жуешь всеми зубами сразу — и аромат, и вкус, и далекое детство. Странно, никогда не думал, что смех может напоминать яблоки.

А мальчишка не унимался:

— Ему когда в первый-то раз сказали, он только глаза вылупил на буфетчицу. Если б она не такая была, он бы, наверно, на нее наорал, он горячий, но тут, как ее разглядел, сдержался и стал возле стойки. Стоит и только глазами хлопает.

— А что, — крикнул я, — почему же он на нее не наорал? Что она, не такая, как все, что ли? В чем тут дело-то?

— Краси-ивая! — тоже крикнул мальчишка. — Красивая, будь здоров, закачаешься!

Он выскочил из-под душа, вода перестала шуметь в его кабине, и было слышно, как он зашлепал к своей скамье.

— Хорошо помылся, — сказал он, кряхтя, — да... А буфетчица наша, тетя Тая, красивая, прямо хоть в кино сниматься. а вы неужели никогда не видели ее?

— Не приходилось, — сказал я.

— Ну, тогда вы рухнете, — пообещал он.

Ах, симпатяга. Я сказал:

— Ты сам в нее небось влюбился.

Он помолчал. Потом тяжело вздохнул:

— Ну что вы, дядя Коля. Куда я ей нужен — молодой еще. Я еще не влюбляюсь. А так вообще наши артисты многие по ней страдают. Вон Лыбарзин, жонглер, всю газировку у нее выдул, раз двадцать на дню в буфет бегаёт. Так и вьётся, так и вьётся. Да на кой он ей нужен, черт лысый, за ней майор на машине приезжает. Машина «Волга» у него, голубой экземпляра в экспортном исполнении...

Вот как! Интересное кино. Голубая «Волга». Лыбарзин. Таинственный майор.

— А скоро уж будут машины без колес? Вечемобили? — спросил мальчишка.

— Скоро, — сказал я. — Когда ты будешь вот такой, как я, будешь разъезжать на своем собственном вечемобиле.

Он рассмеялся, и опять я вспомнил про антоновские бляхи. Потом он сказал:

— Ну, всего вам хорошего, дядя Коля. Я пошел.

— Будь здоров.

Он вышел. Я остался один. Так. Голубая, значит, у вас «Волга», майор, в экспортном исполнении. И вы на этой роскошной машине заезжаете за Таисией Михайловной. Какая прелесть! Я прибавил горячей воды и стоял так, не шевелясь, и вода шумела в моих ушах, лилась, текла по плечам, по груди и спине, журчала, скворчала, плескала, пенилась и гулко барабанила по голове, и я полоскал ею горло, а на вкус она была пресная, не хватало в ней чего-то на вкус, перцу, что ли, или соли, но, в общем, это была благословенная вода, и стоять так можно было до конца света, до второго пришествия, потому что эта вода смывала что-то с самой души и уносила в океан, только Лыбарзина она не смывала и майора тоже, нет, не смывала.

Да, замечательные новости сообщило мне это ужасное дитя кулис.

Я закрыл кран и стал растираться сухим полотенцем. Потом накинул халат и прошел к себе, надел свежую рубашку, достал из чемодана постельное белье и застлал им маленький диванчик, стоящий в углу гардеробной. Никто не знает, когда еще наша милая дирекция удосужится предоставить мне номер в гостини-

це, так что, пока суд да дело, я смогу отлично выспаться и здесь. Покончив с постелью, я сел на стул и посидел немножко, просто так. Ничего не делал, сидел просто так, и когда сидел, прекрасно понимал, что это я не отдыхаю, нет, просто я оттягиваю все, что должно случиться. А это уже не дело. Мало я получал оплеух, что ли? И мнимых, и самых настоящих? Мне не пристало увертываться. Я вышел в коридор, снова спустился вниз и, пройдя мимо инспекторской, через зрительское фойе, вошел в буфет.

4

Здесь было пусто и тихо, несколько официанток, негромко переговариваясь, убирали посуду и снимали скатерти. Тая стояла на своем месте и наливала какому-то парню шипящую воду из бутылки. Когда я подошел, она несколько секунд смотрела на меня, словно не узнавая, и вода пролилась мимо стакана. Розовая и шипящая, она растекалась по светлomu мрамору. Я постоял так, ничего не говоря, потом взял бутылку из Таинных рук и поставил ее. Она нахмурила брови и, пристально глядя на меня, сказала каким-то странным и недоверчивым голосом:

— Почему синий?

Я сказал:

— А что? Разве некрасиво?

Она все еще смотрела на меня недоверчиво и словно изучая, словно ища каких-то особых примет, некогда бывших и известных ей одной.

И непонятно мне было, как она меня встречает, похоже, что совсем отвыкла, стоит чужая и прохладно вежливая, только интересуется, что с человеком сделалось, почему лицо у него не такое, как у всех, а голубое, изрытое, в пятнах. Она сказала, словно раздумывая, автоматически вытирая лужицу на мраморе своими расторопными руками:

— Почему некрасиво? Не знаю. Необыкновенно как-то, было лицо, а вдруг вот так. — Она наклонилась ко мне через прилавок: — Думаешь, сюрприз сделал? Как бы не так. Уже сообщили. Я давно тебя поджидаю.

Я сказал:

— Кто сообщил?

— Беспроволочный телеграф. Дружки твои, товарищи. Так что вот: я уже давно жду.

Она показала глазами на мое лицо:

— Как это получилось?

Я сказал:

— Развел фосфору для хлопушек. В кружке. Чересчур круто замесил, а в комнате жарко. Тесто-то и высохло. А в нем ложечка торчит, которой замешивал. Хозяйкин мальчик, пять лет, подходит и к ложечке тянется. Я его оттолкнул и инстинктивно сам за ложечку эту схватился. Ну все в дыму, ночь в Крыму, ничего не видно. Хорошо, что глаза не выжгло. Тебе нравится? Волнующий рассказ?

Она откинулась назад. Это правда, довольно верно подметил гражданин оберман там, в душе, — красивая она, статная, спину держит, как королева, и бровь какая надменная, и улыбка повелительная, да, надо признать — есть в ней, что там говорить, есть.

Она сказала:

— Даже не поздоровались...

— Не важно, — сказал я, — хорошо, что увиделись.

— Два года прошло, — сказала она, — интересно как все на земле, два уже года... Большой срок. — Она поглядела куда-то вдаль и бросила: — Вы в Ташкенте долго как сидели. Что так? Там, говорят, девушки интересные...

— И в Свердловске тоже интересные, — сказал я, — и в Вологде.

— Нет, в Ташкенте всех лучше, — упрямо сказала она, — там наездницы красивые...

И она снова приблизила ко мне свои глаза. В них кипела злость. Брови у нее сошлись на переносице.

Я улыбнулся.

— В Риге, вот где девушки, — сказал я миролюбиво. — Ну да и в Таллине тоже.

Она ничего не ответила мне и отвернулась. С другой стороны к буфету подходил Лыбарзин. Я стал к нему спиной и, отступив на шаг, спрятался за кофейным аппаратом.

Он весело сказал:

— Дайте, пожалуйста, сигарет с фильтром.

Я не оборачивался. Тая прошла мимо меня и взяла со стеклянной полочки пачку. Когда она вернулась на

место, я услышал, как Лыбарзин тихим, заговорщицким голосом произнес:

— Как уберетесь, я провожу вас. Разрешите?

Она промолчала. Он еще более понизил голос:

— Может быть, зайдем куда-нибудь? Посидим часок где-нибудь в тепле и уюте. Разопьем бутылочку твиши...

— Что вы, — сказала Тая, — я не пью.

— Ну какое же это питье! — проворковал кавалер. — Просто отдохнем: сидишь, котлетку по-киевски жуешь, оркестр стилияжку дует, разве плохо?

— Здорово, — сказал я, — как будто знакомый голос?

Лыбарзин узнал меня и заморгал глазами.

— Здравствуйте, — сказал он растерянно, — вы уже приехали?

— Нет еще, — сказал я, — это я тебе снюсь.

Он улыбнулся и затоптался на месте. Он не знал, что делать дальше. Я мешал ему, ему хотелось договориться с Таяй, а тут свидетель, третий лишний, а Тая смотрит на нас независимо, со спокойным любопытством, кто знает, что она хочет сказать. Он переминался с ноги на ногу, и на него просто жалко было смотреть, неловко как-то. Но я вовсе не собирался помогать ему. Меня раздражал ее вид, будто она хотела сказать: «А что? А почему бы и нет? А тебе какое дело? Захочу и пойду с ним в ресторанчик кушать котлетку, ты мне не указ».

Меня от этого тошнило. И в эту минуту я твердо решил: пусть между нами все пошло к черту, мы все равно разойдемся, не прошу голубую «Волгу», никогда, но уж Лыбарзина-то между нами не будет, не из той он колоды, пусть кто угодно, но Лыбарзина не пущу в свою судьбу, не могу видеть подкрашенные бровки, потные руки, платочек на шейке, томные эти улыбочки. Если эта дура сама не понимает, я ей покажу сейчас. Держитесь, Крашенные Бровки!

Я сказал:

— Ты что как быстро укатил тогда?

— Вызвали, — ответил он с достоинством, — в Пензу, для укрепления программы.

— А, читал, — сказал я, — статья в «Пензенском рабочем». Что это они так на тебя навалились? Может, ты и вправду частенько сыплешь, но за что же в без-

вкусице обвинять? «Пошлая манера», «заигрывание с публикой»? Это слишком!

Он покраснел.

— Враги у всех есть, дядя Коля, — он скорбно поджал губки.

Ах вот что, ты пострадал, значит, от тайных интриг своих коварных соперников.

— Козни, знаете, зависть...

— Да, конечно, — сказал я, — все-таки ты чересчур поспешно уехал... Проститься надо было.

— Спешка, дядя Коля, реклама, реквизит, билеты. все один, дядя Коля, все сам, знаете наши порядки.

— Ну, все-таки хорошо, что встретились, — сказал я добродушно.

Он подумал, что пронесло, и засуетился:

— Конечно, хорошо, все-таки старые товарищи. Таисия Михайловна, нет ли у вас винца хоть какого-нибудь? Мы бы выпили со свиданьем.

Но нет, не пронесло. Он ошибался.

— Не надо вина, — сказал я, — денег нет.

— Запрещено, — сказала Тая, — давно не торгуем.

Я сказал:

— Нет, Лыбарзин, нет, нет. Денег нету.

Он сказал с широким жестом:

— А у меня есть. Я заплачу...

Я сказал:

— Нет, так не пойдет. Я сам за себя всегда плачу. Но раз у тебя есть деньги, отдай мне сто рублей, что брал в Ташкенте.

Это было хуже, чем нокаут. Я даже пожалел его, ни к чему это было, не в моем характере, это во мне тот, другой нокаут работал, который я получил в душе. Лыбарзин сказал упавшим голосом:

— В получку отдам, дядя Коля, ладно? Сейчас у меня нету такой суммы...

Тая стояла с каменным лицом. Она и бровью не повела. Так, только глянула на меня мельком. А я успел увидеть, что там, на дне ее глаз, где раньше клочкотала лава, теперь прыгает смех. Она опустила ресницы.

Я сказал:

— Жаль. Ну, на нет и суда нет. До полочки я, конечно, дотяну, не помру с голода. А выпить для встречи надо бы. Коньяку, что ли... Налей-ка, Тая.

Она испуганно посмотрела на меня и хотела было сказать, что нету, запрещено и еще что-нибудь, но я смотрел на нее строго, прямо в глаза, и она вдруг поняла что-то, и смутилась, и наклонилась куда-то под стойку, и достала бутылку армянского «три звездочки», единственного, который я пью, и налила две рюмки.

Я сказал:

— И себе, Тай, налей. В честь моего приезда. Ничего.

Она не ответила ни слова. Взяла маленькую и налила себе.

Лыбарзин обиженно надул губки:

— Ну как же это, Таисия Михайловна? Ведь я же просил, а вы отказали. Запрещено!.. Для меня запрещено, а для Николая Ивановича...

Тая сказала ему ласково и увещавательно, как маленькому:

— Нельзя вам равняться...

У него разбежались глаза. Я такого никогда не видел. Один зрачок в левом углу глаза, а другой — в правом. Феерия-пантомима.

Он пробормотал:

— Не буду я пить.

Но я сделал вид, что не расслышал.

— Ну, — сказал я, — за здоровье Таисьи Михайловны! — и выпил.

Сразу за мной выпила и Тая. Лыбарзин выпил третьим. Тая нарезала ломтиками крупное желтое яблоко.

Издали кто-то махнул мне рукой. Это был Панаргин, помощник Вани Русакова. Высокий и медлительный, он подошел ко мне и быстро сунул для рукопожатия шершавую руку. Небрежно кивнул Лыбарзину. Тае отдельно. Лицо у него было в крупных, сползающих книзу морщинах, выражение глаз, красных и воспаленных, тревожное.

— Выпьешь? — сказал я.

— Не до того, — прогудел Панаргин, и так как мне было хорошо известно, что ему всегда было именно до того, я спросил его:

— Что с тобой?

— Плохие дела, брат, — сказал Панаргин мрачно.

— Говори скорей.

— Лялька болеет, а Русакова нет.

— Где же он?

— Завтра объявится. Черт его дернул лететь самолетом. Теперь припухает в Целинограде. У них там не взлетная погода.

— Что с Лялькой?

— Болеет, ну... не знаю... Вид плохой, стонет. Пойдем посмотрим!

Я сказал:

— Пошли.

— Будь друг, — обрадовался Панаргин, — сделай милость. Ум хорошо, а два — сам знаешь. Стонет, не ест, беда на мою голову.

— Бежим, — сказал я, выгрызая зернышки из яблока. — Тая, заверни мне булочек десяток.

Она кивнула головой.

— Я не за себя, — сказал Панаргин, — ты не думай. Ляльку жалко. Ведь это какая артистка! Безотказная. Разве она слон? Золото она, а не слон! Лучше любого человека.

— Не каниучь, — сказал я. — Сейчас поглядим. Пойдем. — Я обернулся к Тае. Она протянула мне пакет. Там лежали плюшки. — За мной, — сказал я Тае, — ладно?

— Не беспокойся, — сказала она.

Лыбарзин делал вид, что плохо понимает, о чем мы говорим с Панаргиным. Ему не хотелось идти с нами и возиться с какой-то больной слонихой. У него, вероятно, были кое-какие денежки в кармане, и он томился возле Таи. В нем еще жила надежда на бутылочку твиши, на тепло, и на уют, и на оркестр, который «дует стилиажку».

Я сказал:

— Я сегодня у тебя ночую, Тая.

И пошел на конюшню.

Да, конечно, слониха была больна, Панаргин не ошибся. Она стояла в дальнем углу конюшни, недалеко от дежурной лампочки, прикованная тяжелой цепью к чугунной тумбе, глаза ее были печально прикрыты, длинный безжизненный хобот уныло опущен до самого пола. Она была похожа на огромный серый холм, по-

крытый редкими травинками волос, на африканскую хижину, стоящую на четырех безобразных подпорках-столбах. Тяжелая ее голова и огромные уши, похожие на шевелящиеся пальмовые листья, несоразмерно маленький хвост, складки грубой шершавой и на ощупь сухой кожи — все это выглядело усталым, обвислым и хворым. Я подошел к ней спереди, прямо со лба, держа в руке открытый пакет со свежими булочками, и протянул его ей. Я был рад ее видеть. Я сказал ей негромко: — Лялька.

Она чуть шевельнула ушами и медленно переступила передними ногами, потом открыла свой человеческий, грустный глаз. Давненько мы не виделись с ней, давненько, что и говорить, и вполне можно было позабыть меня, выкинуть из головы и сердца, но тогда, когда мы виделись, мы крепко дружили, встречались каждый день, и сейчас Лялька меня узнала мгновенно. Я это увидел в ее глазах. Она не стала приплясывать от радости и трубить «ура» во весь свой мощный хобот, видно, ей не до того было, сил было мало. Просто по глазам ее я увидел, что она меня узнала, и глаза ее пожаловались мне, они искали сочувствия у старого друга. Она два раза похлопала ресницами и покачала головой, словно сказала: «Вот как привелось свидеться... Скверные, брат, дела».

И все-таки она сделала над собой усилие и, приподняв хобот, тихонько и длительно дунула мне в лицо.

— Узнала, — сказал Панаргин голосом, полным нежности. — Ну что за животное такое, девочка ты моя...

— Да, — сказал я, — узнала, милая.

И я вынул из пакета плюшку и протянул ее Ляльке.

— Лялька, — сказал я, — Лялька, на булку.

Она снова подняла свой слабый хобот. Дыхание у нее было горячее. Я держал сладкую пахучую булку на раскрытой ладони. Но Лялька нерешительно посопела и отказалась. Хобот ее равнодушно, немощно и на этот раз окончательно повис над полом. Я прислонил пакет с булками к тумбе.

— Что такое, — сказал я, — еду не берет. Температура, по-моему.

— Ну, да, — сказал Панаргин, — простыла, наверно. Здесь сквозняки, черти бы их побрали, устроили ход на

задний двор, а дверь не затворяют, дует прямо по ногам, ее и прохватило. Она же хрупкая. Не понимают, думают: раз слон, так он вроде паровоза, все нипочем, и дождь, и ветер, а она хрупкая.

— Кашляет?

— Да нет, не слышно, а дышит трудно.

— И давно она так?

— Да с утра. И завтракала лениво. Я обратил внимание — плохо ест.

Я зашел сбоку и стал обходить Ляльку постепенно, вдоль туловища, и прикладывал ухо к наморщенной шуршащей Лялькиной коже. Где-то, далеко внутри, как будто за стеной соседней комнаты, мне услышались низкие однообразные звуки, словно кто-то от нечего делать водил смычком по басовой струне контрабаса.

— Бронхит, по-моему, — сказал я.

— Только бы не воспаление легких, боже упаси.

— По-моему, надо кальцекса ей дать.

— Ей встряска нужна и согреть надо, что ей кальцекс, вот уже верно, как говорится, слону дробинка...

Вот так стоять и канючить он мог бы еще до утра, потому что Иван Русаков привык до всего добираться собственными руками, и глаз у него был острый, хозяйский, но его помощники были людьми нерешительными, несамостоятельными, — воспитал на свою голову. А теперь вот слонихе худо, а этот долговязый бедолага маялся и робел, как мальчишка.

— Тащи ведро, — сказал я твердо и повелительно, — и посылай за красным вином, не найдут — пусть возьмут портвейну бутылки четыре. Водки вели принести.

— Во-во! И сахарку кило три! Сейчас, сейчас мы ее вылечим. Не может быть — вылечим! — Он очень обрадовался тому, что кто-то взял на себя обязанности решать и командовать, ему теперь нужно было только подчиняться и возможно лучше исполнить распоряжение. Это было ему по душе. Он сразу почувствовал уверенность и выказал рвение.

— Генка! — крикнул Панаргин, и сейчас же перед ним вырос ушастый униформист.

— Что, дядя Толик?

Панаргин быстро сунул ему несколько мятых бумажек.

— Беги в гастроном, возьми четыре бутылки красного или портвейну и водки захвати поллитра. Да единым духом, пока не закрыли!

— Банкетик! — сказал Генка сочувственно. — Беленького, пожалуй, маловато... А чем закусывать будете?

— Я тебе дам банкетик, — сказал Панаргин и несильно стукнул Генку по затылку. — Своих не узнаешь, беги мигом, тебе говорят. Пять минут на все дело! Ну!

Генка убежал, а я взял ведро со стены и сказал Панаргину:

— Сходи, брат, в аптечку, и что есть кальцексу и аспирину — тащи сюда. Хуже не будет. Экспериментальная медицина.

Он зашагал наверх, его циркульные ноги перемахивали через четыре ступеньки сразу. А я подхватил ведро и прошел в туалетную и нацедил теплой воды, так, чуть поменьше половины. Когда я вернулся к Ляльке, она приветственно шевельнула хоботом, и, честное слово, она выглядела куда веселее, чем раньше. В ее глазах была надежда и вера. Верно, я серьезно говорю, в Лялькиных глазах сверкнула вера в человека, в дружбу, она поняла, что еще не все потеряно, раз вокруг нее бегают и хлопочут люди. Я поставил ведро на пол и стал ожидать Генку и Панаргина. Хотелось мне помочь этой слонихе, очень хотелось. Я стоял так в полутемной и холодной конюшне и думал об этой больной артистке и вспомнил, как однажды во Львове Ваня Русаков репетировал со своими животными. Я сидел тогда в партере и смотрел его работу. Это было после какого-то длительного и хлопотного переезда, и животные нервничали. Но Русаков был человек железный, не давал никогда поблажки ни себе, ни животным, и поэтому сейчас на репетиции было много щелчков бича и всяческих нудных повторений, и понуканий, и принуждений. Была возня с реквизитом и со светом, под конец Русаков совсем охрип, и тут ему вывели медведя Остапа. Русаков стал репетировать с ним вальс, но у Остапа было нетанцевальное настроение, не до вальса ему было, и весь вид его был какой-то взъерошенный и озлобленный, он так и нарывался на скандал и в конце концов получил-таки по носу, но не смолчал, а быстро и ловко рванул Русакова за руку между большим и указательным пальца-

ми, и кровь закапала дробными каплями. Собаки тут же кинулись на Остапа, но Русаков остановил их повелительным окриком, и Панаргин с рабочим загнали медведя в клетку. Русаков сел тогда со мной рядом, а молоденькая сестричка натуго перебинтовала ему порванную руку. Когда она ушла, Русаков посмотрел на меня и сказал с виноватой улыбкой:

— Можешь себе представить, Коля? Я устал.

Он сидел, откинув голову и закрыв глаза, строгий и подобранный, похожий на утомленного учителя средней школы. Черный костюм, белый воротничок и галстук особенно подчеркивали это сходство. Он откинул голову назад, стали видны капли тяжелого пота, они обсыпали его надбровья. Он сидел так молча уже несколько секунд, и я подумал, что он задремал, но он вдруг открыл совершенно ясные и трезвые глаза. Он сказал негромко:

— Главное — перевести дух. — И крикнул резко и звонко: — Ляльку!

И вот тут-то я увидел чудо.

Лялька вышла в манеж весело и охотно, даже торопясь, во всяком случае, походка, ритм всех четырех ее движущихся ног напоминал пусть мешкотную, чуть-чуть неуклюжую, но все-таки резвую рысь. Добравшись до середины манежа, слониха остановилась и стала весело раскланиваться, приподняв хобот и улыбаясь своим треугольным войлочным ртом. Она поклонилась центральному входу с повисшей над ним площадкой оркестра, потом повернулась налево и, не переставая улыбаться, поклонилась левому сектору и, наконец, проделала то же самое, повернувшись направо. Я сначала думал, что это она так дурачится от нечего делать и что это еще не работа, но Русаков толкнул меня локтем и сказал:

— Смотри, смотри, что будет!

Его нельзя было узнать, он оживился, подался вперед, глаза его блестели, и усталость как будто исчезла с его худого лица.

А между тем Лялька, не обращая на нас никакого внимания, подняла свою толстенную ногу — сначала одну, а затем и другую, — поставила их обе на стоявшую в манеже деревянную тумбу. Потом очень спокойно и деловито, сосредоточенно посапывая, она взобралась на эту, такую крохотную по сравнению с ней самой площадку всеми четырьмя ногами. Здесь она аккуратно

и педантично, одну за другой, проделала «стойку на трех точках», «на двух» и, наконец, рекордный трюк — «стойку на одной точке». После каждого трюка она приветливо трясла головой, кланялась, значит, как говорят в цирке, «продавала работу», и веселая, обаятельная улыбка все время не сходила с ее, так сказать, уст! Было удивительно видеть эти тонны мяса, мускулов и кожи в таких неестественных положениях, и особенно были странными моменты перехода с одного трюка на другой, когда она искала баланс и так безшибочно переносила центр тяжести своего огромного тела с одной ноги на другую. Поработав на тумбе, Лялька сошла наземь и пошла по первой piste манежа. Изящная в своей чудовищной громоздкости, она вдруг начала вертеться вокруг собственной оси. Это был вальс, чугушный слоновый вальс, грациозно отплясываемый громадным серым чудовищем. Мне казалось, что слониха напевает про себя бессмертную мелодию Штрауса, так легко и непринужденно она сама, без указаний дрессировщика, повторя всю программу своего вечернего выступления. В цирке было тихо, униформисты застыли в форганге, свободные артисты набились в боковые проходы, контролеры и служащие, электрики и уборщицы, гримеры и пожарники — все, затаив дыхание, следили за веселой, добродушной и добросовестной слонихой, так прилежно исполняющей на репетиции свой артистический долг.

Вдоволь повальсировав, Лялька три раза встала на «оф», то есть поднялась на свои стройные задние ноги в знак финального приветствия зрителя, и, как будто неуклюже, но в сущности очень ловко, развернувшись, двинулась на конюшню, всей своей мешковатой рысью изображая отчаянную спешку, цирковой темп, блеск, подъем и кураж. Это была великая артистка цирка, я проникся к ней любовью и уважением, и мы познакомились и подружились с ней. А сейчас я стоял в полутемной холодной конюшне подле моего больного друга и всем сердцем хотел ей помочь. Я постоял с ней еще минуты три, потом прибежал Генка и поставил передо мной, прямо на пол, несколько бутылок вина. Я открыл их и стал выливать в ведро. Вино смешивалось с горячей водой, пар поднимался кверху. Слониха почуяла этот запах и издали протянула хобот к ведру. Сверху спустился Панаргин, он всыпал в ведро большую банку

сахарного песку и из пригоршни прибавил таблеток тридцать кальцекса.

Я размешал все это гладкой палочкой, которую протянул мне Генка, и долил водки. Слониха все еще тянулась к ведру, я подошел к ней, поставил ведро, и она стала пить.

— Здоровье прекрасных дам! — сказал Генка.

— Поможет, как думаешь? — спросил Панаргин. Его грызла тревога, он не мог сдержать себя. — Вот если бы помогло...

— Должно помочь, — сказал я. — Тебе бы помогло? Вот и ей поможет. Она не хуже тебя.

Слониха допила все до конца и благодарно закрыла глаза.

— Она лучше его, — сказал Генка, — сравнения нет, насколько она лучше. Вот глаза закрыла, благодарность, значит, имеет. А этот? Я ему вчера три клетки распозагаженные вычистил, а кто видал поллитра? Вы, дядя Коля, видели?

— Нет, — сказал я, — я не видел.

— И я тоже не видел, — сказал Генка, — они все ловчат, чтоб попользоваться, скряги эти цирковые, полуначальники, а я не обязан задыхаться в медвежьем дерьме, мое дело — манеж...

— Настырный ты очень, — сказал Панаргин глухо, — скромности в тебе нет. Тут, видишь, какое несчастье, а он склоки свои затевает.

Я сказал:

— Ему полагается. Сам как сумеешь, а рабочему отдай. Давайте тащите сена сюда, да побольше.

— Будьзделано, — сказал Генка и обернулся к Панаргину: — Пошли, что ли. А поллитра чтобы завтра мне предоставить после вечернего представления. Даешь клятву?

— Ладно, — сказал Панаргин. — Ты у кого хочешь выцыганишь. Ладно, завтра расчет.

— При свидетелях, — сказал Генка, — вот они, свидетели, — дядя Коля и Лялька! Обмани попробуй!

Панаргин скрылся, пошел за сеном. Генка двинулся за ним. Я придержал его за плечо.

— Она теперь поспит. Слышишь? Ей надо укрыться потеплее, потому сена тащи, чтобы его по грудь ей было. Понял?

Слониха стояла и шамкала старушечьим ртом.

— Конечно, понял, дядя Коля, — сказал Генка. — Неужели же нет?

— Ну, — сказал я и дал ему немного денег, — перебьешься как-нибудь?

— Ни за что не возьму, что вы, дядя Коля! — Генка стал отпихивать мою руку, его косые уши стали еще косее, видно, он не на шутку смутился.

— Слушай, — сказал я, — у меня много, понимаешь? Получка, суточные, гостиничные, целый карман. А у тебя, видно, туго. Возьми, будут — отдашь. И не вайлай барышню, я сегодня злой...

Он взял.

— Спасибо, — сказал он, отвернувшись, — а то весь прохарчился...

Из-за угла вышел Борис, за ним, конечно, следовал Жек.

— Вот он где, — сказал Борис, — а мы, как дураки, дежури́м у буфета.

— А буфет закрыт, — добавил Жек, — и все буквально разошлись... Куда столько сена? — спросил он у Панаргина. Тот волочил на своей спине целую горку.

— Куда надо, — сказал я.

Панаргин сбросил сено у Лялькиных ног и стал его разбрасывать равномерными охапками. Видно было и Генку, он тащил поменьше, но зато бегом. Я вынул булочки из пакета и положил их на пол возле ног слонихи.

— Последись, Генка, — сказал я. — Ладно? Главное теперь — тепло.

— Без него найдется кому последить, — сказал Панаргин ворчливо, — только и света в окошке, что профессор Гена...

Я стал набрасывать Ляльке на спину сено и увидел, что ей хочется спать. Медленно и тяжело согнула она ноги и, убедившись, что на полу мягко и ей будет удобно, повалилась на бок. Мы стали укрывать ее сеном.

— И попону можно, — сказал Борис, — делу не помешает.

Он обратился ко мне.

— Вот что, — сказал он, присев на корточки и тоже засыпая Ляльку сеном, — было совещание по случаю приезда знаменитого артиста на гастроли. Поступили

разные предложения, но остановились вот на чем. Тут недалеко открылся ресторан, современная обстановка, первоклассная кухня. Так что можно организовать роскошный банкет на три персоны. В смысле поужинать. Ко мне, понимаешь, нельзя, поздно, всех перебуторим.

Он погладил Ляльку.

— Это мы тебя после в семейном кругу как следует почествуем, — добавил Борис, — а сейчас пойдем поедим, поговорим, мальчишеская встреча... Как? Или у тебя какие-нибудь личные дела? Интимные встречи? А?

— Вполне возможно, — сказал Жек, — он что, рыжий, что ли?

— Пошли, — сказал я.

6

Это был красивый небольшой зал, обставленный в так называемом современном стиле, с креслами в виде ракушек, маленькими кривыми столиками на распяленных ножках, с пупырчатыми холодными стенами, как будто забросанными шлепками застывшего бетона, с неожиданно косо срезанными по фаске зеркалами, с мягко притушенным светом, с большим количеством пластика, хлорвинила и всех этих самоновейших материалов, употребленных и примененных здесь очень дельно и красиво.

Нас, конечно, сначала не хотели пускать, на дверях красовалось веселенькое: «Мест нет», но у Жека и здесь был знакомый. Гардеробщик. Жек его вызвал к двери, тот пришел и, увидев Жека, расплылся в большой и доброй улыбке, и нас с почетом пропустили, раздели, и гардеробщик проводил нас в зал, давая на ходу объяснения и сопровождая их широкими княжескими жестами.

Мы прошли мимо бара, потом свернули в какой-то коридор, миновали бильярдную, и наконец наш седусый друг и покровитель сдал нас роскошно одетому метрдетелю. Метр провел нас к столику неподалеку от буфета и оказал нам уважение, поманив царственным пальцем молодую девушку в белой наколке.

— Обслужите, — сказал он руководящим голосом и, коротко поклонившись, покинул нас.

Народу действительно было много, все нещадно курили, и было здорово шумно и как-то колготно. Я нико-

гда бы не подумал, что столько людей в этот вечер решились поужинать в ресторане, но, в общем, я был рад: со мной пришли мои товарищи, и я в Москве, и все прекрасно, или могло бы быть совершенно прекрасно. Девушка в наколке держала в руке блокнот и нетерпеливо постукивала по переплету карандашиком.

Самый наш главный дамский угодник Жек обратил к ней свой доброжелательный взгляд и заказал еду. Она, конечно, не очень обрадовалась, что мы не спросили спиртного, но виду не показала и ушла.

Я огляделся. Стены ресторана были украшены разными картинками и надписями, их было немного, но они привлекали всеобщее внимание.

— Вот, — сказал Жек, — видишь, на стенах картинки и надписи. Это какие-то новости...

— Ерунда, — сказал Борис, — пройденный этап. Было, брат. Уже было.

— Художники какие-то чересчур левые, — сказал Жек, — это что, они и есть, абстракционисты эти самые?

— Не смехи народ, — ответил Борис.

Мы принялись рассматривать нарисованную прямо на стене девушку с восьмиугольными грудями.

Невдалеке висел приколпленный рентгеновский снимок с краба. Под ним белел аккуратенький плакатик:

ПЕТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ!

Жек прочитал эту надпись вслух. Борис искренне рассмеялся.

— Значит, все-таки поют, — сказал он, явно симпатизируя незнакомым певцам. — Раз воспрещается, значит, были случаи...

Да не здесь надо было сидеть мне в этот вечер, совсем не здесь. Сердце мое томилось, разговор в душе жалил его нещадно, я даже не думал, что настолько это будет едко, но все-таки хотелось затянуть и насколько только можно отсрочить разговор с Таей, последний разговор, который разъединит нас уже навсегда. И потому я терпел, спокойно дожидался ужина, сидел себе в уголке этого занятого ресторана, сидел с друзьями, и

вокруг было накурено и шумно, и что-то такое особенное носилось в воздухе, какой-то общий дух, дух дружелюбия, и совсем не было похоже на ресторан. Люди переходили от столика к столику со своими рюмками или стаканами, подсаживались друг к другу без особых книксенов и вступали в любую беседу с ходу, как будто давно уже знали, о чем идет спор. Столики стояли тесно, были слышны разговоры соседей, так же как соседи слышали наши. Рядом с нами сидел какой-то очень худой и сморщенный человек. Он дремал, склонив лысеющую голову. Лысел он странно — небольшими зонами, у него не было сколько-нибудь большой, заметной плечи, просто было похоже, как будто кто-то выдрал множество клоков из его прически. Он дремал среди смеха, шума и дыма, а за его столиком сидели какие-то люди, видимо, его друзья. Иногда он просыпался, и тогда его друзья наливали ему коньяку, он брал рюмку длинными и зыбкими пальцами и выпивал. Глаза его раскрывались, в них появлялось какое-то старинное и тонкое, мудрое озорство, и человек этот ни с того ни с сего вдруг произносил:

— А знаете, что такое вопросительный знак?

Все кругом затихали.

— Нет, не знаем... Ну... Ну... Скажи...

Люди ерзали от нетерпения и смотрели прорицателю в рот.

— Вопросительный знак — это состарившийся восклицательный, — негромко говорил человек.

Поднимался оглушительный хохот, все качали головами, жмурили глаза от удовольствия, как утонченные гастрономы, отведавшие диковинного, острого и пряного блюда. Не услышавшие остроты переспрашивали у слышавших, те пересказывали, вопрошавшие снова смеялись, жмурили глаза и качали головами и передавали дальше, и так, скачками, смех и восхищение докатывались до стойки. А виновник этой кутерьмы уже снова дремал над недопитой рюмкой, чтобы через несколько минут ошарашить товарищей новой шуткой.

— Это знаменитый человек, редкий, — сказал Жек, — душа-человек, а талантище, брат, мирового класса.

И Жек назвал мне фамилию этого человека. Я, когда услышал эту фамилию, просто вздрогнул от неожидан-

ности. Да ведь я же его знаю! Да ведь мы с ним знакомы! Это было в войну. Мы приехали с фронтовой бригадой, солдаты расселись на пригорке, до нас, до цирковых, должен был выступить поэт, он вышел, встал перед сидящими и стал читать, слегка картавя, и это были настоящие стихи, и солдаты это мгновенно поняли и насторожились всей душой. Но в это время откуда ни возьмись налетели фрицы, и они стали стрелять, и многие тогда убежали в убежище, но некоторые остались, и поэт тоже остался, он читал стихи слабым и вдохновенным голосом, и это было высокое мгновение, он дочитал под обстрелом свои стихи, и мы пошли в блиндаж, а когда спускались, он положил мне на плечо свою легкую руку и сказал: «Мальчик мой, я теперь убедился, что в этом стихотворении есть некоторые длинноты...».

Он был истинно храбрым человеком, и я тогда достал его книжки и выучил множество стихов наизусть, это были удивительные стихи, особенные, ни на кого не похожие, грустные, иронические и обладающие непонятной пронзительной силой. А теперь вот он сидит за соседним столиком, сам похожий на состарившийся восклищательный знак, и какой добрый у него и усталый взгляд. И мне захотелось подойти к нему, напомнить о том стихе на ветру под обстрелом, пожать его легкую руку и близко заглянуть в глаза, но мне показалось, что это неловко будет, и я не подошел, постеснялся.

Ужин был совсем неплохой, а улыбчивая подавальщица, видимо учитывая, что нас в зал привел сам метр, отлично, проворно и любезно обслуживала нас. Жек изо всех сил строил ей томные глаза и попридержал ее руку, когда она меняла тарелку.

— Как вас зовут?

— А разве это обязательно?

— Повешусь, — сказал Жек.

— Таней. Только не вешайтесь.

Жек сказал:

— Молодец, Танечка! Мы вам благодарность запишем.

Она отошла смеясь.

С каждой минутой в зале становилось все оживленней.

— Ну, а кого вы поставите кончать второе отделение? — спросил я у Бориса.

— Раскатовых, — сказал Борис.

— А они когда придут? — спросил Жек.

— Со дня на день ждем, — сказал Борис. — А что? Скучаешь?

— Ага, — сказал Жек, — скучаю, как собака по палке. Просто интересно, что за аттракцион. У нас многие гудят: пуля, экстра-класс, мировая затея.

Борис обратился ко мне:

— Ты что-нибудь слышал?

— Нет, Мишка Раскатов — «человек со стальными первами», я не знаю, что он изобрел, он, безусловно, может, но у него где-то в душе сидит дешевка...

— Пижон и стилига, — сказал Жек, — черный костюм, кольцо, трость — Европа, шик, блеск, «жентильмен» — белая астра, белые гетры.

— Меня от всего этого тошнит, — сказал Борис, — но все-таки он артист.

— В чем хоть номер-то? Смысл в чем? — спросил я.

— Полет под куполом цирка. Его партнерша исполняет смертельный трюк. Она, конечно, подстрахована, в ногах у нее штрабаты — новейшие резиновые амортизаторы, и когда она исполнит трюк вверху и полетит вниз, ее эти штрабаты поддержат, и все будет великолепно. Но расчет на то, что публика может подумать: конец. Смерть на манеже. При мне. Я вижу смерть. Нервных будут выносить.

— Ты про продажу скажи, про самый выход, — подсказал Жек.

— Да, — сказал Борис, — там еще всякое накручено. Будто она не хочет выходить, а он ее заставляет. Потом она не решается на трюк, но снизу раздается голос повелителя, загадочные отношения и тому подобная мурда... Не знаю, может быть, врут, сам не видел.

— Все-таки одна тысяча девятьсот тринадцатый год, — сказал я, — разит писсуаром и одеколоном.

— Погоди ругать, — сказал Борис, — дождемся, посмотрим, когда и суди!

— Это верно, — сказал я, — а то чего не наговорят. Ну хорошо, Раскатов, значит, — изобретатель трюка, автор, и постановщик, и конструктор. Сам, конечно, не летает, ну, а исполнительница? Кто такая? Откуда взялась?

— Жена его, — сказал Жек.

— Новая? Опять? А где же он ее разыскал?

— На Волге. Совсем, говорят, девочка была. Училась у него. Там из молодежи студия была на общественных началах, он стал с ней заниматься, а она очень способная. А дело он все-таки знает, вот он, пожалуйста, сделал из нее классную артистку, а потом посмотрел на создание рук своих и влюбился, а влюбился — женился. И, конечно, сразу вдохновился и взялся создавать аттракцион.

К нам за стол уселась новопришедшая компания. Их было трое, мы потеснились, и кое-как расселись.

Один из них был совершенно лысый, крутогрудый и высоченный, с маленькими зоркими глазами в красных прожилочках. Он волочил правую ногу, и в руках его была толстая палка с кривой ручкой. Когда он опирался на эту палку, она слегка прогибалась, видно, сила в нем сидела богатырская.

Он был изысканно одет и напоминал мне удачливого атамана из окружения Стеньки Разина. Я никогда не видел не только удачливых, но и атаманов вообще. Но что это был разбойник — это точно. Он все время покашливал и вертел шеей. Он совершенно не обращал внимания на окружающую его сутолоку и тем более на людей. Он был занят. Он держал в орбите внимания высокую, со смольными волосами, очень молодую и красивую женщину, пришедшую с ним.

Она была ему, что называется, под пару. В общем, в песнях про такую поют, что она разлучница, змея подколодная или еще чего похуже. Она курила сигарету, и на указательном пальце ее правой руки синело большое чернильное пятно, золотистые ее глаза затуманились, и видно, видно было, что она безумно влюблена в своего атамана и он в нее влюблен, а там — будь что будет. И я знал, что никакой он не атаман, а скорей всего начальник конструкторского бюро, а она, возможно, заведующая керамическим цехом или старший библиотекарь, но я все равно называл их атаманом и разлучницей, и тяжелая зависть ударила мне в сердце, когда я увидел этих контуженных любовью людей.

Третий из этой компании, невысокий, аккуратно причесанный брюнет, был, видимо, их ближайшим другом, добровольным опекуном и сиделкой. Он подозвал официантку и быстро и умело заказал закуски и водку. Мы

с Борисом и Жеком постарались еще немного отодвинуться от них, чтоб не мешать.

Таня мигом принесла графин довольно-таки убедительных размеров, удачливый атаман задергался и стал разливать. Самое интересное, что стопки у них были здоровенные, и что он налил всем одинаково, и разлучница, не проронившая до сих пор ни звука, хлопнула водки с таким заоблачно-мечтательным видом, что у меня запершило в горле и я закашлялся. А потом началась чистая комедия, антре, которого, впрочем, следовало ожидать. Опекун-и-сиделка снова подозвал официантку, она подошла, склонилась к нему, он что-то шепнул, она кивнула и через секунду поставила на стол три пустые рюмки. Теперь опекун-и-сиделка взялся за графин и налил во все рюмки. Мы оцепенели.

Опекун-и-сиделка встал и важно сказал:

— Друзья мои! Разрешите мне приветствовать вас всех за этим маленьким, объединившим нас столом. — Он повернулся к своим: — Я и вам говорю! Разрешите мне предложить дружественный тост за человека, чье искусство я очень ценю...

Атаману было на все наплевать, он смотрел на золотистоглазую, а она безмятежно пускала дым, придерживая сигарету своими пальцами прилежной школьницы. Однако опекун-и-сиделка не унимался:

— Мы выпьем, друзья, за весьма и весьма своеобразного художника, — пел он, — за артиста цирка Николая Ветрова, которого я давно уже сумел выделить для себя из огромной массы, которая...

И так далее, и так далее, он молотил языком, и я сначала даже немного смутился, но потом я понял, что все это, в общем, смешно и несколько не обидно. И он называл меня артистом, а мог ведь назвать циркачом; он не пододвигал ко мне широким жестом винегрет и не восклицал: «Пей, не стесняйся!» И я счел что все это даже симпатично. Но Борис и Жек еще не поняли, куда идет дело, это были люди, которые уже наслушались в своей жизни всяких «пей, не стесняйся», их тошнило от подобных выступлений, у них были мозоли на душе от покровительствующих поклонников, поэтому Борис сказал быстрым и железным голосом:

— Нет, нет. Нам нельзя пить. Завтра утренник. Работа. С утра. Благодарим вас, но нет.

— Ну да, — сказал я, — может быть, сегодня не стоит пить. Завтра воскресенье. Дети придут.

— Рассядутся горшечники, — простодушно улыбался Жек, — рассядутся горшечники в партере, квадратно-гнездовым способом, и валяй, Коля, — он коснулся моего плеча, — валяй, дядя клоун, верти на всю катушку. Какой же утренник без клоуна?

Мне показалось, что наша соседка по столу проснулась.

— Вы клоун? — сказала она. — Я так и знала. У вас голубое лицо. У клоуна должно быть голубое лицо. Впрочем, может быть, это не у клоуна голубое лицо. Может быть, у астронома. Да, скорее всего. Свет от звезд, голубое лицо астронома...

Я ничего не ответил. Бог с ней. Она видела что-то другое.

— Как вы смешно сказали, — обратился к Жеку опекун-и-сиделка, — горшечники... остроумно! Это про маленьких?

— Ага. В шутку. Любя... Вот, мол, им еще на горшках сидеть, а они уже в цирк пожаловали, они, видите ли, зрители, а мы для них—давай, работай,—пояснил Жек.

— Как это обидно, — сказал наш собеседник и взглянул на меня. — Ваше искусство такое тонкое... Что они в нем понимают, эти самые горшечники? Что они могут оценить? Мне кажется, я сейчас понял, почему у вас такое неудовлетворенное, горькое лицо... Дело, видимо, в том...

Я прервал его блеянье:

— У меня неудовлетворенное лицо потому, что мне все-таки хочется выпить, — сказал я. — Ничего, Борис, ночь велика, а выпьем мы чуть-чуть. За ночь все прогорит. Хочется выпить! А денек у меня сегодня больно богатый. Будем здоровы. Пей, не стесняйся!..

Я подмигнул им обоим — Борису и Жеку, — они рассмеялись, взяли рюмки, остальные трое тоже, и мы выпили все вместе.

— А еще у меня горькое лицо потому, — сказал я, — что я не догадался дать слабительного одной приболевшей слонихе, и сижу, думаю, как бы ее не заперло после красного вина. Она пять бутылок сегодня выпила. Так что вот чем объясняется выражение моего лица, ничем другим, поверьте.

Опекун-и-сиделка посмотрел на атамана, словно приглашая насладиться многозначительностью моих речей. Но тот не слушал нас, он плевать хотел на эти штучки, он смотрел на свою женщину, и больше ему ничего не надо было. Молодец он был, этот атаман, правильный мужик. А я? Какого черта, я здесь торчу, ведь она меня ждет, ждет, я же знаю. Надо ехать, какого черта я здесь торчу! Но прежде всего надо сделать одно дело. Ведь я выпил водки в этой компании, выпил и не отблагодарил, так у нас не водится. Я оглянулся, Таня где-то запропастилась. Я встал и пошел к буфету. На буфете стояла большая пластмассовая собака. У нее торчали клыки. Я нажал пальцами на торчащий собакин хвост. Немедленно распахнулась красная пасть, и из нее брызнула острая струйка воды, прямо мне в лицо. Старая женщина за стойкой засмеялась. Я положил собачку в карман.

— Нельзя, — сказала старуха.

— Можно, — сказал я, — очень нужно. Для ребенка.

Я положил на стойку деньги. Старуха примолкла. Я взял бутылку и вернулся к нашему столику. Тут все развернулось довольно быстро, и я не заметил, как проглотил несколько рюмок. Коньяк был отличный, и мне казалось, что я могу выпить такого целое ведро. Но это только так казалось. На самом же деле эта чертова сила уже обожгла мою душу, разгорячила кровь и ударила в голову. Во мне, что называется, захорошело. Голова моя звенела, и мне захотелось сказать мое самое главное, и слова одно за другим полетели из моего сердца. Плохо было только то, что это были заветные слова, не слова, нет, мысли, чувства, верования мои, те, которые я никак и никогда не стал бы высказывать здесь, в этой забегаловке, перед незнакомыми людьми, да и вообще ни перед кем не осмелился бы — постеснялся бы, сдержался, но, видно, что-то надломилось во мне сегодня, там, в душевой, когда я узнал, что Тая не дождалась меня, да и не дожидалась вовсе, и что теперь хочешь не хочешь, а надо было все это кончать, рвать, пусть по живому, но рвать обязательно, чтобы не потерять уважения к себе, своего достоинства, что ли, не люблю громких фраз, но без этого самого достоинства, или как там еще, как хотите называйте, я бы уже не смог работать свою работу, а ведь тут-то и сидит стержень, вот она — самая сердцевина моей жизни. Да, вид-

но, рассыпалась какая-то перегородка, осел бетон между мной и людьми, потому что я вдруг сказал такое, что еще совсем недавно не решился бы сказать ни одному человеку. Особенно меня раздражил опекун-и-сиделка, и я сказал:

— Занятно все-таки, до какой степени вы ни черта не понимаете. Вот вы сказали, что утренник — тяжелая, серая и обидная работа. Ложь, чушь, чепуха — все наоборот! Все дело именно в утреннике. Пожалуй, только из-за утренника и стоит жить. Ведь на утренник приходят дети. Горшечники? Но в этом слове только нежность, только любовь, и ничего другого. У кого найдутся силы для насмешки? Послушайте. Это старое дело, да вы, видно, забыли, затерли, отпихнули от себя это. Но вы ведь путешествовали по свету? Вы были в Освенциме? Детские башмачки видели? Ну, читали в книгах, газетах, видели в кино? Почему же вы не воете? Где памятник детям — жертвам войны? В Праге, в музее я видел на жесткой бумажке детской рукой накарябаны стихи:

Мальчик посадил цветок,
Солнце взойдет.
Цветок расцветет..
Мальчика уже не будет.

В какой печи сожгли восьмилетнего поэта? Или его подбросили в воздух и ударили с лету, как консервную банку? У меня нет детей. У меня нет собственных детей. Но все дети мира — они мои. Я не знаю, что мне сделать, чтобы спасти детей. Я не могу положить их с собой всех, обнять их и закрыть своим телом. Потому что дети должны жить, они должны радоваться. У них есть враги, это чудовищно, но это так. Но у них есть и друзья, и я один из них. И я должен ежедневно доставлять радость детям. Смех — это радость. Я даю его двумя руками. Карманы моих клоунских штанов набиты смехом. Я выхожу на утренник, я иду в манеж, как идут на пост. Ни одного дня без работы для детей. Ни одного ребенка без радости, это понимаю не только я. Слушайте, люди, кто чем может — заслоняйте детей. Спешите приносить радость детям, друзья мои, спешите работать на утренниках!

Я встал. Борис и Жек поднялись вслед за мной.

Небо было холодное и зеленое, в него неразборчиво понатыканы были мелкие-мелкие, пронзительно блестящие звезды. Они были отодвинуты в страшную недостижимую даль. Только над высотным зданием висела одинокая крупная зеленая звезда, она казалась размытой и призрачной, и, несмотря на то что на дворе было нехолодно, свет этой звезды заставил меня поднять воротник.

Мы вышли к площади и стали поджидать такси. Все молчали. Кровь еще кипела в моей голове, и поздние сожаления точили душу. Зря я так разгорячился, зачем, не надо было, они, наверно, сейчас смеются надо мной, только виду не показывают, не хотят обидеть. Нет, им не вера моя смешна, не суть, не основа, а просто мы, взрослые и здоревенные, и все, что было сказано, не нужно было говорить. Это все чувствуют и знают, с этим живут, каждый день носят с собой на работу, в трамвай, в магазин, и говорить об этом не надо. За коньяком, в ресторане, — ах, черт меня разорви совсем!

Жек сказал:

— Поздно уже.

— Маловато все же у нас такси... — добавил Борис.

— Особенно по ночам. Они в это время больше к вокзалам жмутся...

— Да, — сказал Жек.

Мы помолчали еще. Мимо нас промчалась машина, мне показалось, что это голубая «Волга». Потом много еще машин неслось мимо нас, и все мне казалось, что это «Волги», и все голубые. Все они мчались по направлению к цирку, туда, куда скоро поеду и я.

— Да, — сказал Жек неожиданно, как будто продолжая разговор. Он вынул сигарету, щелкнул зажигалкой и прикурил. — Да, — повторил он убежденно, — хорошо ты им сказал, молодец, за дело стоишь.

Он протянул зажигалку Борису.

— Нет, напрасно, — сказал я, — зря все это.

Борис повернулся всем телом ко мне, и в свете зажигалки блеснули его удивленные глаза.

— Что ты? — сказал он горячо. — Ты что? Наоборот, не зря. Надо так говорить, а то мы забываем. Чудак... Именно что... Ведь не за зарплату же ты... И Жек вот... Да и я тоже. Все правильно, Коля...

Жек тронул меня за рукав.

— Николай Иваныч, это же вы прекрасно им врезали. А то что же — циркачи не понимают? Может быть, больше других понимают... Что вы...

Он называл меня на «вы». Они оба поняли, и они не стеснялись меня, не стыдились. Они говорят, это нужно. Я прав. Значит, больше уже не нужно ни о чем говорить. Между нами все ясно, и я могу перестать казнить себя, со мной мои товарищи. Я перевел дыхание. Из-за поворота на полной скорости подошла машина, за лобовым стеклом ее горел холодный зеленый огонек, точь-в-точь такой же крупный и призрачный, какой висел над высотным домом.

Шофер отворил дверцу. Я сел рядом с ним и стал ждать, когда усядутся мои товарищи, но вдруг увидел лицо Бориса, наклонившегося к окошку.

— Ты в цирк? — спросил он.

Я опустил стекло.

— Ну да, — сказал я, — у меня там отдельная комната.

Было видно, как он улыбнулся.

— Ну и поезжай. А мы с Жеком в другую сторону.

— Так я отвезу вас, — сказал я, — садитесь.

— Мы погуляем, — сказал Жек через плечо Бориса, — воздухом подышим. А ты езжай. Завтра увидимся.

Они думали, что я спешу. Они знали — куда. И не ошиблись. Я спешил, конечно. Но ведь ни слова не было сказано. Это были мои товарищи.

Я сказал:

— Ну, до завтра.

— Привет, — сказал Борис.

Они помахали.

Я сказал шоферу:

— Самотека.

Он поддал газу.

8

Он лихо вел машину, этот таксист, лихо, виртуозно и нагло. Притормаживая перед красным зрачком светофора, он все время настойчиво лез вперед, ни на секунду не прекращая движения и выводя потихоньку машину за линию «стоп», чтобы в самый момент переключения на

зеленый вырвать ее из рядов других. Он никогда не убирал правой ноги с газа, превосходно управляясь левой на двух педалях — сцепления и тормоза, и поворачивал он, почти не сбрасывая скорости, видно совсем не думая о трущейся резине, и мчался на редких пешеходов с пугающей, неотвратимой скоростью, и было впечатление, что сейчас неминуемо произойдет катастрофа, но пешеходы, инстинктивно чуя, какая птица сидит за рулем, выпрыгивали прямо из-под колес машины. Сидя рядом с ним, я определенно чувствовал, что этот тип ни за что не раздавит человека, и не потому, что ему было бы жалко и его потом заела бы совесть. Нет, здесь был простой трезвый расчет — это ему невыгодно: из-за какого-нибудь пустячкового старичка по нашим законам его посадят за решетку, а там, конечно, не курорт. На Гагру не похоже, он это хорошо знает на собственной шкуре, — так стоит ли рисковать своей привольной жизнью? Нет, не стоит, ребята. Колесико должно крутиться, а к нам — копейке бежать. Ничего подобного, конечно, таксист вслух не произносил, но я знал, что дело обстоит именно так, уж таким наглым, сытым, все презирающим было его толстогубое лицо, изрытое буграми и лоснящееся, словно смазанное салом.

— В общем, плохо живем, что и говорить, — балаболнил таксист. Он не умолкал ни на секунду, глубоко и сочно затягиваясь измочаленной и иссосанной папироской. — Да, плохо, хуже нельзя. — Папироска перепрыгивала из угла в угол его толстого рта, и когда он затягивался, слышно было какое-то надсадное сипенье, потом он выпускал дым, и в машине трудно было дышать. Я приоткрыл ветровое оконце. Стало чуть легче. — В шоферы теперь никто не пойдет! Раз прогрессивку отменили, какой дурак пойдет? Что я, себе враг, что ли? Нет, шалишь, теперь разговор короткий: отстукал план, а там гори оно синим огнем! Проживем, не помрем. Ведь нас все-таки начаёки всегда полдержат. Начаёки от пассажиров. Что, пассажир сам, что ли, не понимает? Прекрасно понимает, он сочувствует, он всегда начаёк даст шоферу. Если он порядочный, конечно...

Он обрабатывал меня довольно долго, ему важно было втолковать мне как следует про «начаёк». Я молчал, он понял это молчание как знак согласия и решил приступить к художественной части.

— Моральный кодекс строить захотели, — сказал он с безнадежно-горькой и мудрой улыбкой уставшего борца, — а с кем, я вас спрашиваю, строить? Возьмите хотя бы директора нашей автобазы. С ним, что ли, строить? Так ведь это такой пройдисвит, с ним костей не соберешь, он тебя в два счета как липку обдерет и голым по лесу пустит. Отвозил я его летом на дачу, под Тарусой дачка у него возведена, и там у него жена и вообще родственники. Целая капелла. Жена чернявенькая такая, ничего, немножко на цыганку скидывает, работает в сети! Балуется, конечно, — это закон, меня не проведешь. Она, что ли, моральный кодекс строить будет? Как бы не так! Она — будь здоров. Она совсем о другом думает, у ней в глазах такой, извините, Мопассан прыгает, с ума сойти! А наш-то начальничек сегодня речугу на собрании толкнул. Как, значит, мы теперь отлично будем жить и как, между прочим, к делу беззаветно относиться нужно и бескорыстно, и трехразовое питание бесплатно, и, мол, это только первые признаки, а там ясные дали и перспективы, и та-та-та, и тра-ля-ля-ля, и тому подобное. Ну, наши лопухи-то, шоферня, ухи развесили, хлопают как сумасшедшие, ну, а я-то сижу, думаю: нет, брат, врешь, не может быть... Ты, значит, не пей, жи-ви бескорыстно, да только я сомневаюсь, чтобы этот Хапугин согласился кипяченую водичку пить. Убей, не поверю...

Мы проехали Самотеку и, не доезжая до Колхозной, развернулись в обратном направлении. Небольшая эта поездка уже утомила меня, шофер этот стал ненавистно-противен, и еще я подумал, что шум и хлопанье дверцы — все это может обеспокоить Таинных соседей и что лучше уж я дойду до нее пешком, приятно будет пройти по тихой, спящей улочке, ведь я давно не ходил по ней ночью, очень давно ходил, наверно, в прошлом тысячелетии, а сейчас пойду в последний раз.

— Все, шеф, — сказал я. — Стоп, машина.

— Приехали? — сказал он и выключил счетчик. — Шестьдесят копеек.

Я дал ему рубль. Он сказал:

— Угу.

Я придержал дверцу:

— Слушай, шеф. Слушай внимательно. Объявляю тебя шкурой и треплом. После твоих рассказов, понял?

Я запрещаю тебе трепаться... А теперь поезжайте, шеф. Будьте здоровы! Там на счетчике было шестьдесят копеек, я дал вам рубль. Сдачи не надо. «Начаёк!» — И я захлопнул дверь.

Машина, как кошка, прынула вперед. Только сзади сверкнул вороватый огонек, и был таков. А я остался на тротуаре, выпрямился и глубоко-глубоко вдохнул прекрасный осенний воздух. Мимо меня мчались редкие машины, они сбивались в стайки у светофоров, потом вырывались на простор и исчезали где-то там наверху. А редкие поворачивали здесь, подле меня, и я стоял, поджидал, смотрел, какая повернет, и все ждал, что это будет шикарная голубая «Волга». И это было долгое и тяжелое стояние, и надо было пересилить себя, и на дворе было теперь так благостно, что трудно передать, тяжелая крупная звезда в небе посветлела, и я пошел к ней навстречу, к переходу, и перешел улицу, и вышел на бульвар. Сбоку, справа от меня, выстроились переулки, в них призрачно сиял тот жуткий неприятный свет, свет рентгеновских аппаратов, свет, который почему-то успокоительно называют дневным. Давно я не ходил этим бульваром, давно здесь не был, но помнил дорогу очень хорошо и ни разу не сбился. Я бы, пожалуй, и с завязанными глазами добрался сюда, в этот странный, горбатый, такой несовременный переулок. Я вошел в калитку Таинного дома, свернул влево и обошел молчаливый садик из трех деревьев, со столиком для игры в домино и песочницей для ребят. Таино окно было плотно занавешено, и свет в этом окне погашен. Стучало мое сердце, я хорошо его слышал, стучало, ничего не поделаешь, а рука была мягкой и тяжелой, и мне показалось, что я с трудом ее подымаю. Я положил руку на подоконник и перевел дыхание два раза. Когда я стукнул по стеклу, тихонько, одними ногтями, свет за окном сразу вспыхнул и засиял мне, и я успел перейти к двери. Свет погас снова. В небе висела моя знакомая звезда, огромная, как камень в чалме иллюзиониста, она надменно сверкала, холодная и отчужденная, и в эту минуту, я озяб, меня трясло и знобило, а за этой дверью было тепло, там жила женщина, которая ждала меня, она теперь нашаривала ногой тапочки и снимала с крючка халат, и вот она накинула его на плечи и сейчас осторожно ступит в коридор, чтобы пройти по его ветхим половицам как

можно тише и мягче, стараясь, упаси боже, не брякнуть чем-нибудь в темноте и не обеспокоить людей.

Еле слышно щелкнул замок, дверь отворилась — на пороге стояла Тая. Она была в одной рубашке. Я смотрел на нее.

— Явился, — сказала Тая.

— Да, — сказал я, — вот он я.

— Явился, не запылится.

Она протянула мне руки из темноты.

— Иди, — сказала она. — Скорей, мне холодно тут стоять раздетой.

Я взял ее руку, и она притянула меня к себе.

9

Хорошо было хоть на минуту представить себе, что ты вернулся в родимый дом, где долго и верно ждала тебя прекрасная женщина, что ты вернулся к ней через годы и грозы и что полная мера счастья назначена тебе теперь судьбой, раз ты вернулся под эту кровлю, раз ты сюда дошел. Хорошо было идти за этой женщиной, осторожно ступая ногами, всякий раз словно ощупывая колеблющийся под тобою пол. Хорошо было идти так по темной уснувшей квартире и на маленьких и неожиданных поворотах касаться Таинного тела и чувствовать его нежное тепло и живой трепет. Хорошо было знать, что она в одной рубашке и что ты сейчас обнимешь ее и поцелуешь, и хорошо было думать, что ты долго ее ждал и дождался. Да, хорошо все это было бы, если бы не было на свете реального живого мальчишки и его беспощадной трепотни сегодня в душе, трепотни, открывшей мне правду и перевернувшей жизнь.

Мы вошли в комнату. Тая выпустила мою руку, и я боялся сдвинуться, мне чудились черные уступы и острые углы. Я сказал совсем тихо, почти шепотом:

— Где можно сесть?

Она вернулась ко мне и взяла двумя руками за плечи и подтолкнула. И потом повернула лицом к себе и нажала на плечи:

— Садись.

Я сел, и ее грудь коснулась моего лица, и сердце забилось быстро и сильно, и я услышал, как стучит в ответ и Таино сердце. Она наклонилась и прикикла ко

мне, поцеловала, и когда целовала, я подумал, что лучше бы уж она меня зарезала, и собрал свою душу в кулак, и отодвинул Таю, оттолкнул ее легонько. Я сказал:

— Подожди.

Она отошла к окну. Там тьма не была такой густой, да и глаза мои, наверно, уже попривыкли, и я смутно видел Таю, как она стоит у окна в одной рубашке. Я сидел на стуле у стены и чувствовал, как откуда-то справа на меня веет, чуть слышно тянет каким-то тихим теплом. Я протянул руку и нащупал холодящий пруттик. Это была маленькая кровать, в ней спал Вовка. И это его тепло оведало меня.

Тая стояла у окна.

— Что-то все не так, — задумчиво протянула она и закинула руки за затылок и постояла так, медленно покачиваясь. — Коля, — вдруг спросила она живо, — ты зачем пришел?

Я сказал:

— Визит вежливости.

— А-а, — протянула Тая, — вот оно что... То-то, я вижу, ты сидишь, как в театре... Ты, может быть, просто так посидеть пришел? Ну? Говори! — Она требовательно это так сказала, даже голос повысила.

Но я сказал ей строго:

— Тише. Разбудишь мальчика.

— Ах ты какой заботливый, — сказала Тая, — разбужу! Не бойся, не разбужу! Ему главное — уснуть, а там хоть из пушек пали, спит до утра на одном боку.

— Ему теперь сколько? — спросил я.

— Уже пятый, — откликнулась Тая.

Мы опять замолчали. Между нами стоял стол. Я сидел неподвижно. На столе очень громко тикал маленький будильник. Тая все-таки подошла ко мне снова.

— А я знаю, — сказала она шутливо, — я все про тебя знаю. Ты пьяный.

Я не ответил. Она засмеялась, мирно, по-хорошему, и крепко и тесно прижалась ко мне, и вцепилась в волосы, и помотала моей головой, словно таску мне дала.

— Ну, ничего, — сказала она, — бывает! В жизни всякое бывает, и не такое случается.

Что она имела в виду? Наверно, сама себя прощала — всякое в жизни бывает...

— Раздевайся, что же ты, — сказала она просто, — ведь не к чужой пришел. Ложись, отоспись... Иди сюда. — И она отошла от меня, и я услышал, как она откинула одеяло, легла и укрылась. Я еще не мог к ней подойти. Она подождала еще несколько. — Не выламывайся, — в голосе ее была какая-то словно бы угроза. — Коля, не выстраивай номеров, не надо, здесь не цирк...

Я сказал:

— Посажу и уйду.

Она приподнялась на локте и долго смотрела на меня.

— Обидеть пришел, Коля? — сказала она горячим и сухим шепотом. — Затосковал, да? В Ташкент потянуло? К своей, да? — Она говорила быстро, словно торопясь освободиться от какого-то груза, который жег ее немилосердно, она говорила быстро и зло, я знал ее в эти минуты, и так жалко, что в слабом этом свете не видел ее красивого лица. — В наездницу влюбился, она чем же тебя интересно завлекла? И как тебя Алимов там не прирезал. тебя на куски надо резать, ах, жалко, Алимов тебя пощадил. Или, может быть, он про вас ничего знает? Так я напишу, я ему быстро глаза открою, дураку! Ишь, сидит — как я не я! Приехал. видите ли, поиграть со мной, как кошка с мышкой, — голос ее задрожал, в нем послышались слезы — Два года! Два года, — она словно обращалась к каким-то окружавшим ее невидимым свидетелям, — я его жду, вот увиделись, а слово ласковое, хоть одно, где?

Ах, как хотела она, бедная, защитить, спасти наше с ней самое дорогое, самое драгоценное да, видно, не умела, не с той ноты взяла. И мне мучительно было слышать в темноте ее резкий голос, такой непохожий на ее душу, злой голос, произносивший в темноте колючие и мелкие слова, она не умела подбирать слова, и они тоже не похожи были на ее душу, ее душа лучше была и выше этих слов. Они свистели в душном воздухе и не попадали в мишень, они пролетали мимо, как говорится, за молоком, и жалость, острая и саднящая жалость к себе и к ней подняла меня с места и толкнула вперед, к Тасе. Я встал, и быстро подошел к ней, и обнял ее, и поцеловал, и сказал, что никого у меня в Ташкенте не было, и это была правда. И она, когда услышала это от

меня, то вдруг ухватилась за меня цепко и отчаянно, как будто защиты просила, и долго не отпускала меня, а я и не рвался от нее, и только когда стало рассветать, я услышал снова, как громко тикает будильник на столе...

На дворе уже кончалась ночь, пора было приходиться рассвету, и в плотно зашторенные окна Таинной комнаты втекал какой-то ослабленный серый свет. Стали видны стол и зеркало, и блестел уголок Вовкиной кровати. Тая снова закинула руки за голову, она лежала молча, у нее были нежные трогательные виски, и она смотрела куда-то вверх, и брови были сдвинуты решительно и сурово.

— Нет, — вдруг сказала она, — нет, нет. Хорошо с тобой, слов нет, хорошо, прекрасно, волшебю, а не склеится у нас, не сладится, все равно — нет.

«Правда, — подумал я, — все понимает».

Она соскочила с кровати и, босая, в рубашке, пошла и оправила что-то на Вовке. Да, права она, ничего не выйдет, пора кончать.

— Голова болит, — сказал я, — на воздух надо.

Она несколько раз кивнула головой:

— Беги, беги. Я вижу, опять потянуло куда-то. Опять бежать хочешь. А куда? Куда, от чего ты все бежишь? Что ищешь? Кого? Не ищи, все равно не найдешь. Скажи правду, соврал про Ташкент? Ведь было же? Было? Говори! Ведь я тебя два года ждала, все ждалочки изгрызла.. Ждала, ждала...

Я сказал:

— Кинь мне рубашку. — Она подала мне одежду. — Ждала, говоришь? Верно. Но ведь ты же не одна ждала?

— Что? — сказала Тая.

Я сказал:

— Ты в компании меня ждала, Тая. Поэтому тебе и хочется, чтобы у меня в Ташкенте кто-то был. А я тебе верно сказал, ты знаешь, если бы у меня кто был, я бы сразу сказал. А ты обмануть меня хочешь, а чувствуешь, что это не дело, не для нас с тобой поступки, вот и пророчишь, что, мол, у нас не сладится. Это совесть твоя за тебя говорит. И на том спасибо.

Она отступила от меня подальше.

— Ты что? Не протрезвел?

Я сказал:

— Выходи, Тая, за майора. Я тебе советую. За Лыбарзина не надо — скользкий, ты дай ему атанде, а за майора иди.

Она заплакала. Плохо дело. Я когда это говорил, я думал, что она мне по морде даст или на колени встанет, скажет, что неправда, что это все не так, не было и быть не могло. Во мне надежда жила целый день, что она мне в глаза плюнет, что я потом, когда встречу этого Славку из винеровской труппы, я все уши ему оборву, чтоб не трепался, не повторял черт знает какую чепуху. А теперь, когда Тая заплакала, закрыла лицо руками и слезы побежали уже сквозь пальцы, их было видно много, быстрых и мелких слез, — только теперь я понял, что все это правда. Может быть, следовало мне промолчать, не признаваться, что мне все известно, не затевать истории, а то ведь как черство с моей стороны получается, ведь и ей небось горько сейчас. И когда я про себя пожалел ее, я понял еще и то, что она живет в моей душе и долго будет еще жить, что она, может быть, часть меня самого и не скоро я сумею отделиться от нее, от этой части, и посмотреть на нее чужими глазами, и что теперь началась в моей жизни новая дорога, которая, может быть, будет потрудней всех других, по которым я ходил в этой жизни. Но так уж случилось, так выпало, так стасовалось, и теперь все. Ты ступил на эту дорогу. Иди же!

Я встал и подошел к Вовкиной кровати. Оттуда по-прежнему тянуло теплом детского тела, мальчишка лежал, отвернувшись к стенке, круглая, складная его головка темнела черной перчинкой на белой подушке. Я нагнулся и понюхал его волосы. Они пахли свежим июльским сенцом. Я прикрыл открывшееся Вовкино плечо, прикрыл его всего плотно, по шею. Когда я нагибался, услышал, как что-то брякнуло в кармане, и вспомнил, вынул пластмассовую собачку, купленную в ресторане и положил к Вовке на одеяло.

Таинственный это был ребенок, что-то вроде Железной Маски. Хотелось бы мне с ним познакомиться. Подумать только, я всегда видел его только спящим, ведь я приходил сюда по ночам и уходил на рассвете и всегда видел только круглую точеную детскую головку на белой подушке, слышал чистое дыхание, ощущал тепло

его тела, а глаз не видел, голоса его не слышал, как ходил он, не знал, и жалко мне было. И сейчас я положил свою руку в Вовкину ладонь, чтобы проститься с ним, и пожал эту незнакомую ладонь. Он не проснулся, нет, только пошевелился, положил щеку поудобнее, и все-таки я ощутил почти неувловимое, ответноежатие — он спал и пожал мне руку во сне. Что ему снилось сейчас? Кто ему снился?

Тая сказала от окна:

— Тебе кто все это расплел? Кому я спасибо-то должна сказать?

Я сказал:

— Я пойду сейчас.

Она подошла ко мне, и странная у нее была походка. Боялась она меня, что ли? Очень униженно она шла. Я обнял ее за плечи. Она подняла ко мне лицо. Глаза ее были прикрыты.

— Что ты хочешь, скажи, — сказала Тая. — Я все сделаю.

— Славная ты, Таюха, — сказал я, — а я, брат, тяжелый человек. Характер очень у меня тяжелый, не годится никуда.

Глаза у нее все еще были зажмурены, и веки дрожали, словно она все-таки думала, что я прибую ее, и все у нас будет, как у людей.

Будильник все еще тикал на столе.

Я сказал:

— Проводи.

Она встрепенулась и снова взяла меня за руку. Я сжал ее горячие пальцы и пошел за ней. В квартире по-прежнему было тихо. Никто еще не просыпался. У дверей Тая слегка замешкалась и тихо, не звякнув, отперла замок. Она медлила отворять, — видимо, считала, что не все еще сказано. Я молчал. Потому что сказано было все. Тогда она припала ко мне, ненадолго, наспех, и спросила:

— Совсем?

Я не ответил ей, толкнул дверь и вышел на волю.

Звезда все еще стояла на большом, уже начинающем светлеть небе. Она только немного переместилась вниз и

направо, но была такая же колючая и льдистая, в мелких нестерпимо сверкающих лучиках — оцетинившийся небесный еж. Тихо было в переулке, он был как заколдованный в этом звездном свете, спящий, зачарованный, оцепленный кривыми ветками деревьев, протянувшими свои темные руки над маленькими крышами. Гулко стучали мои каблуки по асфальту. Когда я преодолел переулочный горбик и кривая резко пошла вниз, мне пришлось прибавить шаг, и сторожкая тишина взрывалась моими шагами, как пистолетными выстрелами. Я шел по улице, измотанный до предела, и душе моей было жестко, смутно, безрадостно. На пустынном, безлюдном бульваре ветер шумел в листьях и ворошил, взметал на дорожках скрипящую едкую пыль. У остановки троллейбуса стояла небольшая группа парней в коротких плащах, сигареты тлели в их мальчишеских ртах. Они негромко разговаривали о каких-то шлакоблоках, и когда я проходил мимо, замолчали, как по команде. По их лицам видно было, что я выгляжу вроде как чокнутый. Впереди, у далекого светофора, уже сбегались первые стайки автомобилей, дорога была похожа на хлебный ломоть, и задние фонарики автомобилей покрывали этот ломоть красными икринками. Постепенно я согрелся, шел быстро и минут через десять пришел к цирку.

В проходной было тепло, пахивало керосином и какой-то едой, и когда скрипнула отворенная мной дверь, тотчас же в вахтерской комнатухе растворилось оконце и в него выглянуло сморщенное и подкрашенное личико Норы, цирковой артистки, состарившейся на манеже, старинной моей приятельницы, деятельной, разумной и веселой женщины, когда-то принадлежавшей к самой что ни на есть цирковой верхушке. Благодаря этой принадлежности к высшим сферам Нора была очень требовательна к людям, и далеко не всякого она одаривала своим расположением. Я же был сыном ее любимой подруги, и со мной Нора вела себя «на равных». Сейчас она посмотрела на меня своими пронзительными бравчиками и сказала тревожно:

— В чем дело? Здравствуй, с приездом. Что с тобой?

— Я разбудил вас? Ни в чем не дело. Все нормально.

— Иди ко мне, — сказала она, — я не сплю на дежурствах. Вообще мне кажется, что я никогда не сплю. Читаю сию. Иди сюда, посиди немного. Где ты шлялся?

Я сказал:

— Гулял.

— Ну и ну, — она покачала головкой, — где так гуляют? Сломишь голову, смотри, у тебя такой вид, словно тебя живого пилой пилили.

— Обойдется.

И я вошел в ее маленький чулан. Мне с ней было просто и спокойно, как-то по себе. И вахтерка эта, котушок, и покрытая ватным лоскутным одеялом скамья, и сама тетя Нора — все это было кусочком цирка, ну а цирк был мне дом родной. Здесь в этот поздний или, может быть, ранний час (старые ходики висели на гвозде с подвязанной к гире ложкой; они показывали сорок минут пятого) было тепло и тихо, рядом со мной сидела добрая, чудная старуха, мой верный товарищ, артистка с переломанным крестцом, и я повалился на бок, на одеяло, и вытянул ноги, и она тотчас подставила мне под них табурет. Я прикрыл глаза.

— Грина вот сию читаю, — сказала Нора негромко. — Я так: я дочитаю его книжку, закрою, переверну, снова открою и опять читаю. Не надоедает.

— Дай чаю, — сказал я, — если есть. Да, Грин не может надоесть.

Нора копошилась у покрытого газетой стола. Она сняла крышку с большого синего чайника.

— Я недавно смотрела кинокартину «Алые паруса», — сказала Нора. — Может, тебе крепкого заварить?

— Не засну тогда, — сказал я, — а надо поспать. Ну, ходила ты, значит, на «Алые паруса»...

— Да, — продолжала она, — ведь это ужас. Знала бы — ни за что не пошла. Все, что я внутри себя видела, когда читала, все это просто осыпалось как-то, оползло. Я не могла все это видеть, хотелось защитить то, свое. Я стала глаза закрывать, чтоб не видеть, а потом и вовсе сбежала. Нет, так нельзя. Не теми руками делали, — добавила она убежденно. Потом еще добавила: — Да я и вообще против этого...

— Против чего?

— Да против того, чтобы самые лучшие книги в кино ставили. Вот Чехова «Дом с мезонином» и «Даму с собачкой». Ведь жалко, понимаешь, жалко! Ведь я себе все не так представляю! И обстановку, и природу, и лица, и глаза, и голоса, и даже движения. Ведь это так у всех. И всем, по-моему, должно быть жалко, что все это в кино обязательно перекорежится... Или вот: артистка играет. Она, конечно, молодая, и красивая, и в моду вошла, но ты пойми — она вчера Каренину сыграла, а сегодня она Дездемона, а завтра Кроткая из Достоевского, а в «Кинонеделе» уже пишут, что теперь она снимается в кинокомедии «Заведующая булочной». Куда это годится?.. Тебе с сахаром?

— Ох, строга, тетя Нора, — сказал я.

Она сняла кружку с плитки.

— Погорячей, да?

— Нет, — сказал я, — это еще что за новости! Я не люблю. Теперь пусть стынет. Опять надо ждать.

Я снова закрыл глаза, а она, немного озадаченная, засмеялась ласково и хрипло.

— Капризы... — сказала Нора, — ему еще не нравится. Ох, забаловали тебя, Коля, бабы.

— Ты в уме? — сказал я. — Не стыдно тебе, старуха? Что это ты несешь? Когда это меня баловали бабы? И вообще, где они, эти бабы? Что-то не видно!

— И хорошо, что не видно, — горячо подхватила Нора. — Я сама баба, а баб не люблю. Ты, Коля мужик, и ты, конечно, вправе, ты можешь крутить романы, но я тебе скажу: тебе друга надо одного-единственного, ты большой артист, самый человеческий клоун, и тебя все эти романы будут держать, иссушат душу, растреплют тебя всего, как мочалку изжуют, тебе, говорю, друга, друга надо, женщину-друга.

— Ты мой друг, — сказал я, — и все! Вполне хватит, по горло сыт. Дай-ка мне, друг мой, женщина, чего-нибудь пожевать. И не заводи спасительных разговоров со мной больше никогда. Понял — нет?

— Понял — да! — сказала Нора. — Съешь с сыром?

— Ни в коем! — сказал я.

— Вот есть полбублика, — сказала она, — возьми...

Я взял, а она села у стола, облокотилась и подперла маленьким кулаком свое сморщенное личико, и подведенные ее глазки прикрылись какой-то тонкой пленкой,

как у старых птиц, она смотрела прямо перед собой, и я не знал, спит она или нет, тетя Нора, и я пил ее чай, и жевал ее черствый бублик, и вспоминал далекое время, когда я был маленьким и мы жили в Полтаве, были живы отец и мама, и тетя Нора приходила к нам в гардеробную в розовом трико, туго натянутом на точеные ее ножки, и вся она была осыпана цирковыми драгоценностями из стекла и фольги, блески сверкали на ее груди, тогда она была совсем еще молодая куколка, и они с моей мамой смеялись, и болтали, и грызли орехи, и орехи щелкали на их зубах, это были звонкие выстрелы, как из пистолета, и вырастали горки ореховой скорлупы. И я всегда просился сам убирать эти скорлупки и говорил стихи: «А орешки не простые, все скорлупки золотые», и приходил отец с манежа и размазывался перед зеркалом, и все косился на молодую куколку своим цыганским злым глазом; вот кто любил женщин и кого они тоже любили. — это батя мой Иван Николаевич, и когда мама замечала эти его взгляды на Нору, она начинала смеяться еще громче, и мне слышалась в раскатистом этом смехе некоторая принужденность. И потом помню, как к нам зачастил бесстрашный капитан Сантино, он был смелый и дерзкий человек и работал с пантерами, а когда он видел Нору, он сразу становился шелковый, и большие его прекрасные глаза, обведенные какими-то тонкими тенями, становились грустными, и даже победный его нос повисал как-то очень жалостно, и я знал, что он просит тетю Нору поехать с ним в его родную Италию, но тетя Нора сказала ему, что она еще очень молодая и не поедет в Италию, а через некоторое время вышла замуж за рослого Сашку Пермитина, ассистента этого самого бесстрашного капитана Сантино. И капитан был на их свадьбе и плакал, и Сашка плакал, и тетя Нора тоже, а потом они с Сашкой стали репетировать, они целый год репетировали, и они стали называться мировыми снайперами — сверхметкими стрелками, объехали всю Россию и пользовались большим успехом. А капитан уехал в свою родную Италию, и там его все-таки растерзали эти подлые пантеры. И его ассистент дядя Саша бросил тетю Нору, и никто не знает до сих пор, что у них там вышло, просто тетя Нора снова стала работать одна и работала всю свою длинную, долгую жизнь, работала безупречно, всегда пользовалась

успехом, но говорили, что ей очень полюбилось красное сладкое вино и это помешало ее работе, потому что она пила его слишком много. А в войну тетя Нора всегда стояла на крыше, дежурила, учила ребят тушить зажигалки и всегда палила вверх из своего ружья, все хотела сбить вражеский самолет. И когда нас отослали из пионерлагеря в эвакуацию, на Магнитку, там было голодно, и Нора била голубей, всех, наверно, в городе перебила голубей, и раздавала их артистам, на подкормку... А сейчас я уже давным-давно взрослый и скоро буду просто пожилой, и вот я сижу у нее в вахтерке, и я разбит сейчас душой, и Нора дремлет, и обута она в мужские ботинки, и какие-то кривые чулки сползают с ее высохших ног.

— Еще налить, выпьешь?

Она была готова кормить и поить меня, лишь бы я не уходил.

— Все, — сказал я, — спасибо тебе, напоила.

— Ты не думай, — сказала она, словно решившись, — не так страшно — синее лицо, а так, в общем, все равно симпатичный. Я думала — гораздо хуже.

Ах ты, тетя моя Нора.

Я сказал:

— Я привык, что ты. Пустяки. Ты прости меня, что я раньше к тебе не пришел. Завертелся. Там у меня плавок для тебя, в общем, он ничего, он большой и мягкий и с этим... как его... с начесом! Я не успел распаковаться как следует, так что я тебе завтра отдам, ты извини.

Мне было неловко видеть, как она покраснела и отвернулась, стараясь скрыть удовольствие.

— Зачем тратишься? — сказала она.

Я погладил ее морщинистую лапку.

— Ну, пошел, досплю.

— Иди, — сказала она. — Разбудить?

— Я сам.

— Часа два тому назад раскатовский багаж пришел, — сказала Нора, — десять ящиков огромных, завтра подвеска, послезавтра репетиция.

— Вот и славно, — сказал я. — Конец второго отделения на месте. Они где остановились?

— В цирке. В большой гардеробной. Им кровати поставили, все честь честью.

— Ну, ну, — сказал я.

И я вышел от Норы и прошел двором, и когда шел, чувствовал себя таким старым, еле ноги волочил. А что, молодой, что ли, скоро сорок, старый, он и есть старый. И я вошел в цирк и, шаркая подошвами, побрел на конюшню. В огромном здании цирка было непроглядно темно, я пошел чуть ли не ощупью. Вскоре немножко забрезжило, одинокая «экономная» лампочка почти не освещала конюшню. Но я знал, где выключатель, нашарил его, прибавил свету и пошел к Ляльке. Я прошел мимо аккуратно составленной пирамиды ящиков, новеньких и еще не грязных, на них было написано — на каждом: «Раскатов!» Меня насмешил этот восклицательный знак, я обогнул ящики, там, в конце конюшни, спала больная слониха, я шел к ней.

Видно, суждено мне сегодня было и радость пережить. По закону справедливости. А то что ж на человека так наваливаться, брать за горло и бить под вздох? Надо дать человеку передышку, воздуху надо дать ему глотнуть. И этот воздух дала мне Лялька. Ведь я воображал, что эта несчастная спит под своим сеном, дрожит и зябнет, и тяжелые хрипы в ее груди делают свое страшное дело. Ничуть не бывало! Слониха встретила меня, стоя на ногах, с весело и задорно приподнятым хоботом, она покачивалась взад и вперед, словно разминая уставшие мышцы и перегоняя застоявшиеся ведра крови по всему могучему и здоровому своему телу. Увидев меня и сразу признав, Лялька торжествующе трубанула, и, наверно, в эту минуту многие в ужасе заткнули уши — и животные и люди. Я подошел к ней, и слониха обняла меня хоботом за шею и притянула к себе, от нее пахло сеном и цирком, и я обнял ее, широко раскинув руки, чтобы побольше захватить необъятного ее лица. Мы так постояли немного, обнявшись, потом Лялька повернула меня к себе спиной и несильно толкнула вперед. Я вспомнил про булочки и поглядел на пол, куда положил их вечером. Булочек не было. Ни одной. Я оглянулся и сказал:

— Ай, браво! Все съела?

Лялька не обратила на этот вопрос никакого внимания и снова хоботом толкнула меня. В чем дело? Я не понимал ее и поглядел в ту сторону, куда двигала меня Лялька. Оттуда шел какой-то запах. Я сделал несколько шагов и увидел ларь. Вот оно что! Я сразу все понял

и открыл ларь. Он был доверху набит свеклой и морковью. Эта чертиха хотела есть! Она была здорова и хотела есть! Как я сразу не догадался! Я набрал корма и стал таскать его и складывать у Лялькиных ног. Она занялась едой. Все было в порядке.

Я пошел к себе.

11

Моя гардеробная была без окон. В ней было совершенно темно, но я не стал зажигать свет, я и так отличным образом нашел свою постель. Цирк еще спал, тишина владела цирком, и только изредка ко мне сюда доносилось легкое весеннее погромыхивание, словно не-вдалеке собиралась освежающая первая гроза и для начала рассыпала по небу, раскатывала над полями первые громовые шары. Но это было не так, сейчас стояла осень, осенью гроз не бывает, и я отлично знал, откуда эти мощные звуки, долетающие сюда, под крышу, я знал, что это Цезарь, царь зверей, старый, с plombированными зубами лев плохо спит, мучимый ревматизмом, и что сейчас цирк — там было тепло и там у него осталась одна знакомая, большая астмой сторожиха. Он тосковал по ней.

Я положил руки под голову, и уставился в темноту, и приготовился не спать, потому что, как ни верти, а сегодня произошел наш с Таей разрыв, и это, видно, нелегкое дело. Она была дорога мне, иначе с какой бы радости я, как дурак, вел совершенно чистую жизнь около двух лет? Может быть, я ее выдумал, всю ее, с головы до ног, и любовь свою к ней выдумал, и уж наверняка я выдумал ее, Таину, любовь ко мне. Ведь она-то, оказывается, жила нечисто, и не ждала меня, и майоры возили ее на своих машинах, да-да, майоры, ведь не обо всем же на свете может знать пятнадцатилетний мальчишка, у одного майора «Волга», и он его знает, а другой, может быть, берет такси, а четвертый пешочком, а Лыбарзин норовит в кабачок, послушать, как оркестр «дует стилиажку». А я-то себя настраивал, и перестраивал, и мучил, чтобы быть достойным ее, а сейчас вот пробыл у нее, а потом ушел просто так, переставляя ноги, самым обыкновенным образом, и не умер, и не было инфаркта и каких-то невыносимых сожалений. И если

бы я хотел честно посмотреть в самого себя, то я бы, может быть, многое увидел, но я не хотел честно смотреть, я уклонялся, и все потому, что боялся там, в себе, увидеть, что ничего не испытываю, кроме обиды, — обманули такого хорошего парня, и уже если совсем честно, тогда так: я чувствовал, что мне после всего, что случилось, после того, как я ушел от Таи и побыл один, уже зная, что нашей с ней жизни конец, — после всего этого у меня словно полегче стало на душе, словно расковали меня, отвязали от дерева, ошейник сняли. Это было новое чувство, такого не было до сих пор, и оно доставляло наслаждение, странное и острое, какое бывает, когда стукнешь руку или ногу о барьер, потом сидишь за кулисами, а оно проходит. Больно-то оно, больно, но проходит. Да, мальчишка я все-таки, старый, седой, а все-таки мальчишка, вот обрадовался, что на свободу вырвался, а дело-то в том, что у тебя просто никак не складывается, не устраивается то, что люди называют личной жизнью. И тебе остается только ожидать чуда. Тебе остаются сказки, в которых ты столько раз представлял шутов и скomorохов, сказки, в которых под звуки серебряных фанфар появляется Удивительная и Небывалая, Золотоволосая и Синеглазая Любовь. И тебе, дураку, пока ты сейчас один лежишь в своей комнате и вокруг темнотища и ты не можешь даже в зеркале увидеть свое покрасневшее уродское лицо, — вот только здесь и только сейчас тебе разрешается вообразить себе, что сказки иногда превращаются в явь, происходит редкостное чудо — и Синеглазая и Золотоволосая Любовь найдет тебя на конюшне и протянет к тебе руки, и ты, увидев ее, сразу узнаешь. Это я уже засыпал, а ведь думал не спать, а вот поди ж ты — засыпал, несмотря ни на что, самым бесстыдным образом, а где-то внизу взревывал тоскующий лев, мучимый старческой бессонницей, потомственный артист цирка, самый настоящий заслуженный артист республики из отряда хищников.

Да, это я засыпал, и в моей голове закружились и смешались разные обрывки из детских представлений, елочных спектаклей и цирковых пантомим, и мгновеньями я снова просыпался и вспоминал, что Таи уже нет в моей жизни, совсем нет, как и не было, былем поросло, а такое горячее было место в сердце, такое живое. И теперь я не буду ходить в буфет, не буду искать ее и не

буду знать, думает ли она обо мне, плачет ли. Пускай она поплачет, ей ничего не значит... Представления пойдут одно за другим, я так и останусь жить в цирке, ни в какую гостиницу не поеду, здесь я ближе к своей работе, к своей клятве манежу, это как объятие, лучше дать его разрубить, чем самому добровольно разжать руки. Высший смысл моей жизни, — я говорил о нем сегодня в ресторане, — вот в этом смысл моей жизни. Сегодня и Ежедневно. Я надеваю парик, иду в манеж, дети смеются, я снимаю парик, иду в душ, сорок минут перерыва, я надеваю парик, иду в манеж, дети смеются — и в этой железной мерности есть то высокое, что делает меня Человеком среди Людей. Сегодня и Ежедневно встают к пылающим и гудящим печам сталевары, Сегодня и Ежедневно выходят на вахту матросы, Сегодня и Ежедневно тренируются космонавты и припадает к окуляру телескопа голубой астроном. Сегодня и Ежедневно состоятся первые роды, и последние строки стихов дописываются Сегодня и Ежедневно.

Сегодня и Ежедневно идет представление на выпуклом манеже Земли, и не нужно мрачных военных интермедий! Дети любят смеяться, и мы должны защитить Детей! Пусть Сегодня и Ежедневно вертится эта удивительная кавалькада радости, труда и счастья жизни, мы идем впереди со своими хлопучками и свистульками, мы, паяцы и увеселители. Но тревога все еще живет в нашем сердце, и сквозь музыку и песни мы кричим всему миру очень важные и серьезные слова:

— Защищайте детей! Защищайте детей!
Сегодня и Ежедневно!

12

Под дверью кто-то долго возился и царапался. Я протянул руку и зажег свет.

— Коля, ты спишь? — сказал кто-то робко.

Это Нора. Бойтся, чтобы я не проспал. Я сказал:

— Кошмарная ты все-таки дама, тетя Нора, я же сказал, что я сам. Входи.

Она вошла, немного смущенная.

— Лежи, лежи, — сказала она, — я пришла тебе сказать именно, чтобы ты спал спокойно. Утренник-то отменили. Скоро подвеска начнется — аппаратуру Рас-

катовых будут вешать. А завтра ихняя репетиция, а уж потом и начнем новую программу. Так что ты спи, выпайся. Я пойду. Теперь послезавтра моя смена, увидимся. Будь здоров.

И так же смущенно, как пришла, она направилась к двери. И ни взглядом, ни словом не напомнила. Но я-то помнил.

Я сказал:

— Тетя Нора, стой! Вот так и стой. Не оборачивайся. Я тебе что-то скажу!

Она остановилась и стояла ко мне спиной у самой двери. На ней старенькая жакетка была. Я открыл чемодан, достал тот платок и кинул ей на плечи. Я сказал:

— Носи на здоровье.

Приятно, когда так радуются. Она обернулась, и вся зарделась, и быстро в него закуталась, роскошными такими движениями, вроде она графиня, а этот платок — соболевый палантин. Конечно, она тут же кинулась к зеркалу и вся словно помолодела лет на тридцать. Я, разумеется, не преминул:

— Очень идет. Просто на редкость. Чтобы вещь настолько была к лицу! Ай-ай. Просто я тебя не узнаю. Разрешите представиться. Вы, случаем, не Симона Синьоре?

Она сказала:

— Ну, спасибо.

Я сказал:

— Угодил?

— Еще как, — сказала она. Видно, ей хотелось меня поцеловать.

Я сказал:

— Ну, сна теперь уже не будет! Надо умываться! Так послезавтра увидимся? Приходи меня смотреть!

Она сказала:

— Обязательно!

И когда она проходила, я взял ее за плечи и тихонько сжал. Она сказала:

— Пусти, задушишь.

Улыбнулась счастливо и ушла.

А я оделся, привел себя в порядок и пошел в цирк. Напряженный, горячий денек предстоял сегодня всем артистам, нужно было распаковаться, прорепетировать, отгладить костюмы, приготовиться к манежу, договорить-

ся о своих особых «условностях» с Борисом, потолковать с электриком, занять гардеробную или место в ней, объяснить работу униформистам — в общем, сделать тысячу тысяч дел, таких мелких и таких важных, таких спешных и неотложных. И едва только я вышел из своей комнаты, меня тут же охватила эта бодрая, деятельная и рабочая атмосфера утреннего цирка, к которой я привык с детства и которую так любил. Уже на лестничной площадке я увидел, как разминалась Валя Нетти, это она делала что-то вроде утреннего класса, костюмчик на ней был самый неказистый, и вся она без грима была худенькая и мокрая, и работала она насмерть, не щадя себя, держась за перила лестницы попеременно то левой, то правой рукой. Увидев меня, она улыбнулась и помахала мне, и я не стал ей мешать, ответил ей и пошел в манеж. Занавески обе были раздернуты, униформисты сновали в разные стороны, взлаивали чьи-то собачки, лягали какие-то никелированные столбики, кто-то кому-то что-то кричал, кто-то ругался, поминутно вспыхивал то красный, то синий, то зеленый и белый свет—это проходили партитуру эффектов засевшие в своей кабине электрики. В манеже сегодня было особенно шумно, потому что прорепетировать в манеже всегда лучше, чем в коридоре, а манеж редко бывает свободным; и хитрый Борис разрезал невидимым ножиком арену на точные дольки, как в конфетной коробке, и в каждой такой дольке артист репетировал, и повторял, и гранил, и шлифовал свой ответственный трюк. Да, здесь сейчас много артистов нашего всемирно прославленного цирка. Эти люди слышали горячие аплодисменты на аренах всего мира. И я знал, что я равноправный в этом горячем братстве, это поддерживало меня, помогало мне! Люди встречались, здоровались и окликали друг друга, и все это, вместе взятое, удивительно напоминало мне Запорожскую Сечь: «А, это ты, Печерица! Здравствуйте. Козолуп! Здорово, Кирдюг! А что Бородавка? Что Колопер?»

Ей-богу, было здорово похоже!

— Ну, как там сборы?

— А как вы проходили?

— Ты не встречал Валези?

— У Маляренко умерла шимпанзиха!

Мимо меня пробежал совсем запарившийся Борис.

Он сказал:

— После, когда кончится эта шебурда, найди меня.
Не пропадай.

Я сказал:

— Ладно, — и пошел к форгангу и встал, опершись, плечом о стойку. Я хотел посмотреть на работу.

Слева от меня, на местах, сидел высокий и седеющий, похожий на мексиканца из ковбойских фильмов человек. Перед ним стоял юноша в светло-сером костюме. У него был абсолютно не цирковой вид, особенно не нашими казались прямоугольные стекляшки пенсне, каким-то чудом держащегося на пипочке-носике юноши. Мексиканец же этот был популярным у цирковых артистов человеком, это был режиссер Артур Баринов, умница и насмешник, и сейчас в этом шуме и гаме он занимался со специально приглашенным драматическим артистом, который должен был читать монолог перед началом программы, — Артур был специалистом-постановщиком этих прологов, или, как говорят в цирке, парадов.

— Ну! — сказал Баринов. — Читайте текст.

— Сейчас, — сказал драматический артист; он встал, откашлялся и душевно прочитал:

Пусть солнце нашей дружбы вечной
Льет на арену яркий свет!
Примите ж наш привет сердечный,
Наш артистический привет!!!

Сколько помню себя в цирке, всегда в прологе читают такие кошмарные стихи. Можете их заказать Мискину или Зименскому, начинающему Кускову или академику Сольскому, все равно стихи для парада будут бутфорские, неживые, гремящие и фальшивые, прямо не знаю, в чем тут дело, просто заколдованное место.

Сейчас Артур учил молодого артиста искусству чтения стихов.

— Ну кто так читает? — спрашивал он, нещадно шепелявя. — Вас не слышно! Когда читаешь в цирке, нужно орать! Понимаете — орать! И вертеться нужно вокруг себя: потому что те, кто сзади вас сидит, они тоже платили деньги! Цирк-то круглый. — Юноша опять прочитал несчастные стихи, и опять Артуру не понравилось. — Кто вас учил?! — закричал он, и в углах его шепелявого рта сбежалась пена. — Где вы учились, я вас спрашиваю?

Молодой человек холодно посмотрел на него. Из глаз его сочилось презрение.

— Я учился во МХАТе, — надменно сказал юноша.

— Это звучит драматично, — сказал Артур. — «Я учился во МХАТе!», «Я убит подо Ржевом!». Ну, ничего, не горюйте! — ободрил его Артур. — Здесь вас научат настоящему делу.

Я отвернулся от них и стал смотреть в манеж. Там репетировал сальто на ходулях молодой Конойко. Это трюк исключительной силы, и по-моему, я никогда такого не видел. Он повторил его несколько раз, и всякий раз безошибочно, точно, все выходило как нельзя лучше, ни разу не сорвался, и красивый какой парень, все вместе просто блеск. Лучшего и не надо. Конойко ушел спокойно и деловито, нисколько не рисуясь. Он прошел мимо Васьки Горюнова, тот стоял в «мертвой точке» — на левой руке, и Конойко сказал что-то Ваське, и тот ему ответил, а что, я не расслышал. Васька вот так, на левой руке, может, пропрыгать на Центральный телеграф и обратно — это признанный чемпион жанра. Где-то слева репетировал Лыбарзин, видно, ему хотелось подтянуться, он кидал семь шариков, и у него даже иногда получалось. Хотя все-таки часто «сыпал», и мне смотреть на него все равно было тошно. В самой его манере есть что-то тошнотворное. Убейте меня, а есть. Прав «Пензенский рабочий».

Я отвернулся и увидел дедушку Гарри. Он вышел в каком-то полувоенном пиджачке и в валенках, держа в одной руке лонжу, а в другой — ручку своей маленькой внучки Сони. Дедушка сел на барьер, как садятся в деревне дедушки на завалинке, быстро и по-хозяйски деловито снял с девчушки платице, она осталась в детском трико. Затем дедушка опять очень сноровисто и ловко захлестнул лонжицу вокруг Сонечкиной талии, широко раздвинул ноги, уселся поуютнее и сказал:

— Алле!

Девочка стала крутить арабское колесо в таком темпе, что я глазам своим не поверил и пошел к ним и стал за спиной дедушки. Нельзя было даже разглядеть ее тельце, она вертелась, как спица в велосипедном колесе, такая маленькая! Это не по годам, ведь надо же и мускулы для этого иметь, а она вертелась как огонек, мелькала, как белочка, гибкая и ловкая. Дедушка сказал:

— Ап!

Сонечка остановилась. Личико было у нее напряженное, но она улыбалась. Во что бы то ни стало. Она понимала, что она артистка, и она, хоть умри, а должна улыбаться.

Я сказал:

— Ай, браво!

Дедушка Гарри обернул ко мне свое доброе монгольское лицо. Увидев меня, он сказал удивленно:

— Коля? Ты?

— Я вчера приехал. Ну и девчонка у вас! Люкс!

Он сделал равнодушное лицо, отстегнул девочку и сказал ей:

— Ступай, отдохни. — И когда она убежала, укорил меня: — Нельзя. Не балуй. Испортить — две минуты.

Я сказал:

— Надо же приободрить.

— Без тебя знают, — сказал он с неудовольствием. — Ну, как дела? Ты из Ташкента? Что там?

Я сказал:

— Все хорошо. Только старому Алимову Каурый руку откусил, кисть.

— Знаю, — сказал дедушка Гарри, — это уже полгода известно. Остывшие новости.

Он помолчал, пожевал губами и заявил:

— Хорошему человеку не откусят...

Не любил старика Алимова наш дедушка Гарри. Он у него в молодости берейтором служил, и, говорят, Алимов здорово затирает дедушку, не выпускал его в манеж, хотя дедушка был серьезный дрессировщик, почище своего хозяина. Далекая это была история, а вот, поди ж ты, еще горела обида в сердце дедушки, тлела под пеплом годов и сейчас дала искру, и я хотел было засмеяться, но не такое было лицо у дедушки, чтобы смеяться, и я сдержался. Мы еще побеседовали с ним о том о сем, но мне не сиделось, мне все хотелось найти Бориса и условиться о моем номере окончательно, и я совсем уже собрался идти, но тут ко мне подскочила сама наша огромная Аму-Дарья — она закончила здесь свои выступления и уезжала не сегодня завтра. Огромная женщина, центнера полтора, не меньше, она подбежала и сунула мне свою мужественную руку. Мы не виделись с ней года три, но для Аму-Дарьи это было не важно, она затре-

щала, как будто мы ни на минуту не расставались с ней, прямо с ходу:

— Коля, очень хорошо, что я тебя встретила! Коля, ты возьми общественное поручение: здесь нужно усилить культработу. Коля, это безобразие! За два месяца, что я здесь пробыла, ты не поверишь, Коля, я знаю, но это правда, даю слово: здесь не было организовано ни одной лекции по эстетике. Коля, так нельзя! Мы артисты, Коля! Мы передовой отряд советской интеллигенции. Коля, обещай! Ты нажмешь, ты возьмешь их за горло, кровь из носа, а лекции и экскурсии должны быть! Коля, да? Коля?

— Ладно, прослежу, — сказал я.

— Вконец замоталась, — сказала Аму-Дарья, вновь устремившись куда-то, — у меня еще сто дел — конец света. Пока.

И она исчезла, а я подумал, что теперь увижу эту чудачку сравнительно скоро — еще годика через два, если не через три.

— Вот, — сказал дедушка Гарри, — совсем недавно, на самаркандском базаре, в дырявом балагане у нее был оригинальный номер. Какой-то байбак палил в нее из пушки, и полупудовые ядра шлепались об ее спину, как груши об матрас. А теперь подавай ей эстетику, без эстетики эта интеллигентка сдохнет.

— Люди растут, дедушка, — сказал я старику, — люди растут, и наша Аму-Дарья вместе с ними. Не по дням, а по часам.

— Да, — сказал дедушка Гарри, — да ты прав.

И он медленно и печально закрыл глаза. Ему, наверно, уже больше восьмидесяти было, и вот из-за этого он и грустил. Я извинился перед ним, простился, еще раз похвалил внучку и пошел к Борису.

13

Инспекторская комната у самого выхода в манеж, пять ступенек книзу, то ли ромб, то ли параллелограмм, столик, стулик, телефон, вешалка, зеркало, и все. Борис сидел за столом, рядом с ним Жек, и, облокотясь на столик, стоял Башкович. Они все трое подняли головы и смотрели, как я спускаюсь. Борис сказал:

— Посиди еще немного, вот сейчас программу утрясем.

Жек улыбнулся мне, а Башкович подошел и пожал руку с серьезным и даже торжественным выражением.

— Здравствуйте, Николай Иванович, — сказал Башкович торжественно.

— Здравствуйте, Григорий Ефимович, — ответил я.

Он еще торжественней повернулся и пошел к столу. Такая же узкая спина у него была, такое же приподнятое левое плечо, так же удивительно вразлет торчали уши, и так же неуверенно ступали ноги, как тогда, когда поразительно метко и на веки вечные окрестил его Долгов. Это было давно, шла война, я уже стал подрастать, и меня включили в фронтową бригаду, уже и рыжим выходил, и акробатом-эксцентриком — номерок смонтировал, и в общем, в этот день нашу бригаду собрали в кабинете художественного руководителя Михаила Васильевича Долгова. Он славный был человек, высоченный, с козлиной бородкой, и он любил и понимал смешное. Да и сам был остер, горазд на словечко. Вот мы тогда сидели у Долгова в кабинете и слушали его напутствие. Долгов сказал:

— Ну, вот и все. А бригадиром и, значит, вроде директором будет у вас Башкович, Григорий Ефимович.

Мы уже знали тогда Башковича, знали, что он способный по административной части, простой, сговорчивый, и встретили это назначение сочувственно. Кто-то даже попытался похлопать, но тут встал сам Башкович и неожиданно сообщил:

— Михаил Васильевич, я не смогу принять эту бригаду. Я сегодня получил повестку. Ухожу на фронт.

Долгов ничего ему не ответил. Он набрал какой-то номер телефона.

Он сказал:

— Товарищ подполковник? Здравствуйте. Это Долгов говорит. Извините, что отрываю, но у меня к вам неотложное дело... А вот: вы прислали повестку тут нашему одному работнику, а он нами направляется на работу во фронтową бригаду, так нельзя ли... Что? Какая у него военная специальность?

Долгов сделал паузу, разом вобрал в себя и оценил горестную фигуру похожего на ржавый гвоздь Башковича и молниеносно подвел итог:

— Его военная специальность — движущаяся мишень.

Много есть прозвищ в цирке: Повидло, Карло, Дважды Пусто. Все это чепуха, самодеятельность. Вот Долгов Михаил Васильевич, тот умел прямо в яблочко.

...Сейчас Башкович сидел за столом инспектора манежа, и все трое они устроили «совет в Филях». Они перекидывали нас, простых смертных, нас и наши номера с места на место, тасовали, примеряли, перетряхивали и раскладывали, как карты в пасьянсе. Трудно составить программу, чтобы она шла по нарастающей линии, чтобы интерес зрителя не падал и чтобы вся эта чисто художественная задача совмещалась бы с технической: с уборкой аппаратуры, с установкой ее, и тут сам черт ногу сломит, тут, брат, надо знать, как это сделать — и чтобы волки сыты были и овцы, по возможности, целы. Наука. Я сидел и терпеливо ждал Бориса и думал, что вот в другое время я бы спокойно сидел в буфете и дожидался решения своих дел, а теперь я туда не могу пойти, не надо, это и мне и ей будет очень несладко.

— Ну, так, — сказал Борис, — в общем-то так, но возможны варианты. — Он поднял голову. — Коля, — сказал он, — ты переехал.

— Куда? — спросил я.

— В конец второго отделения, — сказал Жек, — вон куда.

— После бронзовых Матвеевых вы пойдете, Николай Иванович, — пояснил Башкович. — Манеж будет уже убран, он будет чистенький, с рындинским ковром, аппаратура Раскатовых уже висит загодя, и вы сможете работать спокойно.

— Ни граблей, ни клеток, ни лязга, ни грохота, — сказал Жек, — санаторные условия.

— Во время вашего выступления все внимание зрителей будет отдано вам, Николай Иванович, — снова вставил научную реплику Башкович, — ничто не будет отвлекать зрителей, и вам будет легко контактировать с залом.

— Куда угодно, — сказал я, — хоть к черту на рога.

— Это вместо благодарности, — откликнулся Жек.

— Не с той ноги встал? Что случилось? — Борис внимательно смотрел на меня.

Я не отвечал.

Зазвонил телефон.

Борис снял трубку.

— Да.

Там кто-то квакал внутри, и Борис вдруг протянул трубку мне.

— Тебя.

О, черт! Неужели я жду от нее звонков? Я сам себя ненавидел, когда брал трубку.

Я сказал:

— Ветров.

Там сказали:

— Ты завтракал? Если нет, подымись ко мне.

Я сказал:

— Чтоб ты пропал! Пугаешь только. Не мог зайти за мной, что ли?

Он сказал:

— Придешь?

— Сейчас.

— Из буфета? — спросил Жек.

— Русаков, — сказал Борис.

— Я пойду поем, — сказал я. — Значит, все, как вы сказали. Принято к сведению и исполнению.

Башкович подошел ко мне и пожал мне руку.

— До свидания, Николай Иванович, — сказал он торжественно.

— До свидания, Григорий Ефимович, — ответил я.

14

Они занимали самую большую гардеробную в главном коридоре, и когда я пришел, все они сидели за столом. Видно, хотели есть и ждали меня. Надежда Федоровна, хотя и пополнившая, но все равно красивая, хозяйничала. Она положила мне на тарелку огромный кусок яичницы — на столе стояла сковорода величайшей с таз. Татка сидела напротив меня, она у них единственная была, мать тряслась над ней, закармливала и кутала немилосердно. И сейчас Таткина голова, шея, грудь и плечи были спеленаты цыганской шалью. На полу бегали дворняжки-щенята Нарзан и Боржом. Их жестоко щипал свирепый гусенок Иван Иванович. Эта троица представляла собой личную труппу Татки. Сам же Русаков, вождь и глава этого табора, высокий и молодцеватый, немного обалдевший от перелета, сидел в нарядной стеганой куртке за столом, поминутно глотал слюну и жи-

мал ладонями уши. Он только что приехал с аэродрома. За его спиной, цепко держась корявыми лапами за спинку стула, торчал попугай Кока. Он, видимо, очень был рад приезду хозяина и в знак салюта ежесекундно приподымал и распускал на темечке свой хохолок. Как будто выростали пучки молодого лука. Роза сидела на полу у ног повелителя и главы. Иногда она деликатно касалась его колена лапкой. Русаков давал ей сахару и не глядя пошлепывал по гладкой, лишенной шерсти коже. Она была африканская собака — Роза, и в лиловых ее глазах плясало веселье.

Динка сидела в клетке. Ей было плохо. Негромкий, но сухой и скребущий грудь кашель мучил ее. Она завернулась в полосатое одеяльце и смотрела на нас укоризненно, неласково и отчужденно. Иногда она передвигалась, чтобы устроиться поудобнее, отворачивалась от нас к стенке, и тогда были видны два красных помидора ее задика. Вошел Панаргин и подробнейшим образом пересказал Русакову все наши вчерашние приключения.

— Молодцы, ребята, — доктора, — сказал тот, великодушно помахав рукой, — выношу благодарность.

— Служим трудовому народу! — сказал я и выпучил глаза. Специально для Татки. Панаргин еще стоял.

— Вольно, оправиться, огладить лошадей! — крикнул Русаков с кавалерийской оттяжкой. — Садитесь, товарищ Панаргин. — Он пододвинул табуретку, Панаргин сел. Надежда Федоровна немедленно положила ему еды.

— А вы почему синий стали, дядя Коля? — хрипло сказала Татка.

— Чтоб смешней, — сказал я.

— Вам сколько лет?

— Сто одиннадцать, — сказал я.

— Ничего, еще молодой. — сказала Татка, — я за тебя замуж выйду.

— А пока давай ешь, — сказал я.

— Она у нас артисткой будет, — сказал Панаргин. — Ты в балете будешь, Татка? Или в цирке, как папа?

— Я певица буду, — прохрипела она. — Вон Петька Соснин стал певцом. Он, говорят, на верблюде скачет, а сам в это время поет. Лично я не видела — люди говорят. Он способный. — Она поковыряла в тарелке и добавила завистливо: — Плевала я на его способности. Я в опере петь буду.

— Дай Динке черносливу, — сказал Русаков, — ведь она голодом изойдет, ума не приложу, что делать.

Татка пошла к клетке и стала совать туда лакомства. Динка с отвращением отталкивал их.

— Она, папа, скучает, — сказала Татка, — она немножко хворает, но больше всего она скучает, папа.

— Ты почему так думаешь? — сказал Русаков.

— Она, бывало, и раньше кашляла, но когда ты отдал Лотоса, она заскучала. Я заметила.

— Может быть, вправду? — задумчиво посмотрел на Панаргина Русаков.

— Подсажу к другим, ведь не чахотка же у нее... Вдруг Татка права? — откликнулся Панаргин.

— А как же, — сказала Надежда Федоровна, — она папина дочка, она животных чувствует, яблочко от яблони...

Она с гордостью посмотрела на Татку. И Русаков тоже.

В это время, не знаю, ему есть захотелось, что ли, только мы вдруг увидели, что попугай Кока направился своей матросской походочкой к сковороде. Он шел, легонько посвистывая, и пошатываясь, и выставив свой нос, похожий на консервный ножик. Русаков закрыл лицо руками.

— Ай! — сказал он громко, неподдельное горе и отчаяние были в его голосе. — Что я вижу? Кока опять на столе? Он залез на стол? Ай, как стыдно! Нельзя! Ведь воспитанные попугаи никогда не ходят по столу! Стыд! Позор! Срам! Кока на столе? Стыдобушка!

Кока затоптался на месте, и я никогда в жизни не видел и, наверно, не увижу более смущенного попугая. Мне показалось, что он покраснел. Быстро и неловко сдувая меж солонок и вилок, Кока воровато побежал со стола, прыгнул к Надежде Федоровне на колени, вскарабкался по ней на спинку стула, устроился там и вдруг захохотался, в нем что-то забурчало, и мы услышали:

Чижик-пыжик,
Где ты был?
На Фонтанке
Водку...

Здесь он ни с того ни с сего устроил вдруг нелепую антимзыкальную паузу.

— Пил! — вдруг крикнули Татка, Надежда Федоровна, Панаргин и Русаков. Они с полминуты напряженно смотрели на попугая. Но тот молчал.

— Двух медвежат! — сказал с досадой Русаков. — Двух чудных медвежат слупил с меня этот алчный старик Кудряшов за такую бездарность... И я доверчиво ему их отдал. Я думал, не может быть, чтобы попугай не смог выучить только одно словечко — «пил». О, кто-то, думал я, а я его выучу! И вот полюбуйтесь!

Я сказал:

— Спасибо, Надежда Федоровна, пойду.

— Уже? — сказал Русаков.

— Ночь не спал, — сказал я.

— Ты... еще приходите... — пригласила Татка.

Надежда Федоровна проводила меня до двери.

— Ты что, Коля? — спросила она.

— А что? — сказал я.

Она долго смотрела на меня. Я молчал.

Она сказала:

— У тебя глаза, как у Динки...

15

Я прошел к себе. Тихо было в моей комнате, как в каюте, корабль шел своим маршрутом, а здесь тихо и можно отдохнуть. Я сел на низенький стул, стоявший подле диванчика, и решил сделать генеральный осмотр реквизита, гардероба, бутафории и прочего моего имущества. Я выдвинул чемодан и стал вынимать вещь за вещь, встряхивать каждую и разглядывать ее на свет, и делал это придирчиво, чтобы, если что не так, отложить в сторону и починить. Я умел ремонтировать свои вещи без посторонней помощи: шил я не хуже любой мастерицы, и стирал, и гладил, я умел парик завить на любой фасон, знал картонажную работу, шертел и заряжал хлопушки, мастерил «батонны» — палки, которыми можно небожно ударить партнера, конструировал разные мелкие машинки для «чудес», например, сковородки, из которых можно было вытащить живого кролика, все это было ерундой для меня, жизнь научила, товарищи, родители, потому что неинтересно бегать по городу в поисках мастера, который сумел бы сделать такой пустяк, как музыкальную суповую ложку или соску — она же

автомобильный гудок. Все эти насущные вещи цирковой артист, если он любит дело и воспитывался в хорошей цирковой семье, должен делать сам.

И когда я подумал о семье, снова вечная тяжесть легла мне на душу, и сдавило грудь, и дернуло, словно кто кастетом ударил по голому сердцу.

Зачем я уехал тогда из Львова в пионерский лагерь у моря? Ведь я не хотел, не хотел, и хотя я уже большой был и крепкий, и цирковой все-таки, и когда падал и расшибался на репетициях, никогда не ревел, — а тут ревел, не хотел ехать в лагерь, а мама велела, она говорила, что я счастья своего не понимаю, что я должен прыгать от радости и быть благодарным директору Проценко, и председателю месткома — не помню фамилии, — и всей Советской власти, что я поеду к морю, там загорю и отдохну, и что это счастье, и что месяц это не срок, и пусть я не дую, они мне будут писать и ждать меня в июле обратно во Львов. Она меня проводила и держала Алешку за ручку, а ему было три года тогда, и я целовал его тугую щечку и все подтягивал ему съезжавший носок на толстую ногу, толстую, точеную и блестящую, как ножка какого-нибудь столика или дивана. Но я не вернулся тогда домой в июле, а лучше бы я погиб вместе с мамой и отцом и маленьким Алешкой, он так вкусно пахнул по утрам и такой был смысленый и нежный, и он погиб вместе со всеми тогда. Фашисты не пощадили их никого, и я этого не в силах забыть, пусть я тысячу лет проживу и потом умру и воскресну снова через две тысячи лет, все равно не будет, не будет, не будет в душе моей им прощенья, не будет во веки веков.

Я сидел и рассматривал свои парички, и жилетки, и прочие разные бирюльки, и это меня успокаивало и наполняло каким-то чувством Добра и Дома, теплым чувством Ремесла и Умения, ощущением общности с людьми, которые делают и умнейшие машины, и игрушки, и науку, и весь этот живой и трепещущий мир, и самое искусство делают вот так просто, этими своими двумя ловкими, все понимающими руками. Я подумал, что ничего на свете нет умней, и добрей, и одаренней человеческих рук. И еще я подумал, что эти мысли уже думались до меня, это тоже хорошо, значит, они общие для всех людей, и это еще лучше. Это меня вполне устраивает.

Тяжелого реквизита у меня было мало, все вещи легкие, не громоздкие. Это мой непреложный закон. Я считаю, что я должен играть сам, должны играть моя душа, мое тело, мое лицо, а не преувеличенные, грубые, «смешные» предметы. Отсюда у меня и сложилась Главная Мысль, Главный Принцип, вся симпатия моя, влечение и направление в моей работе. Я терпеть не могу такие номера, где клоуна бьют по голове молотком, или разбивают о его лоб сырые яйца, или для вящей потехи ему вонзают в лысину топор, и короткая очередь выстрелов вылетает из его противоположной стороны. Я этого не люблю и стараюсь строить свое выступление так, чтобы люди не надо мной смеялись, *а мне, моей выдумке, моему озорству, моему умению* видеть смешное и показывать это смешное другим. Люди не жалеть меня должны, а гордиться мной, радоваться за меня, любить меня за то, что я ловкий и стою за правду, за то, что я сильнее подлости и коварства, что у меня есть достоинство и я умею его защищать. Они должны меня любить так, как они любят Солдата из народных сказок, смекалистого солдата, который сумел сварить щи из топорища. Они должны любить меня так же, как они любят справедливого-плутоватого мужика, что делил гусей, или как работника Балду, который хоть и называется Балдой, а гляди ты — умнее и попа, и самого черта, и кого угодно. «Вот так, таким путем, в таком духе и в таком разрезе. Это, высокоуважаемые коллеги, на мой взгляд, самый верный путь в развитии нашей, советской клоунады. Все, товарищи, я кончил...»

Я перестал возиться с чемоданом, все мое барахлишко было в порядке, я встал и снял со стены мой любимый алый парик. Он давно просох, и я принялся его расчесывать. Фанерная моя дверь неслышно приоткрылась, и в щель просунулась худенькая мордочка Вали Нетти.

— Дядя Коля, — сказала она, — здравствуйте.

— Я тебя уже видел сегодня, — ответил я, — имел счастье.

— Дядя Коля, у нас у одной артистки разорвался тапочек. Мы занимались — и вдруг подметка тррык! — и мешает заниматься. Прихватите ее, пожалуйста. Ведь вы умеете?

— Я все умею, — сказал я. — Давайте сюда вашу тапку.

Валя раскрыла дверь пошире и сказала, став к стонке:

— Ирина, иди!

Та вошла.

Я таких синих глаз никогда не видел. Постояв немного, она улыбнулась уголками губ и протянула длинную прекрасную руку. Я пожал ее.

— Ирина, — сказала она.

Я ответил ей. Она сняла с ноги тапочку, я взглянул там было трехминутное дело. Я сказал:

— Садитесь.

Она села, закинув ногу на ногу. Маленькая ступня с тонкой лодыжкой и литыми, как пульки, плотно прилегающими друг к другу пальцами.

Она сказала:

— Это так неловко. Но Валя сказала, что вы хотя и большой артист, а добрый. Вот я и решилась. Еще раз простите меня.

Я достал дратву, щетинку, воск и шильце.

— Так вот вы какой, знаменитый дядя Коля, — сказала она. — И как это так получилось, что я никогда не видела вас в манеже?

— Не велика беда, — сказал я, — еще успеет!

— Еще нахохочешься, — сказала Валя.

— Я вижу вас впервые, — сказал я, — какой жанр? Впрочем, постойте, я скажу сам.

Я вспомнил, что сегодня сказала мне Нора, вспомнил ящики во дворе и снова увидел ее длинные руки и весь рисунок, все встало на место, и я сказал:

— Воздух.

Она спросила:

— Вы знали?

— Нет, — сказал я, — я не знал вас, но теперь знаю!

Ирина Раскатова.

Валя захлопала в ладоши:

— Ой! Мнемотехника!

— Да, — сказала Ирина, — просто чудеса...

Просто чудеса...

— Вы с Волги, — сказал я.

— Опять чудеса! Откуда вы знаете?

Откуда? Оттуда. Тебя твое «о» за три версты выдает, Раз. Борис говорил — два.

Я сказал:

— Да я вообще про вас все знаю. Наверное, мечтал
быть физиком?

— Нет, я думала — юристом.

— Учились?

— Третий курс... А потом художественная гимнастика в кружке, студии, встреча с Мишей... И вдруг такая перемена! Просто я везучая, — сказала она убежденно и строго посмотрела на меня. — Кем я была? Обыкновенная студентка с обыкновенными тройками. Никаких способностей — середняк. И вдруг эта встреча, он меня увидел, нашел, полюбил, стал учить, выучил, вытренировал, дал мне призвание, о! — Лицо ее разгорелось, она увлеклась и уже не стеснялась ни Вали, ни тем более меня. — Сколько в нем воли, и вообще какой он благородный и верный, замечательный, редкий человек — Миша!

Первый раз слышу такой отзыв о Мишке Раскатове. Великая сила — любовь. Недаром говорят: «Любовь слепа». Нет, стой, к черту соседкины приговорки. Это там, где кухня, котлетки, луковый дух, это там так говорят. А скорей всего, это у меня слепая душа, что я не разглядел его до сих пор. Не разглядел и пошел повторять за всеми: «пижон», «стиляга». А он, наверное, другой, где-то там далеко, внутри, недаром так любит его эта красивая чистая девочка.

Я закрепил узелок и протянул Ирине тапочку:

— Готово. Получайте ваш хрустальный башмачок.

Она, не раздумывая, протянула ногу, и я обул ее.

— Спасибо, — сказала она, вставая.

— Не за что.

Она подошла поближе и наклонилась ко мне низко, почти присела, ведь я сидел на маленьком стуле, и ее глаза были прямо против моих.

— Я не за тапочку, — сказала она, и я увидел нежность и благодарность в этой огромной синеве, — я за хрустальный башмачок.

Валя Нетти уже открыла дверь и держала ее распахнутой. Ирина пошла за ней, но в дверях остановилась и сказала мне уже совсем просто и дружелюбно, как говорят люди старинному своему знакомцу, приятелю и другу:

— Приходите завтра в двенадцать нашу репетицию смотреть.

Я сказал:

— Обязательно.

Тогда она как будто вспомнила:

— А вы когда будете репетировать? И мы бы пришли.

— Хочется посмеяться, — сказала Валя Нетти.

— Вы меня уж прямо на представлении увидите, — сказал я, — вечером. Ведь я как раз перед вами иду по программе. Вот вы перед своим выходом и увидите меня. Через щелочку можно или сверху, где прожектор стоит, а еще лучше просто послушайте на ухо, как принимают.

— Нет, послушать — это неинтересно. Я непременно своими глазами хочу, — сказала она. — Ну, еще раз спасибо! До завтра!

— До завтра, — сказал я.

— До завтра, — сказала Валя Нетти.

16

Я проснулся так рано оттого, что мне дьявольски хотелось есть. Вода под краном была студеная, голубоватая от холода, я умылся и вышел на улицу. Было уже часов восемь, я взял себе свежего хлеба в булочной и прошел на рынок, в молочный ряд. Жизнь уже кипела вовсю, и выстроенные в шеренгу стаканчики простокваши выглядели очень аппетитно. Я встал сбоку у прилавка и один за другим съел несколько таких стаканчиков. Потом я выбрал ряженку, она еще вкуснее простокваши, розоватая, нежная, освежающая, так бы и ел с утра до вечера.

Дебелая молочница, хозяйка этого товара, смотрела, как я ел, и выражение ее лица было сочувственное и немного грустное, как будто ей все про меня было известно и понятно. Я расплатился с ней, прошел в другой павильон. Там пахло всем осенним Подмосковьем сразу — укропом, чесноком, рассолом, грибами и еще чем-то, и я купил десяток репок и вернулся в цирк, потому что мне нужно было повидаться с Лялькой. Завидев меня, она по традиции приветственно подняла хобот. У ног ее ползали Панаргин и Генка. Возле них, на полу, на промасленной тряпице, лежали огромные, похожие на кинжалы и серпы, ножи, железные щетки и рашпили.

— Маникюр, — сказал Генка, кряхтя и кромсая Лялькину ногу. — Вот, дядя Коля, как слониха живет — почище любой графини!

— Да, — сказал Панаргин. — В Индии недаром говорят: искусство танца, искусство живописи, ткачества, ювелирное искусство — все это ерунда по сравнению с искусством ухода за слоном. — Он кивнул мне головой и прополз под Лялькиным брюхом к другой, задней ее ноге.

Ну что ж, выглядела она прекрасно, и мой утренний визит приняла благосклонно, и угощение проглотила молниеносно, все было в порядке, и я сейчас, пожалуй, только мешал им. Я отправился к себе.

Чтобы сократить расстояние, я решил пересечь манеж, и как только вошел в зал, увидел, что в манеже уже работают двое каких-то мальчат, они репетировали партерную акробатику, и я остановился в проходе, у столба, чтобы, оставаясь незамеченным, посмотреть работу. Не очень-то они были способные, эти мальчата, или просто еще не очухались ото сна, только дело у них не ладилось, они падали ежеминутно, спотыкались, и простое арабское колесо выглядело у них у обоих, прямо скажем, кошмарно. Их тренировал Вольдемаров. Я смутно видел его горилью фигуру в первом ряду партера. Хозяйский сынок. До революции его папаша имел свой цирк, где-то в провинции, хороший был жук, что и говорить. До сих пор наши старики вспоминают его с неприязнью. А сынок его теперь был руководителем номера «акробаты-прыгуны», и, видно, яблочко недалеко от яблони падает, дрянь был порядочная. Сейчас он орал на этих двух ребят за то, что у них не клеилась работа, объяснял путано и нетерпеливо и задергал бедняг начисто. Когда же наконец до него дошло, что мальчишки просто устали, он с досадой крикнул им:

— Эх, плеточку бы сюда потолще! Живо бы все наладилось. Ну да ладно, черт с вами, отдыхайте.

Мальчишки облегченно вздохнули и уселись на барьер. Один сел ногами внутрь, а другой ногами наружу. Ему этого делать не стоило, конечно. В цирке есть, до сих пор живет примета, что нельзя сидеть спиной к манежу, ну, как нельзя свистеть на сцене, не принято это, неуважение к месту своей работы, за это часто влетает. И Вольдемаров сейчас же обрадовался поводу сорвать

злость, подскочил к бедняге, сидящему ногами наружу, и дал ему довольно мощного леща.

— Не сидеть спиной к манежу. Он тебя хлебом кормит!

Мальчуган испугался и заплакал. Его товарищ обнял его за плечи, и они убежали.

А меня бросило в жар. Мгновенно. Я этого не люблю. Ничего такого не люблю. Ненавижу. За это я могу убить. Но в эту минуту я увидел, как из бокового прохода к Вольдемарову метнулась чья-то туманная тень.

Раз, бац! Вольдемаров получил две классические, не цирковые, нет, а самые настоящие, жизненные оплеухи. Он зарычал, и страшные кулаки его сжались. Он двинулся вперед, совершенно закрыв от меня фигуру своего победителя. Я был уверен, что сейчас начнется грандиозная потасовка, но, к своему удивлению, увидел, что грозный Вольдемаров вдруг отступил и, громко захохотав каким-то картонным, деланным смехом, круто повернулся и вышел в главный проход.

Теперь он перестал заслонять от меня эту незнакомую фигуру, которая только что, сейчас, надавала ему по морде, вступившись за ребенка.

Я пристально взгляделся, и мне все стало ясно. Это была Ирина.

17

Ровно в двенадцать часов манеж освободили — Раскатовы должны были прорепетировать свой номер, и в партере стали появляться все свободные от работы люди. И несмотря на то что их было побольше ста, все равно цирк казался пустым, огромным и плохо освещенным. Люди сажались поближе, в первые ряды, но я знал, где нужно сидеть, чтобы как следует рассмотреть работу, и я сел подальше, ряду в десятом, немного слева от выхода.

Ирина появилась одетая в какой-то будничной серо-коричневый халат, небрежно накинутый на плечи. Она остановилась у форганга и заговорила о чем-то с униформистом, стариком Жилкиным, не знаю, о чем они говорили, Жилкин смущенно разводил руками и тряс головой, видно, в чем-то отказывал Ирине. Она отвернулась от него, спокойно и безразлично, и стала смотреть на Мишу Раскатова, который неизвестно почему с утра

пораньше нарядился в черный вечерний костюм с крахмальным воротничком, при галстукe и при булавке. Волосы его были набриолинены и причесаны туго-натуго, волосок к волоску. Они прямо-таки сверкали, и на левой руке Мишки на безымянном пальце, еще сильнее сверкало большое кольцо, мужской обольстительный перстень. Где этот парень нагяделся? Где нахватался этого дешевого шику производства тысяча девятьсот тринадцатого года? Все это раньше называлось костюмом в «салонном жанре» — так полагалось выглядеть высококровному «аристократу цирка» и «королю воздуха», но в наше время это выглядит уже смешным и нелепым, и как Мишка не понимал этого? И пока я все это думал, наш вездесущий Жек в последний раз опустил и проверил трапецию, неподвижно укрепленную, некачающуюся, так называемую штейн-трапе. Мишка тоже принимал участие в этой работе. Я понял, что на этой штейн-трапе Ирина для начала покажет серию обязательных для воздушных гимнасток трюков и только потом, в финале, она пойдет на рекордный трюк и продемонстрирует «гвоздь» своей работы, знаменитый, поставленный Раскатовым «номер смертельного риска».

Мишка что-то покрикивал властным голосом и делал великолепные жесты, посылал в разные места униформистов, и когда посылал, протягивал костлявый, загибающийся кверху палец. Ирина все еще стояла внизу у входа, она курила длинную папиросу. Лицо у нее было веселое и светлое, и я долго смотрел на нее, все не мог глаз отвести. Да, это была очень красивая и очень юная артистка цирка, артистка от рождения, артистка с головы до ног, от узкой и тонкой щиколотки до маленькой изящной головки с синими, спокойными и странно огромными глазами. Да, это была настоящая артистка цирка с прекрасными сильными руками, перебинтованными у запястий, с таинственной, пленяющей сердце улыбкой на розовых, словно очерченных губах с благожелательно приподнятыми уголками. Она долго так стояла, и я все любовался ею, униформисты все еще возились в манеже, и, видно, ей надоела эта возня, она что-то сказала Жеку негромко и повелительно, потом решительно сбросила на барьер серо-коричневый будничный свой халат. Стали видны ее нескончаемые эллиптические ноги, и гибкая талия, и втянутый мускулистый живот. На ней был черный кос-

твом, плотный и прилегающий, обтягивающий всю ее безупречную фигуру. Она попрыгала немного на одном месте, чтобы восстановить кровообращение, дать ему хлыста, что ли, и потом, остановившись, повела вокруг глазами, рассматривая немногих собравшихся в зале. Я смотрел на нее, и мы встретились глазами, и, узнав меня, она опять-таки для разминки побежала ко мне, вверх по ступенькам. Я задыхался, глядя, как она бежит ко мне, и встал ей навстречу.

— Будете смотреть? — сказала она и протянула мне обе руки.

— Да, — сказал я, — буду смотреть. Интересно.

— Я рада, — сказала она, — посмотрите.

Я так стоял, я держал ее руки, и краснел, как мальчик, и, наверно, глупо выглядел, и она тоже покраснела. Не знаю, в чем тут было дело, не знаю, что нам почудилось в эту секунду, не знаю, до сих пор не знаю. Знаю только, что хорошо это было, но неудобно все-таки, нельзя же так стоять на виду у всего цирка, и она отняла руки и сказала:

— Пора.

Я сказал:

— Да. Идите. Я смотрю.

Она двинулась было, но я остановил ее снова.

— Ирина, — сказал я, — кончится сезон, и вам, после успеха... успеха вашего с Мишей аттракциона...

— Ой, — сказала она, — надо спешить...

— Минуточку... одну, — сказал я. — Я думаю, что наше управление предложит вам интересное гастрольное турне. И вам будет нужен антураж. И вы организуете коллектив вокруг себя. Так вот, когда это случится, возьмите меня с собой. Если будет нужно, я пойду в коверные. Если очень будет нужно, согласен стоять в униформе.

Она улыбнулась удивленно:

— Вы? В униформе? А зачем?

— Чтобы защитить вас, — сказал я. Не знаю, почему сказал.

Ей все это показалось смешным, она рассмеялась.

— Меня не надо защищать, — сказала она, — да и от кого? И потом, у меня есть Миша. Да я и сама сильная. Я постою за себя! Вы думаете, я слабая женщина? Как бы не так, сейчас увидите!

И она побежала вниз, девушка из Спарты, с тонкими щиколотками и узкой талией, золотоволосая, с синими глазами, девушка, которая любит благородного, чудесного человека — Мишу Раскатова.

— Открой проход! — крикнул внизу Мишка и картинно показал пальцем.

Униформисты отодвинули две дольки барьера под оркестром, получилось как бы два выхода на манеж, один — старый и привычный, другой — с противоположной стороны, странный, под оркестровой эстрадой, его употребляют редко — во время пантомим, или для выпуска животных, или для какой-нибудь оригинальной режиссерской выдумки. Теперь всем нам, сидящим в партере, стал виден наш неприглядный утренний цирковой пол. Он был в этом месте цементный, серый и никак не радовал глаз. Ничем не был он застлан, но пришел какой-то человек и положил на этот пол тощий мат.

— Жек! В оркестр! — снова крикнул Мишка, и я увидел, как Жек взбежал в оркестр и подошел к невысокому оркестровому барьеру, поставил на него левую ногу, согнутую в колене, а на ногу положил правую руку ладонью вверх и покрыл ее так же повернутой кверху ладонью левой руки.

— Так стойте! — резко и коротко бросил Мишка.

Пробор его сиял. Кольцо сверкало.

Было тихо. Меня тошнило от этой показухи.

— Смотри, какую устраивает продажу! — сказал Борис.

Я не заметил, как он появился. Я все смотрел на Жека.

— Боря, объясни, зачем он поставил Жека в оркестр?

— На всякий случай, — сказал Борис.

Сердце мое сжалось.

— На какой это всякий случай? Какой может быть случай? Ты допускаешь?

Но Борис положил мне руку на плечо:

— Ничего быть не может, не бойся. Она, видишь ли, должна сделать в воздухе, вот там, — он показал, где приблизительно, — двойное сальто-мортале. К ногам ее петлями прикреплены штрабаты, которые, в свою очередь, намертво своим основанием прикреплены к трапеции. И когда она после двойного сальто полетит из-под купола вниз, публика будет думать, что ей конец. Но

штрабаты, — а это, по существу, простые веревки, особым образом свитые...

— Учи, учи... Объясняй мне про штрабаты. Нашел новенького...

Он продолжал:

— Вот, вот, эти самые штрабаты ее самортизируют, во-первых, потому, что они далеко не достают до полу, до ковра на манеже, им не хватает двух или трех метров длины.

— И она повиснет головой вниз? Так, что ли? — Меня уже начинало трясти. А он твердил свое:

— Во-вторых же, они у Мишки — в этом и есть секрет — они с резиновыми, где-то спрятанными амортизаторами. И так, она летит вниз — штрабаты держат ее за ноги, а потом вступает резина и элегантно вскидывает ее обратно на трапецию. Она отстегивается и делает комплименты. Все рассчитано. Все проверено. В Ереване проделано пять таких полетов. Грандиозный эффект.

— Да уж куда больше, — сказал я.

— Там многие в обморок падали, — сказал Борис хвастливо, — в Ереване-то. Еще бы, прямо американский аттракцион. С жутью.

— Сволочи вы все! — сказал я. — Теперь скажи мне, пожалуйста, зачем Жек стоит вон там, в оркестре, весь изогнулся и сложил руки на подстраховку? И зачем положили этот хреновый мат на полу, под оркестром?

— А я что, знаю, что ли? Так Мишка приказал, ведь он же изобретатель, а не я. Уж ему-то она дорога, ближе, чем тебе, как ты думаешь? Зачем мат? Так. А вдруг... ну, допусти ты миллионную долю риска! А вдруг по каким-нибудь причинам изменится линия полета? Вдруг она полетит на оркестр? Тогда Жек толкнет ее руками, и она полетит вниз, в манеж, но уже с силой Жекиного толчка. Тут закон физики. Она первоначальную силу полета потеряет, понял? А получив новую силу от Жека, ей лететь останется два-три метра. Но Мишка сказал, что это один шанс на сто миллионов. Сиди спокойно, ясно тебе?

— Ясно, — сказал я, — мне ясно, что риск есть. И большой. Один на сто миллионов. Это чересчур большой риск.

— Да что ты! — сказал Борис. — Ну, я не знаю, как тебе объяснить. Тут, наверное, просто психология — эта-

кая кроха мысли, осколок боязни, последний страшок, ну вот и мат — на всякий случай.

— На всякий случай? Да на всякий случай нужно положить сто пуховых матов, и вывалить двести возов сена в проход и в манеж, раз уж у вас в голове гнездится такой случай, собаки вы и сволочи. Весь цирк надо обтянуть сеткой, раз у вас в голове есть допуск. Есть какой-то там, видишь, стомиллионный шанс, сукины вы дети, все, вместе взятые, сволочи вы, распроклятые вы собаки, дерьмо, негодяи вы, мерзавцы и подлецы! Вот кто вы есть, если хотите знать...

Борис встал и отошел от меня, я его здорово допек, мне кажется, в него проникло. Он обернулся.

— Коля, — сказал он тихо, — брось, не бранись, без тебя тут не знают, что ли? Больше всех ему надо. — Он пошел.

— Да, — крикнул я ему вслед, у меня что-то клоколало в груди, — мне больше всех надо!

Ирина была уже на трапеции. Я был уверен, что она начнет работу с маленьких скромных трюков, постепенно перейдет к более сложным и так далее, потом подведет зрителей по нарастающей к сверхсложным и потом уже, на самый на финал, пойдет в это разрекламированное двойное сальто-мортале. По традиции все должно было происходить именно так. Но не тут-то было, я ошибся, и как я был рад, что ошибся. Этот аттракцион, видимо, готовился на чистом сливочном масле, на высочайшем уровне, или уж это артистка такая была — самородок, не знаю. Без всяких проволочек Ирина в остром и вместе с тем чрезвычайно ясном темпе встала на трапецию и сделала труднейшую на ней круговую раскачку, ни за что не держась, ни к чему не привязанная, ничем не застрахованная, и затем сразу, без предупреждений, без продажи на нас обрушился ослепительный каскад чемпионских трюков: задний бланж, «флажок» на одной руке, баланс на спине, стремительный обрыв, снова спина и резкий выход на «флажок» с комплиментом. Это было как музыка, так пианист пробегает быстрыми своими пальцами весь рояль слева направо, сверху до низу, как бы балуясь, играючи, но четкость и чистота звука, бешеный ритм, сразу поражают слушателей.

После такого выступления, которое было под силу только законченному, совершенному мастеру, только же-

лезному, безотказному телу, только прозрачной и неукротимой воле и только бесстрашному, дерзкому сердцу, после такой небывалой заявки Ирина вновь встала на трапецию и очень скромно и вместе с тем величественно сделала нам комплимент — приветственный жест нам, ее товарищам. Так в цирке редко случается, а сейчас случилось: все мы, сколько нас было здесь, сидящих в партере, все мы вдруг поднялись со своих мест и захолопали ей, по-братски, искренне, от горячей актерской души. Это были аплодисменты мастеров, признающих работу своего собрата-мастера, это были аплодисменты, венчающие самый конец строжайшего «гамбургского счета», и Ирина поняла это и улыбнулась, растроганная.

Все сели. Меня знобило. Ирина сейчас копошилась где-то на штамберте, я вгляделся — это она отстегивала туго притянутые штрабаты. Наконец она освободила их и вдела в петли ноги, каждую поочередно. С глухим звуком съехала вниз эта первая, уже ненужная трапеция. В зале было тихо. Ирина выпрямилась и посмотрела вниз. В манеже было светло, электрики дали полный свет. Мы все, затаив дыхание, смотрели на нее, и она, конечно, вдела всех нас, но потом она перевела свой взгляд и нашла Раскатова. Михаил стоял за матом под оркестровой эстрадой, у него в руках был конец длинной и тонкой веревки от карабина, держащего наверху, привязанной вторую, свободную, трапецию. Я услышал, как звонко щелкнул карабин, и легкая трапеция соскользнула из-под купола и проплыла по воздуху, прямо к Ирине. Ирина нетерпеливо протянула к ней руки и взяла ее на лету, твердо и уверенно. Она держала трапецию обеими руками и ждала команды. Сматывая веревку, Раскатов перепрыгнул через барьер и встал у бокового прохода. Он поднял голову и не удержался, сыграл — припал на одно колено, чтобы еще раз прикинуть геометрическую точность линий предстоящего полета. Он смотрел вверх и, насладившись этой затяжкой, этим слышным ему трепетом зала, встал на ноги и крикнул сухо и коротко, словно выстрелил из стартового пистолета:

— Алле!

Вместе с этим звуком Ирина ушла в воздух. Сейчас в свете прожекторов она казалась большой черно-серебряной птицей. Она раскачивалась широко и свободно,

плавно и мерно, радуясь полету и наслаждаясь им, и мне казалось, что я вместе с ней чувствую эту желанную невесомость, чувствую, как сладкий и хрустящий воздух бьется в грудь, и как весело ей подгибать ноги и делать ритмические рывки ногами и животом, и амплитуда полета становится все шире и мощней, и тишина, и восторг, а внизу влюбленные и тревожные глаза. Не надо никаких упражнений и поз, не надо, не надо, вот так, вот так, еще и еще, непринужденно, раскованно. А теперь прибавь, пора, наступило время, мах!

Мах!

Ирина сделалал резкий и мощный рывок животом и взлетела к самому куполу цирка. Здесь она бросила трапецию, тело ее сгруппировалось и перевернулось вокруг себя, через спину, свершился первый виток, и тут Ирина мягко коснулась лбом о неизвестно откуда появившийся железный фонарь. Звука я не услышал, я только увидел прикосновение маленькой золотой головки к железному абажуру. Полет был нарушен, Ирина стремглав полетела вниз. И в эту тысячную долю секунды, я успел возликовать, я подумал: она коснется Жека, Жек изменит силу ее падения, недаром он там стоит со сложенными для страховки руками!

Ирина пролетела мимо Жека.

Где-то со свистом мельнула в голове еще одна надежда: «Штрабаты! Они короткие! Она не долетит до пола! Повиснет!»

Штрабаты оказались длиннее, гораздо длиннее, и Ирина пролетела в проход.

— Мат!

Она ударилась головой. Об пол. Она вонзилась головой в пол. Тук.

Штрабаты все-таки подтянули ее и потащили из прохода в центр манежа, и она прыгала, как китайский мячик, волочась и ударяясь головой о пол.

Тук. Тук. Тук.

А потом без звука — о манеж.

Тук. Тук.

И о ковер.

Тук.

Мишка держал ее на руках. Он кричал. Все кричали. Мишка кричал ужасней всех. Он кричал и старался пальцами открыть ее глаза. У него не выходило. Он

кричал и звал ее. Он целовал ее, и кричал, и звал ее. Кто-то обрезал штробаты. Мишка побежал к проходу, он бежал, он нес ее, бежал к проходу и кричал. Появились носилки. Ее взяли у Мишки, и положили на носилки и понесли в проход. За занавеску. Все побежали за носилками. Мишка бежал впереди всех. Он кричал. Он ужасно кричал.

Я остался один.

Внутри меня не было ничего. Пусто. Ни сердца не было, ни легких, ни крови. Ничего. Кто-то выжег у меня все внутри. Лампа перегорела. Кожа есть, ребра. Больше нет ничего. Разве это было наяву — то, что произошло сейчас, две минуты тому назад? Еще качается трапеция. Я поднял глаза. Высоко под куполом цирка, точно повторяя круг барьера, висели железные фонари. Я сразу узнал главный фонарь. Он был безобразно измят.

18

Золотой тогда день стоял над городом, прохладный, золотой и синий. Последние легкие листья бесшумно слетали с деревьев и, свернутые в трубочку, шуршали на сером асфальте. Золотые были листья, теперь они шуршат на асфальте, сухие, ломкие, рассыпающиеся в прах под ногой. Женщины в белых фартуках сгребают их в кучи и, неловко чиркая спичками, поджигают.

Я стоял возле цирка в мучительном ожидании, и не было во мне ни мыслей, ни чувств. У подъезда вытянулись цугом машины, большая толпа стояла почти неподвижно, люди смотрели в распахнутые двери цирка, откуда неслись приглушенные звуки оркестра.

Мне захотелось услышать запах листьев, и я пошел на рынок и нашел то, что мне нужно было. Немолодая женщина с русскими серыми глазами продала мне огромную охапку последних осенних листьев. Она скорбно покачала головой, подавая их мне. Я вернулся в цирк, положил листья у Ирининых ног и снова вышел на улицу. Видно, я здорово огрубел — я ничего не чувствовал. Стоял возле цирка, смотрел на людей и слушал их бессвязные речи. Огромная машина стояла рядом. Первыми вышли музыканты, они выстроились сбоку, никаких дирижеров не было, музыканты, видно, наизусть знали эту музыку. И тут понесли венки, а за ними выплыл

гроб, и я понял, что это Ирина, что это ее несут, что это Ирина так плавно движется на плечах поникших людей. Я узнал Жека, и Жилкина, и Бориса, и Генку, и других, и я побежал к своим товарищам. Я побежал, спотыкаясь, вперед, и, как живое тело, обнял тяжелый, пахнувший листьями гроб.

Трубная — Малый театр — кино «Ударник» — Калужская — Городские больницы — Донской...

Как это бесталанно, как уныло, как мрачно придумано. Кто режиссер? Кто это ставил? Это надо изменить. Закрывать и укатать цветущим, вечнозеленым газоном эту безнадежную яму, сорвать и сжечь эту зловещую занавеску — разве так должен уходить от нас близкий, любимый человек? Разве так должна уходить от нас смелая, сильная, дерзкая девушка? Высокий купол яркосинего неба, звенящие тросы, кружение золотых листьев, мерцанье далеких звезд и милый облик, улетающий туда, в космос, чтобы ступить на Млечный Путь и светить нам оттуда вечной и светлой печалью.

Я ушел отсюда и долго плутал по Москве и пришел наконец к цирку. Я взял в киоске газеты, остановился у главного входа и механически развернул одну из них. Там было фото ребенка, убитого во Вьетнаме. У его тела рвала на себе волосы мать. И вот здесь, на ступеньках цирка, впервые за эти дни что-то сотряслось во мне, и спазма схватила за горло, и я облился слезами. Я отвернулся к стене от людей и достоял так недолго. Кто-то дернул меня за руку. Это был мальчишка лет семи, в смешном картузе козырьком набок. У него были круглые блестящие глаза. Зубов не было.

— Дяденька, — сказал мальчишка, — это на когда билет?

Я посмотрел его билет и сказал:

— Это на завтра билет. На утренник. В двенадцать часов начало.

Он сказал:

— Я приду. А клоун будет?

Ах, вот оно что. Вы собрались на утренник, товарищ в кепке с козырьком набок? И вы, конечно, хотите увидеть тигра и Клоуна? Или слона и Клоуна? Или, на худой конец, собачек и Клоуна. Клоуна! Обязательно Клоуна!!! Ну что ж, раз так — я приду вовремя. Не беспокойся, не опоздаю. Можешь на меня вполне положиться,

Я сказал:

— Конечно. Клоун будет.

Он сказал:

— А вы почему синий?

— Чтобы смешней, — сказал я и выпучил глаза.

— Я люблю клоунов, — сказал он благосклонно и рассмеялся.

Он рассмеялся, мой маленький друг и хозяин, моя цель и оправдание, он рассмеялся, мой ценитель и зритель, и были видны его беззубые десны.

Он рассмеялся, и мне стало легче.

19

— Скажите Алексею Семенычу, что пришел Николай Ветров.

— Ну и что? — сказала секретарша.

— Мне нужно с ним поговорить.

— Алексей Семенович пишет докладную. Сегодня неприемный день.

Суровый у нее был тон. Но я сказал:

— Вы ему скажите, что пришел Николай Ветров. Тогда он отложит докладную.

Она посмотрела на меня. Я не внушал ей доверия.

— Не знаю, товарищ, — протянула она, — я как-то не уверена...

«Синее лицо, — думалось ей, — в крапочку. Ну и тип! Уж не бандит ли?» Эти мысли бегали по ее лицу, как световая реклама на «Известиях».

— Вы, наверно, недавно на этом месте, — сказал я. — Понимаете ли, здесь специфика. Вы скажите, что пришел я, и он меня примет.

Она передернула плечиками и пошла в кабинет. Через секунду она возвратилась. У нее было гостеприимное лицо.

— Пожалуйста, — сказала она, — проходите.

Я вошел.

— Что скажешь? — сказал он, не подымая головы. Он что-то строчил.

Я сказал:

— У меня к тебе дело, понимаешь. Просьба. Ты ведь знаешь, я никогда ни о чем тебя не просил.

— Давай, — сказал он.

— Алексей Семеныч, припомни, — сказал я, — скажи, я когда-нибудь, ну хоть раз, отказался от поездки на фронт, если ты посылал?

— Не хватало, чтобы отказывался от поездок на фронт, — сказал он саркастически и поставил точку, там, на своей докладной. — Здорово, — сказал он, подняв глаза. — Слушай, а испугался, когда изуродовал лицо?

Он еще не видел меня с крапочками. Я сказал:

— Да, конечно. Уж очень громко бахнуло. Так вот, когда меня отправили на сто двадцать представлений на целину, я отказывался? Говори.

Он смотрел на меня спокойно, с минимальным интересом.

— Ну, не отказывался! К чему ты это?

— А в колхозы, на Магнитку, на Братскую ГЭС, на Хибины, в Қаракумы, в Арктику, к черту, к дьяволу я отказывался?

— Учти, Коля, — сказал он, — время дорого.

— А у тебя есть ко мне претензии как к работнику, Алексей Семеныч? Может быть, у меня были выговора или нарушения дисциплины? А?

— Слушай, — сказал он, — если ты выпил, так иди, не мешай работать. — И он снова взялся за ручку.

— Нет, — сказал я. — Алексей Семеныч, вот она, просьба, ты посмотри свой график, вот сейчас при мне, посмотри, найди какой-нибудь «горящий» цирк и немедленно отправь меня отсюда. Объяснять ничего не буду. Я там живо подниму сборы. Я там буду давать вечера смеха. Отправь меня, друг.

Впервые в его глазах я увидел настоящее удивление. Он весь подался вперед. Он ушам своим не верил.

— Хочешь бросить программу?

— Нет. Просто не могу. Нету сил, — сказал я. — Давай без скандала.

Он помолчал, не спуская с меня глаз, и вдруг ему показалось, что он нашел, чем меня убедить.

— Не дури, Коля, брось, — сказал он, — ты интереса своего не понимаешь, тебе надо быть в этой программе, надо! Ну, посуди сам, ты давно не был в Москве и вот появился. Новая программа, новая публика, центральная пресса, и снова все заговорят о тебе: Ветров,

Ветров, вы видели Ветрова? Я вчера видела Ветрова, то-се, встречи с композиторами, Дом актера, а как же? Там, глядишь, министр в цирк заглянет, ну, пусть не сам, пусть его дети, — кто понравился? Опять Ветров! А тебе уже давно пора звание получать, а ты тут как тут, на виду у общественности столицы! И нам будет легче ставить вопрос. Не дури, Коля, брось...

— Слушай, — сказал я, — подбери город подальше. И где сборы плохие. Я вам помогу.

Тут он ни с того ни с сего игриво так покачал головой, двусмысленная улыбка пробежала по его губам, и он саданул меня с размаху:

— Коля, никогда не поверю, что ты придаешь такое значение этому буфетному романчику...

Я посмотрел на него. Он вскочил и побежал от меня, натываясь на стулья и на ходу опрокидывая их и ударяясь о косяки столов. Из дальнего угла он закричал, выставив руки, обороняясь.

— Не смей! — кричал он. — Опомнись! Ты что? Успокойся!

Он был белый как мел. Я отошел к окну и покурив немного. Постепенно сердце перестало стучать, кровь отлила от головы. В окно был виден наш старый бульвар и старое корявое дерево, к которому три года назад вышла ко мне на первое свидание Тая. Тогда шел снег, тяжелый и холодный, а мне было жарко, и мы с Таей шли с непокрытыми головами и ступали по талому снегу, не разбирая, где посуше, и она все смеялась: «Как маленькие».

Я прокашлялся и обернулся, нужно было продолжать разговор. Алексей Семеныч сидел за столом и строчил. Видно, и он тоже поуспокоился. Я пошел к нему. Он сказал, не подымая головы:

— Честное слово, думал, что убьешь. Делай как знаешь. На тебе приказ. Иди к Башковичу.

Я сказал:

— Спасибо. Будь здоров.

Он ответил:

— Приезжай в другой раз, Коля, мы тебе напишем.

Я вышел в приемную. Секретарша сидела за столом тише воды ниже травы. Теперь она убедилась, что я бандит. Я взял трубку и соединился с Башковичем и прочитал ему по телефону приказ Алексея. Он выслу-

шал и, как всегда ничему не удивляясь, ответил вежливо и спокойно, тщательно выговаривая все буквы в моем имени-отчестве:

— Все будет сделано, Николай Иванович. Билет я вам вручу лично.

Я оставил приказ секретарше и попросил ее сделать копию для меня. Она кивнула головой. Я думаю, она боялась меня. Я поклонился ей и пошел из управления, пошел по крутой лесенке вниз, повернул в дверь налево и вошел в цирк. Хорошо, что я уеду. Здесь я бы не смог. Здесь все для меня погребло. Я пошел направо. С манежа доносилась затейливая, кудрявая музыка, барабан лупил вовсю. Шел детский утренник. Я прошел мимо буфета и встал у бокового прохода. Старая капельдинерша приготовилась открыть мне красную бархатную шторку, она думала, что я хочу пройти на места. Но я остался здесь. Музыка перешла на галоп. Потом наступила пауза. Сердце мое билось. Прошла секунда, и свежий, весенний, все оживляющий дождь пролился на меня: я услышал спасительный плеск детских ладош.

20

Поезд отходил в ноль пятьдесят. Когда я вышел из такси, часы показывали половину первого. На вокзале было пусто и темно, мне показалось, что сегодня только я один уезжаю из Москвы. У вагонов не было ни провожающих, ни отъезжающих, лишь в еле мерцавших, наглухо занавешенных окнах киосков смутно мелькали силуэты продавщиц: там подсчитывали дневную выручку или убирали с витрин зачерствевшие шоколадные плитки. Громко и как бы вызывающе стучали наши шаги по сцепленному первым осенним заморозком перрону. Носильщик толкал впереди себя небольшую тележку с палкой-толкачом, тележка шла бесшумно, ею было легко управлять. Это усовершенствование мне понравилось, а то я всю жизнь не любил пользоваться услугами носильщиков, невозможно было смотреть, как чужой и частенько даже пожилой человек, наверняка уже больной и вообще усталый, тащит твой чемоданчик, а ты не можешь ему помочь, потому что третья рука у тебя нет, а эти две уже заняты через меру. А так мы шли, словно играя в эту перевозку, шли легко

и быстро, и я сказал носильщику, что сундук, да и большой чемодан заодно, мы сдадим в багаж, а со мной поедет только маленький, лакированный. Носильщик сказал:

— Ну-к что ж...

Мы прошли мимо седьмого вагона, в котором мне предстояло ехать, и потом мимо темного вагона-ресторана вперед, к голове поезда, и там носильщик сдал мои вещи, а я проследил, чтобы их не швыряли уж чересчур-то, и объяснил заспанному и сердитому багажному дежурному, почему это для меня важно. Он хранил недоброжелательное выражение на заспанном лице, но сундук и чемодан устроил так, как мне хотелось.

Я заплатил носильщику, и он удивленно посмотрел на деньги, ему показалось много, и он подумал, что я ошибся и передал, но я сказал ему:

— Все в порядке.

Он приподнял кепку:

— Большое спасибо.

И заторопился к выходу. А я вынул папиросы и угостил дежурного, и мы покурили и постояли у багажного вагона и поговорили. Так, ни о чем. И потом он тоже ушел, и я остался один, совсем один, по-настоящему, и, пожалуй, не очень-то сладко было мне в эти минуты. Мимо меня по соседней колее прополз какой-то допотопный паровозик, остановился рядом со мной и вдруг взвизгнул, как старая кликуша-истеричка, и потом задышал лихорадочно и часто и стал выбрасывать в сторону плотные и осязаемые на вид клубы дыма кремового цвета. Я попытался взять себе на память немного такого отличного дымка и сжал ладонь. Часы показывали сорок минут первого, нужно было садиться, и я пошел.

Возле седьмого вагона стояла Тая. Я подошел к ней вплотную, и она улыбнулась мне, подняв милое лицо, улыбнулась, как тогда, в самом начале, на бульваре, под деревом. Она положила мне на грудь свои руки в перчатках, не то собираясь оттолкнуть меня, не то притянуть к себе.

— Я здесь недалеко была, на день рождения ходила к сестре, — сказала она смущенно. — К Полине, к своей двоюродной. Ну, выпили, конечно. А потом сижу и вспомнила: сегодня в цирке говорили, тебя во Владивосток направляют, дай, думаю, провожу черта синего,

раз уж он сам не пришел попроситься, не пришел, не нашел нужным. Как ты мог, какое у тебя сердце, я весь день в цирке, два утренника отбарабанила, еле на ногах стою... Не ожидала, Коля, что не зайдешь...

Я ничего не ответил. Она еще немного постояла и, полуотвернувшись от меня, тихо сказала:

— Переживаешь, да? За Ирину Васильевну переживаешь?

Она снова стала смотреть на меня и приблизилась, словно всматривалась, и наконец заговорила:

— Темный ты какой, весь темный, и глаза тоже. Осунулся как, подался, будто переехали тебя. Старый стал, совсем старый. Переживаешь... Я видела, как ты тогда с ней разговаривал и смотрел на нее, словно целовал ее, Ирину Васильевну. Молодой ты тогда стоял, вроде мальчика, не то что сейчас. Я тогда, Коля, каюсь, недоброго тебе пожелала, да и ей тоже, обоим вам, Коля, ведь меня словно кто ножом полоснул по сердцу, когда я увидела, что она тебя за руку держит. А теперь как каюсь. Ночей не сплю, ведь это ужас, ах, бедная, бедная! Мишка теперь совсем сопьется, а ведь хороший человек, он из-за нее, из-за любви-то к ней и вовсе было расцвел, а теперь пошел, говорят, закружился, опять соскочил с зарубки...

— Зря, Тая, — сказал я, — зря ты ей недоброго желала. Она Мишу любила.

Она задумалась и робко так сказала:

— Теперь надолго уедешь, да?

Я сказал:

— Тая, прости меня.

Она как будто вернулась откуда и вскинула на меня глаза:

— О чем ты?

Я сказал:

— Я уже давным-давно хотел Вовке подарить коня. Красивого, как в цирке, чтобы в яблоках и из ушей дым валит, из ноздрей пламя пышет. Тая, ты возьми у меня денег и купи от меня, ладно?

— Убери! — сказала она и ненавистно, и жалостно, и грозно. — Я куплю ему коня и скажу, что от тебя. А деньги убери! Мало ты меня обидел, да? Еще надо?

— Ты что, Тая. Я ведь хотел хорошего. Только хорошего, что поделать — не вышло, не моя вина.

— Нет, — сказала она, и голос ее зазвенел и натянулся, — не надо, не говори, не надо врать, это ты говоришь так, чтобы еще злей моя мука была, а ты ничего не хотел хорошего между нами! Может быть, вообще в жизни ты мечтал, хотел хорошего, но не про меня, не ври. Не смеешь меня винить... На всю жизнь меня виноватой оставить...

Она полуговорила-полуплакала, спешила, захлебывалась и комкала слова. Громкоговоритель заглушил ее, гулко пробасив что-то непонятное. Тая запнулась на полуслове.

— Сейчас отправляемся, — сказала проводница строго и взошла на подножку.

Я поднялся за ней. Тая смотрела на меня снизу вверх, и мне трудно, непереносимо трудно было уезжать. Если бы остаться и стать отцом ее Вовки, она ведь за это только добром ответит, и ни Лыбарзина не будет, ни майора с «Волгой», — никогда и я, наверное, бы не уехал, если бы в цирке под куполом все фонари были целые, и я увидел бы там счастливое от любви к Мишке Раскатову лицо, и низкий речной смех, и золото, и синь... Но я знал, что страшно изуродованный фонарь висит еще в цирке, и в ушах моих все еще жил этот жуткий, глухой и неясный звук. Китайский мячик...

Тук. Тук. Тук.

Поезд мягко тронулся. Тая пошла за ним.

Я хотел сказать ей: «Жди меня, Тая», — да ничего не вышло, только шевельнулись губы. Но Тая это заметила, поняла, что я хочу что-то сказать, и крикнула отчаянно и так громко, как будто я был на другом берегу.

— Что? — крикнула она. Она уже шла очень быстро, почти бежала. — Что ты говоришь? —

Она устала от бега, и прижала руки к груди, и остановилась. Я сошел на подножку и оттянулся на поручнях. Она сделала еще несколько шагов вслед за убыстряющим ход поездом.

Я напрягся изо всех сил и крикнул туда, в город, в перрон, в ночь, в мокрые и горькие глаза:

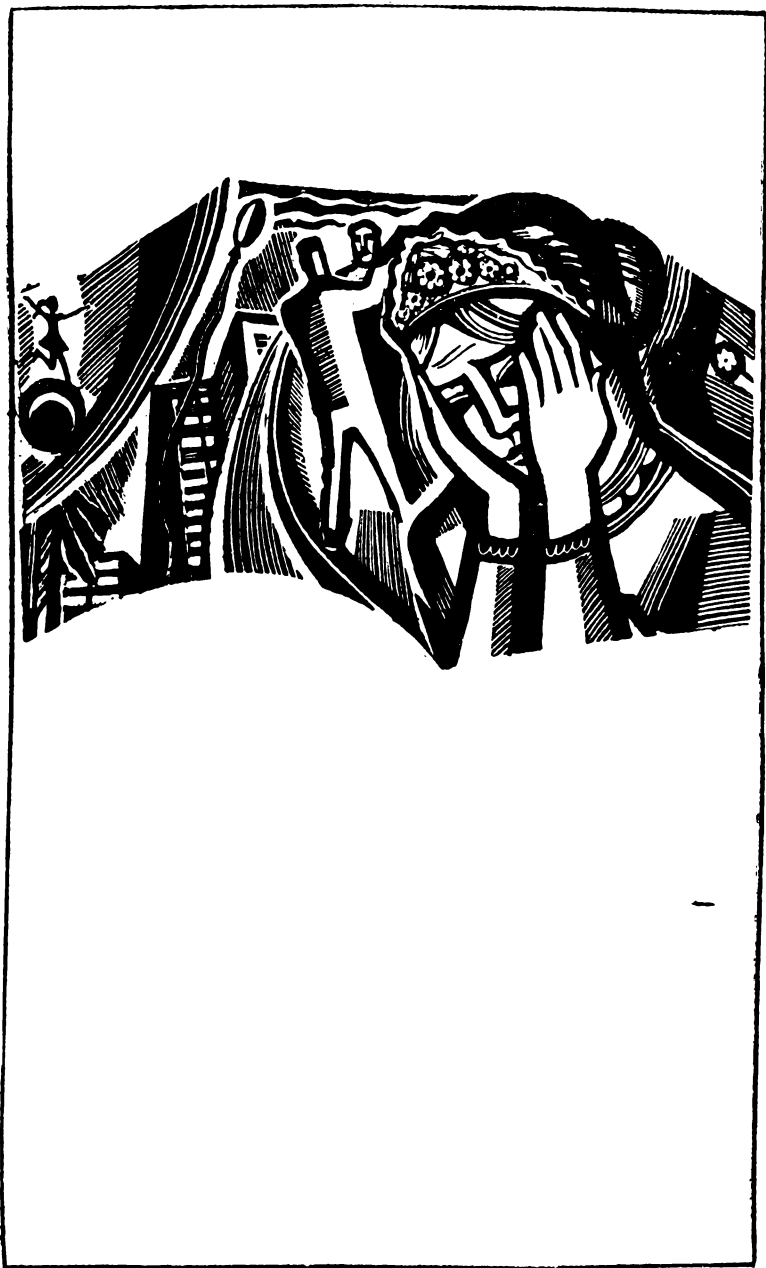
— Прощай, Тая! Счастливо оставаться!

Я постарался улыбнуться и крикнул еще:

— А собачка дальше полетела!

РАССКАЗЫ

.



ДЛЯ ПАМЯТИ

Когда Иван Сергеевич задумал это дело, ему казалось, что он напишет огромный толстый том, большую и мудрую книгу, вроде его любимой — «Войны и мира». Ему казалось, что все великое, что он увидел на войне в людях; все человеческие судьбы, с которыми война его столкнула; все оборвавшиеся жизни и незавершенные биографии, которые война оборвала и которым не дала завершиться; все новые и глубокие мысли, которые пришли к нему на войне; люди, до сих пор живущие в его душе, их мысли и чувства, которые они ему поверяли и которые были ему близки и понятны, — что все это, вместе взятое, победит с кончика пера на бумагу простыми и сильными словами и что, таким образом, написав о своих однополчанах, о братьях по войне, он, Иван Сергеевич, сделает нечто очень высокое и нужное для всех людей на всем свете.

Ему казалось, что, не выполни он этого долга, ему будет трудно и странно жить среди людей, которым обязательно нужно рассказать, все, чем болела его душа, рассказать для примера, для напоминания, для вечного уважения к ушедшим...

Это чувство заставило его сесть за стол, надеть на уродливую клешню своей правой руки алюминиевую, им самим изобретенную державку, вставить в нее карандаш и просидеть около двух месяцев над толстой, специально для этого приобретенной конторской книгой. Писалось Ивану Сергеевичу трудно, и это было ему удивительно и непонятно. Он был поражен тем, что слова, столь ясно и отчетливо ощущаемые им, теперь так мед-

ленно и неохотно переселялись на бумагу. На бумаге слова казались ему случайными, враждебными друг другу, словно они были сделаны одно из железа, другое из стекла. Но Иван Сергеевич был человек упорный и, хотя и не спал по ночам, и худел, и мучился, — дела начатого не бросал.

И когда пришло время, он неожиданно для себя обнаружил, что толстого тома ему написать не удалось и что все, что ему хотелось рассказать, уместилось на шестнадцати страницах конторской книги. Но, перечитывая рукопись, Иван Сергеевич безошибочно почувствовал, что в этих написанных им строчках таится нечто серьезное и даже как будто необычное и что люди, родственные ему по душевному складу, прочитав или услышав эти строки, тоже, как и он, вспомнят многое такое, о чем они не смеют, не имеют права забывать во веки веков. И он отдал рукопись знакомой машинистке, и она быстро все сделала, и теперь ему особенно странно и приятно было читать на чистом заглавном листе свою фамилию. И особенно волнующим и многообещающим казался Ивану Сергеевичу заголовок, придуманный им для своего произведения: «Воспоминания бойца».

И однажды утром, побрившись и почистившись, Иван Сергеевич вложил свою рукопись в серенькую папку с неподходящей надписью «Дело» и, поскрипывая протезом, зашагал в редакцию. На улице было ясно и весело, дул ветер, и мчались машины, и все было ярко, красиво и нарядно, но радостное настроение Ивана Сергеевича, как это ни странно, резко испортилось, и он почувствовал легкую боль в груди и сердцебиение. Это неожиданное волнение показалось Ивану Сергеевичу мальчишеским, несолидным, и он неодобрительно покачал сам на себя головой.

В здание, где помещалась редакция, его пропустили сравнительно быстро. Он прошел по мягким коврам и постучал в обитую клеенкой дверь. Обождав немного и не услышав ответа, он толкнул дверь и вошел в комнату.

Перед ним стоял большой письменный стол, заваленный всякими бумагами, а у стола в низком мягком кресле сидела девушка и говорила что-то в телефон, и когда Иван Сергеевич вошел, она недовольно обернулась и метнула в него сердитый взгляд прекрасных серых глаз,

огромных и дерзких. Иван Сергеевич попятился было от ее взгляда, но девушка зажала микрофон рукой и быстро сказала, показывая подбородком:

— Присядьте, пожалуйста. Я сейчас...

И она снова занялась разговором, а Иван Сергеевич садиться не стал. Он отошел к окну и огляделся. Ему очень понравилась эта комната, теплая, светлая и чистая, и он с удовольствием стал рассматривать десятки цветочных горшков, умело и со вкусом расставленных на подоконнике и даже на полу. Это были все больше неизвестные ему комнатные растения, с какими-то словно забрызганными краской листьями. Некоторые из них были как будто на красной подкладке и нежно просвечивались на солнце плотными набухшими жилками. И от всего этого комната, которую рассматривал Иван Сергеевич, показалась ему очень уютной, совершенно непохожей на казенную, и девушка, сидевшая в низком кресле и закинувшая ногу на ногу, показалась ему тоже не казенной, не официальной, что ли, она показалась ему доброй и веселой красавицей. Ему понравилась ее крупная рука с отточенными ногтями, наверно, сильная и горячая, и ноги девушки, длинные и сильные, тоже понравились ему. Чулки на девушкиных ногах были совсем тонкие и прозрачные, и сквозь них были видны родинки, и Иван Сергеевич отвел от них глаза, увидев надвязку чулка под чуть-чуть приподнявшейся юбкой. Он подумал, что девушке года двадцать два — двадцать три, не больше, и что хотя вот он еще не старый человек, а поди ж ты, у него вполне могла бы быть такая взрослая и красивая дочь.

И когда девушка окончила свой разговор, Иван Сергеевич, полный дружелюбного чувства и совсем уже избавившийся от волнения, шагнул к ней, тихонько скрипнув протезом, и, убирая в рукав правую безобразную клешню, чтобы не пугать, левой протянул девушке свое сочинение:

— Вот, — сказал он, — прочтите, пожалуйста.

Девушка взяла рукопись и бегло взглянула на заголовков.

— Это что, — сказала она, — это про войну?

— Ну конечно, — ласково улыбаясь и немного удивившись этому наивному вопросу, сказал Иван Сергеевич, — конечно, про войну, про что же еще?..

Он был очень рад, что такая попалась славная девушка, она задавала детские вопросы, и ему стало с ней легко и просто, как старшему с маленьким, и поэтому он счел возможным довериться ей:

— Это я не для денег написал, нет. И не для славы... — Он слегка покраснел, потом нахмурился и сказал главное: — Это для памяти.

Девушка не стала перелистывать его рукопись. Липо ее стало скучным и обыденным, когда она протянула «Воспоминания бойца» Ивану Сергеевичу.

— Про войну? — Она не могла скрыть своего разочарования. — Ну к чему это? Это теперь неинтересно, что вы... — Она все-таки превозмогла себя и улыбнулась Ивану Сергеевичу, искренне желая, чтобы все у них с ним вышло по-хорошему, без острых конфликтов, которые часто возникают с молодыми авторами. И, не питая ничего дурного к Ивану Сергеевичу лично, она улыбнулась ему еще раз, уже от щедрости, просто так, пленительно и широко, не понимая, какой она нанесла ему сейчас страшный удар.

Иван Сергеевич взял рукопись, и когда брал, увидел, как неприятно, крупно дрожит его левая рука. Но он скрепился, сдержался и виду не показал. Он только подумал, что ему и не такое приходилось выносить, и что главное дело — не надо виду показывать, что тебе худо, — так лучше и для тебя и для других. Он повернулся и вышел из этой веселой зеленой комнаты, так и не проронив ни слова. Девушка с недоумением посмотрела ему вслед своими серыми дерзкими глазами и тихонько вздохнула. Он ушел, и она была рада, что обошлось без длинных и нудных разговоров. Она подошла к телефону и перед тем как взять трубку, сладко потянулась. Но потом раздумала звонить и, закинув свои сильные и горячие руки за голову, принялась думать о том, о чем она непрерывно думала все последнее время: две недели тому назад она стала женщиной, и с тех пор ни о чем другом думать не могла.

А Иван Сергеевич спустился по лестнице, тоже устланной мягкими коврами, на улицу, и так же прилежно и скоро, как шел сюда, пошел обратно. Он снова чувствовал легкое стеснение в груди, но знал, что причина тому была уже другая. Он был потрясен и растерян, хотя по лицу его этого сказать нельзя было. Просто

шел по улице средних лет седоватый инвалид, шел нормально, трезвый, никого не задирает, и только дойдя до бульвара, повел головой, осмотрелся, постоял обочь тротуара и не торопясь перешел дорогу. У одной из скамеек он остановился и вынул левой своей здоровой рукой пачку папирос «Беломор», вытряхнул к губам одну папироску и ловко уцепил ее. Потом он спрятал пачку и стал рукой нахлопывать карманы, ища спички. Они откликнулись, брякнули в нагрудном кармане, и он достал их оттуда...

В эту минуту...

На Смоленщине шел дождь. Он был не пол-летнему холодный и падал из темной тяжелой тучи отвесно, толстыми, канатной толщины, струями, и под его жесткими ударами маленькая деревня Пчелики внезапно поникла, потеряла свой веселый и уютный облик, и на недавно желтоватых, приветливых дорогах загустела вязкая, липкая, трудная грязь. За околицей деревни стоял небольшой деревянный обелиск, украшенный деревянной же звездочкой, обставленный с четырех сторон небольшими красными флажками. Флажки эти выцвели от солнца, и они теперь были неопределенного пыльно-розового цвета, и сейчас под дождем они стали такими же темными, как деревня, как обелиск и звездочка. Они обмякли под дождем и бессильно повисли, и только иногда шлепали по ветру длинными нитями, вытянувшимися из старых обветшалых кромок кумача. Здесь была братская могила, последнее место успокоения солдатского взвода, сожженного здесь заживо фашистскими карателями. Это был крепкий взвод, весь состоявший из мальчишек двадцать четвертого года рождения, мальчишек, еще не умевших как следует воевать, но совершенно не желавших помирать только из-за того, что врагов было больше. Они вполне понимали всю безнадежность своего положения, но тем не менее, заняв круговую оборону в маленькой пуньке, взвод этот дрался ожесточенно и яростно. Отрезанные от своих, эти мальчишки дорого продали свои коротенькие жизнецы и погибли все до одного, не оставив истории своих имен. И теперь над ними шел дождь, тяжелый и угрюмый. Он стегал эту бедную смоленскую землю, сек ее сабельными ударами, крошил, рылся в ней нетерпеливыми пальцами, точил ее насквозь. Он продолжал упорную работу, на-

чату ю другими дождями много лет назад, и работал тупо, долго и неослабно.

И часа через три такого его прилежания дождь добился своего: у нижнего края могилы, у нижней боковины ее, неожиданно проглянула небольшая, серая и гладко отточенная кость...

...В эту минуту жительница города Малоярославца Мария Васильевна Фоминцева подняла свое оплывшее, грузное тело с постели и, мешкотно передвигая по комнате опухшие ноги, подошла поближе к Лешину портрету, висящему на стене. Веточки с засохшей, чуть пропылившейся туей обрамляли Лешин портрет, и среди этих засохших веточек ярко сверкали свежие ромашки, вплетенные сюда Марией Васильевной еще утром. В день своего рождения Леша глядел на мать веселыми и милыми глазами, рот его был полуоткрыт. Несмотря на то что Леша снимался сразу после окончания школы, когда ему было уже около семнадцати лет, этот его полуоткрытый рот напоминал Марии Васильевне Лешу маленького, трехлетнего, удивительно и трогательно похожего тогда на птенчика и совершенно не утратившего этого сходства до дней своей мужественной юности. Мария Васильевна стояла сейчас перед портретом сына, сложив руки, и неотрывно глядела на Лешу с какой-то странной, ей самой непонятной укоризной. Но Леша ни в чем не был виноват перед матерью и перед людьми, — разве можно винить человека, ушедшего в передовое охранение и получившего там пулю под самое сердце? Нет, его в этом винить нельзя, и Мария Васильевна пошарила за портретом и достала оттуда сложенную треугольником похоронку, ту самую, которую восемнадцать лет назад она так недоверчиво отодвинула от себя, еще не понимая, не имея сил понять, — не позволяя себе понять простой и страшный смысл простых и страшных слов, написанных в ней. Она держала сейчас в руках эту вечно зияющую рану и вдруг увидела, как давно-давно, много сотен лет назад, она стояла в этой же комнате и видела в зеркале свою узенькую и ловкую фигурку. Да, она быстрая тогда была и легкая, — трудно в это поверить, а так оно и было, — и Леша тогда стоял перед ней на столе в одних чулках, и Мария Васильевна примеряла ему купленную ради праздника об новку — красные сандалики.

У правого сандалика задник немножко замялся, и Мария Васильевна взяла чайную ложечку и уперла ее в задник, а другой рукой взяла Лешину маленькую и круглую, как яблочко, пятку и втиснула ее наконец. И Леша затопал на столе красными сандаликами, как будто заплясал от радости, и она поцеловала его тогда. При этом воспоминании старая, бледная, горькая кровь Марии Васильевны стукнула ей в сердце, из этого сердца закапали мелкие и частые слезы прямо на похоронку, сжатую в ее уставших и сморщенных руках...

...В эту минуту Михаил Михалыч Кудряшов, майор, 1918 года рождения, член КПСС, женатый, имеющий четырех детей; провоевавший всю войну и дошедший до Берлина, кавалер орденов Славы, Красной Звезды и Отечественной войны; после победы оставшийся в рядах армии и исколесивший по долгу своей нелегкой службы всю Россию; хлебнувший на своем веку горя полной и щедрой мерой; больной стенокардией и печенью; ныне демобилизованный, — стоял в зале ожиданий луховицкого вокзала над спящими на широкой вокзальной лавке четырьмя детьми и разговаривал со своей женой Людмилой Николаевной, 1924 года рождения, бывшей медсестрой. Кудряшов старался говорить тихо, он не хотел, чтобы окружающие незнакомые люди узнали про его невеселые дела:

— Репиков отказал. Он говорит, что не может прописать нас в Луховицах. Из его объяснений я понял только, что Репиков уже напрописал «у себя», как он выражается, целую кучу демобилизованных.

— Кто это Репиков? — спросила Людмила Николаевна и протянула мужу кусок черного хлеба с маслом и положила поверх масла несколько кусочков колбасы. Кудряшов ел стоя, торопясь, видно проголодался, бегая целый день по городу, и Людмила Николаевна с болью видела, что жует он одними передними зубами, что он похудел и измучился, но виду не показывает, не желая ее огорчать. Людмила Николаевна слушала его речь и больше всего боялась, что услышит в ней нотки ожесточения и отчаяния. Но Кудряшов, наскоро проглотив первый кусок, теперь, поворачивая бутерброд к себе другой, некусанной еще стороной, спокойно ответил жене:

— Репиков — шишка из горисполкома! От него, видимо, зависит все! Большой, видно, начальник.

И Людмила Николаевна с радостью увидела, как насмешливые морщинки сбежались у глаз Кудряшова, когда он сказал: «Ба-альшой начальник»...

— Он молодой? — спросила Людмила Николаевна.

— Лет тридцати, — сказал Кудряшов.

— Боже мой, — сказала Людмила Николаевна и опустила руки и перестала улыбаться, — боже мой, — повторила она, — значит, он не воевал, он был мальчишкой, когда ты защищал его жизнь, как же он смеет отказывать тебе?

— Смеет, — сказал Кудряшов, — и даже очень смеет. Он и кричать на меня смеет. Он кричал, что я хочу в Луховицы потому, что меня привлекает здешняя, почему-то особенная — прекрасная и легкая — жизнь...

— И ты смолчал? Неужели ты смолчал, Миша?

— Я сказал ему, что он сволочь, — ответил майор Кудряшов.

...В эту минуту Иван Сергеевич присел на скамью и, отрешенно отодвинув от себя свое сочинение — «Воспоминания бойца», — своею левой здоровой рукой ловко зажег спичку. Когда он поднес ее к папиросе, он увидел, что рука его все еще дрожит.

БРЕЗЕНТ

Пять на четыре — не меньше, толстый, добротный и прочный, с накрепко пристроченными по длине и ширине петлями, бледно-голубой, небрежно сложенный вчетверо, брошенный, примятый и пнутый ногой, — лежал в углу этот брезент. Комната была нарядная и бессмысленная, и среди шикарных термосов, стоящих для украшения по обеим сторонам зеркала, среди розовых пепельниц, среди пасущихся на плюшевых лугах оленей только он, этот брезент, привлекал к себе особое, настоящее, пристальное внимание. Он был здесь не к месту, чужак, не к руке варежка, словно случайно забредший в сберкассе матрос. И он дахнул, этот брезент. Ах, боже ты мой, как сильно и остро пахнул он летнею ночью, медовыми, тяжелыми слитками звезд, только что скошенным луговым сеном, свежей рыбой, туманом и волосатым днищем перевернутого карбаса.

Брезент лежал в углу бессмысленной комнаты, топырясь неловкими складками. Эти складки были набиты бередящими душу звуками: барабанной дробы дружного дождя, скрипа уключин, крика далекой птицы, горячей и дрожащей песни. Быстрый и скрытный шепот, укромная тьма, тепло тонкой ладони и нежность, сжимающая сердце до боли. В трубчатых складках брезента жили мужские сокровенные разговоры о дружбе, о долге, о прекрасной неутоленной любви, и непроглядные сны о детстве, сны, настоянные на малине и хвое, на надежде и вере, тоже жили в этих тяжелых складках...

Курилов не сдержался.

— Хорош брезент, — сказал он, — хорош, ничего не скажешь.

— Тебе дорого будет, — откликнулся хозяин, — я за него девяносто рублей отдал... Теперь-то, верно, он мне не нужен вовсе, я гараж выстроил, а прежде думал этим брезентом своего «москвичонка» от дождя укрывать. А теперь он ни к чему мне. Так, попусту валяется. Но ведь он есть не просит, верно, да? Я его у иностранца взял, у проезжего. Ему деньги были нужны, я и взял. Ну? Так как? Берешь, нет?

— Вот не думал, что такую чертову уйму деньжищ стоит, — сказал Курилов.

Хозяин встал, потянулся и направился к двери.

— Ладно, поговорим еще, — бросил он на ходу и вышел.

А брезент лежал в углу, распираемый собственной упругой затаенной силой. Курилов подумал, что такой брезент иметь — это мечта, это то, что надо, с ним куда хочешь и что, наверно, раньше, в той прежней, прекрасной и настоящей своей жизни, брезент этот жил где-нибудь на корабле, был соленый и горячий, и какое, наверно, счастье выйти с таким брезентом на верхнюю палубу, ее качает вверх и вниз, а ты лежишь на спардеке или на юте, подостлав этот брезент под себя, и ты устал после приборки, и сладко ноют мышцы, и горят ладони; и ветер понемногу крепчает, и весомые, холодящие брызги грубо шлепают о твое разгоряченное лицо, и ты облизываешь пену с усов и ощущаешь ее легкий солоно-горький привкус. А корабль называется «Маруся Каширина» и идет из Архангельска на какие-нибудь там, к чертовой матери, Багамские острова...

А еще я могу такой брезент протащить на себе верст пятьдесят по палящему зною, в раскаленной пустыне, могу, ничего, не заплачу, не беспокойтесь, уж я его доставлю куда следует, и растяну, и поставлю, и укреплю на растяжках и распорках, и пускай под его голубую прохладную тень ляжет отдыхать сам начальник поисковой партии. Пускай начальник ляжет отдохнет, она красивая, самые раззеленные глаза в целом свете.

Ах, начальничек...

— Что вздыхаешь? — сказал кто-то негромко.

Курилов оглянулся.

Посверкивая быстрыми и грешными своими глазами, по комнате юрко двигалась Нина Васильевна. Она была много моложе своего мужа и хозяина, она была го-

раздо ближе годами к Курилову, к юному его облику и поэтому относилась к нему сочувственно и вроде как бы к сверстнику, по-приятельски.

— Что вздыхаешь? — повторила она и потянулась к штепселю, и когда потянулась, платье приподнялось, обнажив немного выше колен точеные, ловкие и тоже какие-то грешные ее ножки. Еще как только вошла, она перехватила завистливый взгляд Курилова, обращенный к углу, и улыбнулась широким ртом. Во рту было золото, и оно портило ее улыбку.

— Что, приглянулся брезент? — участливо спросила она.

— Чудо, — вздохнул Курилов.

— А ты купи, — сказала Нина Васильевна напористо, — он мой, не думай. А жаль, без дела лежит. Мертвый капитал. А я за него деньги платила. Это дело не пойдет — деньги гниют. Купи, мне его один солдат продал. Стянул, верно, где... Не знаю. А я с тебя недорого возьму, сколько отдала, столько и возьму. Полсотню. Давай полсотню и бери, пользуйся. Ты молодой, тебе очень сгодится. В лес на прогулку с девочкой или на рыбалку — первая вещь! Бери, слышишь? Давай полсотню — и твой!

— Пстой, — сказал Курилов, — не трещи, Нина. Она обиженно дернула плечиком.

В комнату, простирая вперед левую руку, вошла Аграфена Ивановна, Нинина мать, суровая старуха, недавно переехавшая к дочке из деревни. Она слепа, была глуховата, лицо ее черно было и сухо, говорила голосом низким и звучным, словно церковный колокол. Хозяйина этого дома старуха не любила, презирала его легкую жизнь, как несправедную, стеснялась хозяйина, ела мало и скудно, морила себя голодом, видно, зятёв хлеб не шел ей впрок, становился поперек горла. Она называла зятя прямо в глаза «Тузом», вкладывая в это слово едкую насмешку и на вечную его игривую манеру не отзывалась, отмалчивалась, холодно и враждебно.

Войдя, старуха пошла к столу, простирая вперед левую руку и нашаривая ею воздух, чтобы не наткнуться на что. Не желая продолжать при матери торговый разговор, Нина Васильевна собрала со стола чашки и вышла в кухню. Старуха тотчас же повернула рублев-

ское свое лицо к Курилову и колокольню гудящим голо- сом сказала:

— А правда-то, вот она, малый. Этот самый брезент, что тебе в сердце-то ударил, Нинке жених ее подарил. Первый. Алешка Полевыкин. Он, видишь, когда в армию уходил, крепко наказывал Нинке ждать. Ожидать, значит, его. Они так договорились, Нинка ему слово дала. Это он еще со школы себе цель наметил, чтобы после армии на Нинке жениться. Ну да, как же! Станет она тебя дожидать! Жулик-девка, жадная к жизни, не в меня, не в отца, не знаю в кого такая ловкая... Обманула парня, словчила, через полгода выскочила за этого, за нашего Туза-то... Не погнушалась! Деньги, что ли, почуяла? Или еще чем он ее сманил, не пойму. Я б такого пузастого и на шаг к себе не подпустила, а эта спать с ним легла, со старым чертом, не побрезговала. А когда Алешка приехал-то, значит, когда отслужил, — тут он долго горевал за Нинкой, больше года, осунулся весь, краше в гроб владут. Потом оклемался, конечно, девушку хорошую встретил, женился. Теперь дитенок у него, мальчишка бегаёт. Толькой назвали, люди говорили, ничего, складненький. Ротик клюковкой, носик пуговкой... Сама-то я его не видела, вот о чем жалею, не видела, не дал господь радости, своих-то внуков нет у меня... Видно, не может, старый черт, живого ребятенка исделать.

Голос у нее дрогнул, но она справилась с собой. Курилов слушал ее, пальцы его ласково и продленно касались рубчатой, шершавой поверхности брезента.

— Да, видно, старая-то любовь не ржавеет, — гудела старуха, передвигаясь по комнате боком и выставляя вперед левую руку, — Алешка-то знаешь чего отколол? Взял да и приехал к нам однажды, приехал, что ты будешь делать, как снег на голову. Я его во дворе встрела, он у дома машину-то постановил, он райкомовскую машину водит.

«Я, мол, проездом тут, — дай, думаю, загляну... Погляжу все же, как наша Нина-то поживает. Все же знакомые, как-никак в одну школу бегали, в пионерских ватагах, мол, из одного костерка картошки хватали...»

Сам говорит так вроде развязанно, улыбается, а Нину увидел — весь белый исделался. А эта, хоть плюй ей в глаза, скажет — божья роса, — хоть бы что! Гла-

зами крутит, грудь вперед, та-та-та да тра-та-та, — очень рада видеть, да что же раньше не заходили? А тут и сам Туз вышел. Лицо ревнивое, туча тучей. Руки Алеше не подал, в дом не пригласил, пүзо вперед, да ходу-ходу, мимо них-то да к воротам. А у ворот Алешкина машина. А в машине этот самый брезент. Туз его сразу заприметил и стоп! Лицо ласковое состроил, обернулся к Алешке, улыбается, словно отец родной, чистый Сахар Медович... отворотясь не наплюешься! Сейчас это он пальчиком так Алешку поманил и говорит: «Молодой человек! Где вы такой интересный брезент оторвали?»

А Алешка спокойно: «Полковник Сергачев подарил мне на память. Когда я демобилизовался».

А Туз: «Вот, Ниночка, тебе бы такой брезент. Ты бы свою машину от дождичка бы прикрыла... — И к Алешке: — Ах, молодой человек, как бы это красиво было, если бы вы этот брезент Ниночке подарили. Все-таки она ваша бывшая невеста. Ниночка, попроси молодого человека. Подарочек словно бы и невелик, да как бы кстати... Попроси, Ниночка, по старой дружбе...»

У, паразит! Нинка и та потупилась от его бесстыдства. Не знает, что говорить, стесняется, вся зарделась, а в глазах-то все равно видно, что алчная, хочет попользоваться, да не знает, как и быть. Уж больно нагло получается, открыто, ничем не припудрено! Мүка!

Но Алешка им это дело облегчил. «И верно, говорит, как это я сам не догадался! Возьми, Нина, на память!»

Говорит, а сам словно повеселел, что он познал их самую суть, понял сердцевину, своими глазами увидел, какой Нинкин муженек-то, и вполне постиг, на кого она его, Алешку, променяла, и какая она теперь сама за ним-то стала, — и словно полегчало Алешке от этого.

«Возьми, говорит, Ниночка, возьми, возьми!»

Да как схватит этот брезент, да на крыльцо-то его хлоп! Сам и был таков!

Старуха торжествующе хлопнула ладонью о ладонь и, присев и зажав руки между колен, медно захохотала, показывая темные, твердые десны.

От зажженного света за окном стало быстро темнеть, и Курилов увидел в небе тяжелую, лохматую тучу. У нее был недобрый вид. Из таких лохматых рыжих туч бьет в землю холодный и жесткий долгий дождь, и хотя

до вокзала было далеконочко, а Курилов сидел тут в ожидании грузовика с базы, на котором должен был его подкинуть кто-то из подчиненных хозяина, — все равно Курилов решил идти пешком. Он радостно думал о веселом и теплом свете вагона электрички. Он подошел к углу. Брезент лежал там, и Курилов постоял над ним с минуту. Сердце его застучало.

Он вдруг увидел этот брезент в колючих зарослях Сьерра-Маэстры, в горах, где так явственно слышится маршевый топот батальонов, топот и хриплые страстные песни бородатых мальчишек Кубы, бородатых мальчишек Революции с их светящимися во тьме глазами.

— Ну, что, юноша, берешь брезент? — сказал хозяин, воротясь в комнату. — Тебе, как другу, — скидка. Давай семьдесят пять!

— Пожалуй, пойду, — сказал Курилов, — как бы грозой не накрыло! Спасибо за кров. Пойду, не дождусь, видно, машины.

Он взял в руки рюкзак.

— А брезент, что ж... — сказал Курилов глухо, — брезент пусть у вас будет. Не возьму. Извините. Денег нет...

СТРАННОЕ ПЯТНО НА ПОТОЛКЕ

На улице было пасмурно и пронзительно холодно. Дул сильный февральский ветер, и грязные, окаймленные крупно нарезанными фестонами тенты овощных киосков, еще недавно такие яркие и легкие, теперь отчаянно бились и рвались на мерзлых узлах чугунных каркасов.

Дмитрий Васильевич внезапно почувствовал дурноту. Заныло левое плечо, и мозжащая широкая боль охватила грудь. Он прислонился к стене и, закрыв глаза, осторожно вобрал в себя тонкую струю воздуха, страшась той особой главной боли в середине вдоха, когда казалось, что внутри кто-то задвигал жесткую заслонку и кислороду больше не было пути. Если же втягивать в себя воздух понемногу, вот как сейчас, очень тонкой струей, тогда, может быть, удастся обмануть заслонку и все обойдется. Постояв так несколько секунд, Дмитрий Васильевич отер холодный свой лоб и, еще не совсем веря, что боль миновала, перевел дух. Все обошлось, и Дмитрий Васильевич, ободрившись, вдохнул посмелее еще разок, потом другой, все еще сомневаясь и проверяя, и наконец, решив набрать воздух во всю емкость легких, вдохнул полной грудью. Боли не было. Прошло. В широкое освещенное окно, у которого он стоял, отсюда, с улицы, был хорошо виден зал, уставленный столиками. Там сидели люди, и красивые девушки в кружевных наколках хлопотали возле них. Дмитрию Васильевичу захотелось пить. Вход в ресторан был рядом, и Дмитрий Васильевич, отдав пальто на вешалку, прошел через высокую стеклянную дверь в конец

зала, и когда шел, девушки в наколках, толпившиеся у кассы и вблизи не такие уж красивые, замолчали все вдруг и проводили его глазами.

Дмитрий Васильевич сел за столик, стоявший возле холодильника, отодвинул от себя застывшие кремовые гортензии, погладил приятную на ощупь вишневую кожу солидной книжечки меню, огляделся, заметил вход на кухню, полированные под старый дуб панельные стены, скользнул взглядом по тяжелым занавескам вверх и вдруг в дальнем углу на потолке увидел странное, резко очерченное по контуру желтое пятно... И тогда же все существо Дмитрия Васильевича охватило удивительное и таинственное чувство, ему смутно показалось, что он уже видел когда-то это пятно, и хоть сейчас не вспоминалось, когда и где именно, но что-то с ним, с пятном этим, было связано легкое и веселое, и Дмитрию Васильевичу стало любопытно и радостно, словно сейчас должно было свершиться и воссиять некое чудо, которого он уже давно ждал и которое медлило и медлило всю его жизнь. Дмитрий Васильевич громко и с удовольствием засмеялся этому небывалому чувству и с непонятной надеждой ещё раз взглянул на пятно.

— Митя?! — произнес за его спиной чей-то тихий и стесненный голос.

Он оглянулся и увидел пожилую женщину в накрашенной кружевной наколке, седеющую женщину с подкрашенными губами. Для того чтобы рот ее выглядел маленьким, женщина тронула помадой губы только в середине, нарисовала себе какое-то кривоватое сердечко, а за этим сердечком, за границами его ненакрашенные губы были старые, серые и увядшие. Она держала в руках полураскрытую толстую книжку меню и протягивала ее Дмитрию Васильевичу, и смотрела на него вопросительно, искательно и тревожно, словно боялась, что он не узнает ее, а если и узнает, то ее постаревшее лицо не понравится ему. И Дмитрий Васильевич тотчас же понял все это, и мгновенно узнал ее, и ему стало мучительно встретить ее такой жалкой, но радость взяла свое, и он сказал, глядя в трепетное и растерянное лицо женщины:

— Катя!.. Катя, милая!

И видно, была в его голосе настоящая правда и живое тепло, потому что женщина вдруг вспыхнула от его

ласки вся, до корней волос, зарумянилась как девочка, и протянула руки к Дмитрию Васильевичу, и он взял их и почувствовал жесткую, наработанную кожу на ладонях, и сжал их с силой, и наклонил к ним голову, собираясь поцеловать...

Из-за буфета вынырнул распухший человек, рыхлый и обвисший, в измятом пиджаке. Опершись о стойку, он закричал тонким капризным голосом:

— Баринова! Сдавайте чеки, сколько раз повторять! Вы в уме?

Катя испуганно вырвала свои пальцы из рук Дмитрия Васильевича.

— Я сейчас... Сейчас...

И она побежала на зов буфетчика, и Дмитрий Васильевич посмотрел ей вслед и увидел Катини растоптанные босоножки и пятки ее, широкие и тоже растоптанные. Дмитрий Васильевич не стал прислушиваться к ее разговору с распухшим человеком. Он ничего не слышал и не помнил сейчас, кроме той веселой июньской ночи, когда он сидел со своими друзьями в этом зале, а вокруг плясала и пела песни московская молодежь. И никто из присутствующих не знал тогда, что это, может быть, последняя счастливая ночь в его жизни, что вслед за этой теплой, шумливой и дружелюбной ночью придет утро, а с ним свинцовое горе и разлука, и дороги, дороги, дороги, чудовищные, вязкие, трудные, политые кровью дороги, обставленные по обочинам невысокими, наспех сколоченными, бедными, деревяннымиobeliskами с негасимыми вечными звездами наверху. Да, никто тогда ничего такого не знал, и какая же искренняя, горячая и белая была эта июньская ночь! Молодые песни летали вокруг, и Дмитрий Васильевич пел эти песни вместе со всеми, и высокая красивая девушка с ясными серыми глазами подавала ему тогда имеретинское вино. Оно было совсем легкое, зеленое и дешевое, и казалось, его можно выпить сколько угодно, но оно было сумасшедшее, это вино. После первых же двух стаканов занавески на окнах показались ему парусами, они хлопали на ветру, и палубу, на которой кружились пары, качало из стороны в сторону, и посуда слетала со стола, — видно, ветер крепчал. И эта девушка присела к нему за стол, и они стали глядеть друг на друга, и его друзья стали над ними шутить и смеяться, но он не обра-

шал на дураков никакого внимания. Девушка была хоть и рослая, но хрупкая, и было в ней удивительное чувство достоинства и милая грация. Руки были у нее длинные, пальцы тоже длинные и тонкие, и Дмитрий Васильевич глаз не мог от нее отвести. Она смеялась тогда мало, а все почему-то задумывалась и вздыхала, и смотрела ему в глаза глубоко и серьезно, и пила зеленоватое вино маленькими глотками. Она показала ему тогда на странное пятно на потолке и сказала:

— На что похоже? На облако?

— Нет, — сказал он, — похоже на далекий прекрасный остров.

— На какой? — сказала она.

— Я не знаю, — сказал он.

И она засмеялась, глядя на него из-за края бокала. И они снова выпили, а когда все разошлись, он помогал официанткам снимать скатерти и сдвигать столы, и девушки помыкали им напропалую, и он толкался среди них как неприкаянный. Потом он сидел в углу возле огромной кучи смятых скатертей и ждал Катю, и купил еще бутылку имеретинского и яблок. Покуда он стоял у буфета, он потерял Катю из виду и подумал, что она убежала от него, и от этой мысли его прямо-таки затрясло. Но она вышла к нему уже без наколки и фартука и оказалась еще краше. Они вышли на улицу и прошли по спящему предрассветному городу и неожиданно очутились на набережной. Река лежала в берегах, налитая до краев, тугая и недвижимая. Торец стоящего на том берегу кирпичного здания сверкал, как драгоценный. Это всплывало солнце. И Дмитрию Васильевичу, наверное, нужно было тогда поговорить с Катей, сказать ей и объяснить все, что было на душе, но он думал, что успеется, и молчал. И Катя тоже молчала. Ничего не нужно было говорить в эти минуты, они стояли так в розовом рассвете, молчали, хрустели яблоками и попивали зеленоватое вино прямо из горлышка. А Дмитрий Васильевич поцеловал тогда Катю в прохладные яблочные губы, и она тоже поцеловала его...

...И с тех пор, дорогие друзья, прошло более двадцати лет.

Катя стояла у буфета в какой-то смущенной поникшей позе, и распухший буфетчик, шлепая похожими на олады губами, отчитывал ее за что-то.

Видно было, что Кате это невольно, трудно и что она рада была бы сквозь землю провалиться, только не стоять бы такой старой и усталой перед этим типом. Дмитрию Васильевичу захотелось, чтобы она вернулась поскорее к нему, к его столику, ему понятно было, что и ей хочется поговорить с ним, быть к нему поближе, постоять подле него, может быть, условиться, но сейчас нельзя, надо терпеть, нельзя, служба, дисциплина, ничего не поделаешь.

Буфетчик стал щелкать костяшками счетов, неприятно кривясь и все не отпуская Катю. Дмитрий Васильевич смотрел на него и чувствовал, как в его груди поднимается тяжелое яростное чувство. Он повернулся всем корпусом к буфету.

— На пенсию пора! — Буфетчик распалился от злости и повысил голос: — Хочешь работать, работай, нечего тут тары-бары разводить! А не хочешь работать — на пенсию, пожалуйста. На пенсию! По старости!

Дмитрий Васильевич увидел, как Катя опустила голову и густая краска залила ее шею, и двумя руками Катя закрыла лицо, словно собираясь горько заплакать. Но Дмитрий Васильевич не дал ей заплакать. Он с грохотом откинул стул и пошел к буфету. С трудом преодолевая острую боль в лопатке, он сделал несколько тяжелых шагов и оказался у стойки. Побелевшие его губы передвинулись и затряслись. Он протянул руки и, туго ухватив отвороты измятого белого пиджака, ненавистно прохрипел:

— Не смей на Катю орать! Слышишь? Слышишь ты, сволочь!..

Потом он упал. И, глядя мимо плачущей Катюши на странное пятно на потолке, он понял, что оно похоже на Борнео.

ДАЛЕКАЯ ШУРА

Леониду Сергеевичу Большинцову семнадцатого июня исполнилось пятьдесят лет, и Леонид Сергеевич отнесся к предстоящему своему юбилею со всей серьезностью. Он выделил значительную сумму на хозяйственные расходы и вручил теще, всецело доверяя ее умению и опыту. Переложив таким образом муторные дела на счет закуски и прочего на железные женские плечи, он не сомневался, что пиршественный стол будет блестящим. Теща же, получив от зятя ответственное задание, немедленно связалась по телефону со столом заказов ГУМа и вызвала к себе подкрепление в лице старинной приятельницы дома Большинцовых Любови Алексеевны. Любовь Алексеевна примчалась скорее «скорой помощи», женщины заперлись на кухне, и работа закипела.

Теперь оставалось только созвать полный дом гостей и садиться за стол пировать. Не желая, однако, пускать на самотек решение гостевой проблемы, Леонид Сергеевич, исполненный духа демократизма, созвал семейный совет. Заняв председательское место и звякнув ложечкой о стакан, Леонид Сергеевич поставил перед женой и тещей первый и единственный вопрос повестки дня.

— Ну, — сказал он мягко, — так кого же мы позове-
м?

— Елену Гавриловну, — мгновенно среагировала жена Большинцова Тамарочка. — Ее обязательно, тем более что она мне шьет выходной халат.

— И Степана Марковича, — поспешно добавила теща, — его в первую очередь! Все-таки Степан Марко-

вич — выдающийся женский врач, светило. Если бы не он, кто знает, была бы Тamarочка здоровой сегодня. Ну, и еще Крашевых, — все-таки соседи по даче, неудобно.

Леонид Сергеевич поехал, но безропотно начал список приглашенных на свой юбилей с портнихи, гинеколога и дачных соседей.

— Не забудьте Швайкиных, — погрозила костистым пальцем теща, — я у них три раза была: и на чае, и на обеде, и на грибах. Краснопольских тоже надо позвать. Милые люди, образованные...

— Особенно она, — поддержала свою маму Тamarочка, — она такая занятная! Прошлый раз, когда собирались у Кашинцевых, Краснопольская целый вечер процеловалась с художником этим, как его... Голенищевым... Такая занятная, право...

— Художественная натура, что и говорить, — откликнулась теща.

Женщины засмеялись.

— Уж если заговорили о художественных натурах, я бы позвала еще Светланского, — чуть покраснев, предложила Тamarочка, — чудный голос, и вообще он милый. Талантливый. Знает наизусть всего Окуджаву, — мечтательно протянула она. — Это было бы хорошо, Светланского... — И она потупилась.

Леонид Сергеевич без возражений составлял список своих гостей под диктовку жены и тещи. Он писал и писал, а тем временем где-то под сердцем у него накапливался тяжелый и неприятный ком. Во рту становилось горько и сухо, и он не решался взглянуть на членов семейного совета. А те, увлекшись, все диктовали и диктовали Леониду Сергеевичу.

— Братухина — из комиссионного!

— Иванихина — весельчак человек!

— Стойте! — вдруг закричал Леонид Сергеевич. — Остановитесь! А для меня? А кого-нибудь для меня? А? Друга какого-нибудь? — Голос Леонида Сергеевича вдруг сорвался, и он продолжал уже почти надрывно и не по-мужски, некрасиво морщась: — Ведь это мой юбилей! День рождения-то мой! Ведь это я пятьдесят лет прожил! Что вы своих знакомых созываете! Мне друзей нужно!

— Господь с вами, Леонид Сергеевич! — испуганно забормотала теща. — Что за тон? Хотите друзей, кто же

возражает? Пожалуйста, зовите друзей, правда, Тамарочка?

— Именно друзей, — подхватила жена Леонида Сергеевича, — раз это твой праздник, зови себе кого хочешь! Ну... — Она уже успокоилась, взяла себя в руки. — Называй своих друзей. — И она уступчиво улыбнулась мужу.

У того мгновенно потеплело на сердце.

— Я думаю, Шторина, — сказал он просительно.

При имени Шторина теща пожала плечами, а у жены в глазах появилось выражение, какое бывает в глазах пойманной щуки.

— Шторина? — Она брезгливо поморщилась. — Этого керосинщика?

— Вся квартира провоняет, — шелестнула теща.

— Ну и что, что он керосинщик? — горячо сказал Леонид Сергеевич. — Да, он заведует керосиновой лавкой — это правда, но я с ним еще в школе учился! На одной парте сидел! Это был самый милый и ласковый мальчик в классе. Да он таким и остался! Он чудесный! Потерял руку на войне, пошел в лавку работать. Я люблю и уважаю Шторина. Он честный! Он добрый!

— То-то ты его уже четыре года не видел, — ядовито сказала жена.

— А семнадцатого я его увижу! — упрямо сказал Леонид Сергеевич.

— Но согласитесь, Леонид Сергеевич, — рассудительно сказала теща, — что появление среди людей нашего круга и в день вашего юбилея этого самого, как сго, Шторина, — форменный нонсенс.

— Это вы сами, Евгения Петровна, — форменный нонсенс, — крикнул уже совершенно взбешенный Леонид Сергеевич. — Да, да, именно нонсенс! А Шторин на моем юбилее будет сидеть на самом почетном месте! Вот так!

— Тогда позови его в будни! — вдруг резко воскликнула Тамара. — Да, позови его в будни, и раздавите с ним поллитровку! Так, кажется, он выражается? — саркастически засмеялась она и продолжала со злобой: — Налакайтесь, закусите коровьим сердцем и спойте дуэтом «Шумел камыш». Пожалуйста! Наслаждайтесь! Мама вам накроет! На кухне! Но учти, меня дома не будет! — Она говорила, словно обнажаясь, и это было не-

переносимо Леониду Сергеевичу, ему было стыдно, и уже что-то непоправимое хотел он сказать, но теща, дорожившая респектабельностью семейных отношений, как всегда, молниеносно вмешалась.

— Ну зачем так резко? — примиряюще коснулась она руки дочери. — В конце концов Леонид Сергеевич здесь хозяин. — Она многозначительно посмотрела на дочь, та ответила ей быстрым, злым взглядом. Но теща, словно не замечая этого, продолжала: — И если он хочет пригласить к себе друга юности, это его право!

— Да! Да! Это мое право! И я им воспользуюсь! — выкрикнул Леонид Сергеевич, рывком захлопнул за собой дверь и побежал в переднюю к телефону. Он набрал номер, услышал тонкий гудок соединения и нетерпеливо ждал, когда же на другом конце Москвы его старинный друг Ваня Шторин соблаговолит снять трубку. Наконец телефон щелкнул, трубку сняли, и Большинцов услышал бесконечно далекое и слабое:

— Да... да... Слушаю... Я вас слушаю...

И Леонид Сергеевич сразу узнал этот голос.

«Шура! — подумал он радостно. — Ванюшкина жена!» И милое, ясное лицо и два огромных серых глаза встали перед ним.

— Алло! — вскричал он, как бы раскрывая объятия при встрече. — Шура! Алло! Это вы?

— Да... — послышалось откуда-то издалека.

Леонид Сергеевич заторопился и, набрав побольше воздуха, закричал в трубку что было сил:

— Шура! Милая! Здравствуй! Это Леонид Сергеевич! Леня Большинцов!

— Здравствуйте, — ответили там, и голос Шуры как будто еще более удалился от Леонида Сергеевича.

— Шура! Шурочка! — кричал он во весь голос, ему нравилось так кричать назло теще, назло Тамаре и всей этой шараге, которую они пригласили. — Шурочка! Мне семнадцатого сего месяца, сего года стукнет пятьдесят, и я очень прошу вас... Вас лично! Захватите с собой Ванюшку и припожалуйте ко мне на юбилей. Начало в восемь! Шурочка! Прелесть моя! — вопил он радостно. — Приходите точно. Раздавим поллитровку и закусим коровьим сердцем, шучу, конечно! Договорились?!

— Леонид Сергеевич, — донеслось до него чуть слышно. — Леонид Сергеевич, неужели вы не знаете?

— Ничего не знаю! — кричал Леонид Сергеевич. — И знать не хочу! Мне и праздник не в праздник и юбилей не в юбилей, если на нем не спляшут камаринского Шуручка и Ваня Шторины!

— Леонид Сергеевич, — донеслось из трубки, и непонятным образом голос Шуры вдруг приблизился, он стал явственным, — ведь Ваня умер.

— Что? — вскричал Леонид Сергеевич, словно его ножом ударили. — Не может быть! Вы шутите?

— Ваня умер полгода назад, — снова издали еле слышно донесся голос Шуры, — он очень мучился, Леонид Сергеевич... У него была неизлечимая болезнь... Мы звонили вам... вас не было...

Голос женщины дрогнул, она заплакала.

— Я был в Италии... — растерянно сказал Леонид Сергеевич. И вдруг все понял, обмяк душой, содрогнулся и заплакал в телефон с нею вместе.

— Я скоро приеду к вам, — сказал он сквозь слезы, задыхаясь и кривясь, — я завтра же приеду... Боже мой... Боже мой...

В трубке щелкнуло, и Леонид Сергеевич положил ее на рычаг. Он постоял немного, пришел в себя, опомнился, растер щеки и веки и вернулся в столовую. Его встретили соответствующие случаю выражения лиц. Леонид Сергеевич прошел на свое место.

— Шторин не придет, — сказал он сухо. — Умер Шторин. Нету его на свете. Все. Диктуйте дальше.

Выдержав небольшую, но вполне доброкачественную паузу, Тамарочка сказала, слегка порозовев:

— Леонид Сергеевич, извини мою рассеянность, ты не помнишь, голубчик, я называла Светланского?

КРАСНЫЙ СВИТЕР

За окном стало совсем темно. Слышно было море. Бакшеев взял плащ. Он вышел из комнаты, прошел коридором и, миновав виноградник, спустился к морю. На берегу никого не было. Зонты были сложены, и перевернутые лодки на песке пахли солоновато-кислой слизью.

Бакшеев стал смотреть в сторону камня, смутно черневшего метрах в пятидесяти от берега. Это был большой и плоский камень с мягкими линиями округлых уступов, его старательно обточило море. Несколько часов назад Бакшеев сидел на этом камне, и говорил, и глядел в серые, исполненные печального света глаза. А сейчас на берегу было темно, ветер потягивал с моря, и тяжело пахли лодочные кили. Лодки лежали на животах, подставив ветру спины, заросшие зелеными космами.

Пошел дождь. Несколько секунд капли били по песку не в лад, вразнобой, одна здесь, другая там, но потом все наладилось, и дождь раскачался вовсю.

Бакшеев решил вернуться. Во дворе не было ни души, и он увидел, что окна ресторана уже занавешены. Он понял: все разошлись. Уже поздно, все разошлись, дождь разыгрался как будто на всю жизнь, и раньше завтрашнего утра не жди ничего хорошего. Но спать ему не хотелось, он не смог бы спать и остановился недалеко от музыкальной раковины. Глянцевитый мраморный круг танцевальной площадки сверкал в темноте, и дождь вколачивал в камень длинные светлые гвозди. Невдалеке мелькнула неясная тень, это прошла Клавдия. Видно, она проводила какого-нибудь засидевшегося посетителя

и теперь возвращалась за стойку. Бакшеев подумал, что быть одному ему сейчас, пожалуй, не под силу, и он пошел за ней в бар. Там горела только одна маленькая лампочка у радиолы. Клавдия стояла в темном углу, где-то в самом конце стойки, и расчесывала гребнем волосы, свалявшиеся под косынкой. Гребень трещал в ее руках, из-под зубцов выскакивали стайки неоновых искр. Дверь за Бакшеевым хлопнула, и Клавдия обернулась и узнала его.

— Вы меня испугали, — сказала она.

— Извините, — сказал Бакшеев.

Она ловко воткнула гребень в волосы.

— Который час?

— Около двух.

— Все бродите?

— Не спится.

Она сочувственно взглянула из-под ресниц.

— Вы опоздали, — сказала Клавдия, — она ушла отсюда около часу назад. Они вдвоем были, с мужем.

— О чем вы? — сказал Бакшеев.

— Послушай, — сказала Клавдия, неожиданно и странно обращаясь к Бакшееву на «ты», — о чем ты говорил ей там, на камне? Вас все видели. Все, кому надо, видели вас. Не отвечай, молчи. Она когда тут сидела, я все смотрела на нее из-за стойки. Долго смотрела. Похоже, что с ней приключилась любовь.

Бакшеев молчал.

— Я пойду, — сказала Клавдия, — устала, ноги тоскуют, — четвертую ночь за стойкой. Смены нет — Кондакова болеет.

— Бедняга, — отозвался Бакшеев.

— Ну, пошла, — сказала Клавдия и, словно что-то кончилось между нею и Бакшеевым, снова обратилась к нему на «вы»: — Спите спокойно, вам нужно поспать. Пошла.

Бакшеев пропустил ее вперед, и они вышли. Клавдия возилась с ключом. Потом она встала рядом с Бакшеевым.

— Вы хотите скрыть, — сказала она, — оба хотите скрыть. Но это трудно вам будет. Как на витрине живем здесь, а на вас тем более написано, как на столбах, где ток. Большущими буквами: «Осторожно, любовь!»

Она накинула плащ, надвинула капюшон и, кивнув Бакшееву, пошла к домику служащих. Сперва была видна ее тень, но дождь быстро заштриховал ее косыми линиями, и опять никого не было вокруг.

Бакшеев поднялся на крытую террасу. Тент протекал, и на красных крышках столов поблескивали лужи. Падающие с тента капли были крупнее обычных, они шлепали о столы с громким музыкальным звуком. В углу стоял столик, защищенный от дождя выступом стены, и Бакшеев сел на стоящий тут же соломенный стул, неожиданно сухой и поэтому кажущийся теплым.

Снизу из-за деревьев доносился шум моря. Из темноты, из двойного шума моря и дождя возникла фигура Кирснера. Он плотно прижался к стене под карнизом, вытер голову платком. Бакшеев кивнул ему и пододвинул стул. Кирснер сел.

— Разрешите представиться, — сказал он хрипло и протянул холодную, мокрую руку: — Кирснер.

— Я слушал вас, — сказал Бакшеев, — вы превосходный музыкант. Не спите?

— Проклятая изжога, — прохрипел Кирснер, — я съел уже фунт соды, а изжога все грызет. Это потому, что здесь готовят не на чистом сливочном. Я привык к домашней пище. Я уверен, что у меня гастрит, или даже перигастрит, или просто хорошая язвочка величиной с розетку.

— Не обращайтесь внимания, — сказал Бакшеев, — постепенно обойдется.

— Не могу, — капризно сказал Кирснер, — грызет. — Он показал, где чувствует боль, и пристально поглядел на Бакшеева, словно ожидая дельного совета. Не дождавшись, Кирснер вздохнул и сказал, наклонившись вперед: — Я тоже знаю вас — я видел вас с вышки оркестровой галереи в тот единственный вечер, когда вы танцевали с Блоком.

— С кем?!

— С Александром Блоком.

— Черт вас разберет, — сердясь, сказал Бакшеев, — постарайтесь объясняться проще.

— А все и так очень просто, — ухмыльнулся Кирснер. — У нас там на оркестровой галерее скучновато, знаете ли. Одно и то же. Твист-шмист, полька-шмолька, шлягер-шмагер. Осточертело, даю слово. Если хочешь

остаться нормальным, надо как-нибудь развлечься. Что-нибудь другое, чтоб не стать психом, знаете ли. Так, для спасения души, мы и организовали наш конкурс женской красоты. Такая игра: как будто все женщины танцуют только для нас, а мы как будто и есть самые главные в мире ценители и знатоки. Да, да. Эта игра увлекает, поверьте мне. У нас даже девизы придумываются для каждой абитуриентки. А я, знаете ли, я большая шишка. Я председатель несуществующего жюри несуществующего конкурса женской красоты.

На террасе было зябко, и приятно было сидеть, подняв воротник, наперекор ветру и холоду.

— Я упрямый человек, — сказал Кирснер, — у меня есть убеждения. Я вам говорю, здесь готовят не на чистом сливочном. Иначе почему изжога?

— Пройдет, — сказал Бакшеев. — Расскажите-ка лучше подробней про ваше жюри.

— Можете не волноваться, — проворчал Кирснер, — у вас все в порядке. Ваша партнерша проходит под девизом «Александр Блок». В скобках: «Дыша духами и туманами». Надеюсь, этого достаточно? В ней есть что-то зыбкое, горькое и непреходящее. Вот. Видите, как я умею выражаться. В общем, у нее первое место. Учтите: принято единогласно. А в нашем жюри это редко бывает.

— Ну и люди собрались у вас в оркестре!

— Скука, знаете! К тому же изжога, и хочется поносить все на свете. Скажете, чего ему надо? Небось, думаете, заелся, «сладкая жизнь»... Да ничего подобного. Просто я не люблю, когда под музыку чавкают. И все. И не надо мне никакой музыки! Я разлюбил. Я люблю скрип колодезного колеса. Или щелк пастушьего бича. В такой музыке сидит счастливая жизнь... Вы слышите? Капли дождя стучат по столам! Годится вам такой небесный ксилофон?

— Да, — сказал Бакшеев, — годится.

— Я думал, — продолжал Кирснер, — что воспою весь мир, а играю танцы. Я ничтожество.

Кирснер встал и отошел к балюстраде. Он перегнулся через перила, и дождь принялся долбить его череп.

— Вы мастер, — сказал Бакшеев, глядя в спину собеседника. — Когда объявили ваши импровизации и вы играли соло, я понял, что вы поэт. Может быть, ваша

музыка была темна и сложна, но в ней кипела страсть, в ней протягивала руки мольба. Я неграмотный слушатель, я мало что смыслю. Но мне показалось, что это молитва. Так молятся о погибших, под эту музыку нельзя танцевать... Может быть, вы предупреждали о беде? Не знаю. Я говорю невнятно. Но вы не ничтожество, нет. Я ваш поклонник.

Кирснер не оборачивался.

— Раз в десять лет, — пробормотал он, — раз в десять лет, в такую клятую погоду встретить сумасшедшего и услышать его понимание...

Они услышали, как заворчал мотор. Кирснер перешел на другую сторону и, став у парапета, пристально вглядывался в дождь. Небо стало серовато-блеклым, наступал рассвет. Бакшееву не хотелось шевелиться. Он сидел, подперев голову руками, прикрыв глаза, и слушал ворчание чужого мотора. Мотор то взрывался, то затихал. Кто-то нетерпеливо прогревал его. Тошнотворно запахло бензином. Так прошло минут десять. Теперь мотор тянул одну протяжную высокую ноту, как оса, которую не выпускают на свободу. Почти совсем рассвело, и нити дождя, недавно казавшиеся светлыми, стали чернеть. Пора было идти. Бакшеев поднялся, подошел к Кирснеру и тоже стал глядеть во двор сквозь шуршащий дождь. У дверей гаража стояла малолитражка. Человек в красном свитере копошился под приподнятым капотом. Это было похоже на цирковой номер: небольшой бегемот распахнул чудовищную горячую и зловонную пасть, и отважный укротитель вложил в нее свою голову. Смертельный риск. Барабанная дробь...

Ап!

Человек в красном свитере отскочил от пасти машины. Привычным жестом врача, удачно вскрывшего абсцесс, он стал вытирать руки о замасленную тряпку. Потом он поглядел вверх. Было видно, какой яростной ненавистью блеснули его глаза, когда он распознал стоявшего у балюстрады Бакшеева. С отвращением отшвырнув тряпку, он захлопнул капот, сел в машину и перегнал ее к подъезду. Со ступенек сошел швейцар с двумя чемоданами и уложил их в багажник. Потом он вернулся к подъезду и, остановившись у двери, распахнул над собой зонтик. Медленно переложив его в левую руку, старик правой отворил дверь. Он стоял так, глядя в от-

крытый проем, у него было клетчатое от морщин терпеливое лицо. Бакшеев сжал руками скользкие перила. Он не отводил глаз от двери. Человек в красном свитере глядел прямо перед собой. Было слышно тяжелое дыхание Кирснера.

Так прошло два-три мгновения. Из подъезда вышла женщина. Она постояла несколько секунд, словно вдыхая и запоминая серый острый дождь и запах моря.

Бакшееву показалось, что она зовет его. Он двинулся вперед. Человек в красном свитере тотчас что-то крикнул, и женщина, вздрогнув, пошла на голос по лужам, как слепая. Швейцар проводил ее, прикрывая зонтиком. Она села в машину. Газ разорвался за выхлопной трубой, и автомобиль прынул со двора. Старый швейцар стоял под дождем.

«Не может быть, — подумал Бакшеев. — Не может быть. Чтобы вот так все и кончилось, едва начавшись. Кто знает, будет ли еще такое счастье... Нет, не может быть».

— Увез, — сказал Кирснер. — Увез. Тю-тю...

Он присвистнул.

Бакшеев вернулся к столу. Ветер изменил направление, и теперь в соломенном стуле стояло холодное озеро воды.

ПИСЬМО

Начальник охраны костно-туберкулезного санатория Иван Фомич Булыгин сидит на дежурстве в своей жарко натопленной комнатухе. Тяжелая, застарелая тоска терзает его сердце. Наиболее острые приступы этой тоски начинаются где-то в глубинах его естества, урчат в желудке, поднимаются скребущей кислотой по пищеводу и ненадолго разрешаются длительной басовитой отрыжкой. Душевные муки Булыгина ослабевают на некоторое время, чтобы спустя минуту возобновиться с новой ужасающей силой. Атмосфера в раскаленной комнатухе сгущается. Воздух становится сизым, и возле раскрытой конфорки дрожит небольшое знойное маревце. Надвинув седые, стриженные ежиком волосы на самые брови, Иван Фомич достает из ящика стола пузырек фиолетовых чернил, ручку и лист бумаги. За окном шелестит ноябрьский дождь. До конца дежурства еще целая ночь, и ржавое перо Булыгина скрипит по бумаге, как голодная сердитая мышь:

«Товарищ председатель райисполкома Широков К. В.! — жалобно искривив толстые губы, пишет Булыгин. — Я обращаюсь к Вам с заявлением на недавно вернувшегося из армии демобилизованного солдата Белокурова С. И. и прошу рассмотреть вопрос о его, Белокурова, бытовом разложении.

Вышеуказанный Белокуров, как мне стало известно, имеет сожительство с моей женой с февраля месяца этого года, которая имеет возраст, уже близко переходящий на четвертый десяток, и, кроме того, она имеет оформленного мужа более семи лет, то есть меня.

Я прошу райисполком принять меры и сохранить семейный разлад и еще более нежелательные последствия

и переселить демобилизованного солдата Белокурова С. И. за пределы Московской области, то есть создать неблагоприятные условия для его встреч с моей женой и тем самым сохранить ее дома, для семьи. Ведь этот самый демобилизованный Белокуров недобросовестно влюбил мою жену, которая работает в Пучкове продавцом в палатке. А он использует ее как объект, в корыстных целях».

— ...И что она в нем нашла, в мслোকососе этом конопатом? — уныло думает Булыгин и продолжает:

«...Обращаю Ваше внимание, что демобилизованный солдат имеет возраст двадцать пять лет, он раньше учился по механической части, и моя жена является ему матерью, поскольку семнадцатого декабря ей стукнет полная тридцатка, о чем и сообщаю в райисполком».

Булыгин откидывается на спинку стула, прерывисто вздыхает и чешет затекшую от напряжения правую руку. Он думает о черной людской неблагодарности и вспоминает свою жену, вспоминает, какой робкой и безответной она была тогда, восемь лет тому назад, когда он, жалея ее бедность и заморенность взял ее к себе в дом из дальней деревни от сродственников, взял к себе в дом, чтобы она обстирывала его, прибирала и ходила бы за ним, в ту пору еще крепким, кряжистым пятидесятилетним вдовцом, взял к себе в сытый дом, и вот не устоял, дурак. Прилез к ней однажды ночью, и она покорила ему равнодушно, а он дрогнул душой, раскис, потерял голову и оформил все законным браком, через загс, а теперь вот что получилось, опростоволосился, беда свалилась на голову, где же правда? Ведь это хуже грабежа!

И он снова склоняется к столу:

«...В последнее время демобилизованный солдат Белокуров С. И. перешел на почву личной мести. Он ходит по поселку и грозит, что его дружки-приятели меня вскорости убьют и кости мои разбросают где попало. Он меня оскорбляет старым хрычом, что я жизнь молодую заедаю, и еще обзывает спекулянтом, что продаю яйца от своих кровных курей. Он корит меня и допекает, и люди смеются надо мной, и он настраивает жену против меня. Он довел ее до сумасшествия своей любовью, и хотя она расцвела, как майская роза, а дома бьет все подряд, что ни попадя, ни на что не смотрит, раз-

била всю посуду, сервиз чайный за восемь рублей сорок копеек и тарелок рубля на два, учитывая амортизацию. Она разбила также стекла на терраске, так что как бы она и мне голову не пробила какой-нибудь кастрюлей. А еще она злостно разорвала при стирке мою одежду, рубашку у ворота и брюки. Совсем недавно она опустилась до того, что продала всех моих курей в Пучково, Центральная улица, один, Ковалевой Тамаре Петровне. Она это сделала, не сомневаюсь, чтобы покрыть недостачу в палатке, недостачу, которая, наверное, есть, не может быть, чтобы не было, и, наверное, эта недостача расходуется вся, без остатка, на своего сожителя демобилизованного Белокурова; потому что мне стало известно, что моя жена снабжает его папиросами «Беломор» и поит водкой. А даровое вино, оно, сами знаете, питкое, булькает и течет, и как же тут не быть недостаче и где же, наконец, ревизионная комиссия, когда уж она нагрянет? Потому что моя жена набивает Белокурову полны карманы всякой закуской, квашеной капустой и мермаладом и тем удовлетворяет свои животные потребности.

Еще того чище: недавно моя жена передала демобилизованному Белокурову мой велосипед под видом, что нуждается в ремонте, а на самом деле, чтобы ускорить его движение к месту ихней встречи.

Все это указывает о том, как равнодушно относится райисполком к вопросу о счастье в советской семье и вопросу о коммунистической морали.

Мои выводы: картина ясна. Вот она:

Демобилизованный солдат Белокуров С. И. вступил с моей женой Булыгиной Тоней в беспорядочную нелегальную связь. Она началась у них в феврале сего года и особенно обострилась к маю. Как я уже доказал, он сделал это с определенной целью, чтобы обеспечить себя горячими напитками и папиросами «Беломор», то есть создать для себя необходимые бытовые условия и материальную заинтересованность».

...Булыгин еще ниже сгибается над бумагой. Сердце его бьется, в висках стучит. Гнев, ревность, досада, унижение и ненависть к обидчику понуждают его искать слова, перебирать их в уме, отбирать наиболее разящие, вконец испепеляющие врага. Ему хочется убить наглого пришельца, четвертовать его, сжечь. Хочется отомстить

смертно за поругание тому, кто пытается оторгнуть от него, Булыгина, его собственность, его живую законную собственность, уже ставшую частью его самого, его милую большеглазую собственность, которую он так яростно любит, так поздно повстречал... Ах, что ему портянки, журы и хозяйства! Пропади оно пропадом! Только ее, ее не троньте, не отымайте!

Он перечитывает написанное.

— Жидковато! — шепчет он и задыхается и обводит толстые пересохшие губы толстым пересохшим языком. — Надо так написать, чтобы власти за голову взялись и чтоб его судом судили, подлеца, чтобы в тюрьму его закатали! А известное дело: с глаз долой — из сердца вон.

И он вновь заносит над измаранной бумагой свое беспощадное перо:

«Демобилизованный солдат Белокуров С. И. — это порхающий подлец, которого нельзя оставить без внимания. У него узкие потребности на женщину, лишь как на средство удовлетворения своих грубых животных привычек. И меня берет за душу, что этот антиморальный человек пользуется всеми благами социалистического общества. Но и этого всего ему мало. Он хочет во что бы то ни стало подорвать мою семью изнутри и забрать мою жену, чтобы нарушить вместе с нею нашу советскую половую мораль, не встречая должного отпора со стороны дружинников и тем более райисполкома!

Уважаемый товарищ Широков Константин Васильевич, председатель райисполкома! Как прочитаете это заявление, так сейчас осейфуйте его понадежнее от сторонних глаз. И немедленно примите железные меры, срочно известив меня о принятии таковых».

Он подписывает документ и с уважительной надеждой запечатывает его. В комнатухе пахнет угарным газом. Стало еще жарче. Болит голова. Булыгину хочется выйти на воздух, но он не решается оставить свой кабинет. Скрипя сапогами и растирая почки, пробирается он к окну. Где сейчас его Тоня? Где она? Где?!

Непроглядная ночь стоит на дворе, и ноябрьский злой дождь косо брызжет множеством капель в наружную сторону стекол. Маленькие эти капли ищут одна другую, находят, сливаются в более крупные и весомые и медленно и криво бегут вниз по стеклу, словно стариковские холодные слезы.

РЫЦАРИ

Когда репетиция хора мальчиков окончилась, учитель пения Борис Сергеевич сказал:

— Ну-ка, расскажите, кто из вас что подарил маме на Восьмое марта? Ну-ка, ты, Денис, докладывай.

Я сказал:

— Я маме на Восьмое марта подарил подушечку для иглока. Красивую. На лягушку похожа. Три дня шил, все пальцы исколол. Я две такие сшил.

А Мишка добавил:

— Мы все по две сшили. Одну маме, а другую — Раисе Ивановне.

— Это почему же все? — спросил Борис Сергеевич. — Вы что, так сговорились, чтобы всем шить одно и то же?

— Да нет, — сказал Валерка, — это у нас в кружке «Умелые руки» мы подушечки проходим. Сперва проходили чертиков, а теперь подушечки.

— Каких еще чертиков? — удивился Борис Сергеевич.

Я сказал:

— Пластилиновых! Наши руководители, Володя и Толя из восьмого класса, полгода с нами чертиков проходили. Как придут, так сейчас: «Лепите чертиков». Ну, мы лепим, а они в шахматы играют.

— С ума сойти, — сказал Борис Сергеевич. — Подушечки! Придется разобраться! Стойте! — И он вдруг весело рассмеялся. — А сколько у вас мальчишек в первом «В»?

— Пятнадцать, — сказал Мишка, — а девчонок двадцать пять.

Тут Борис Сергеевич прямо покотился от смеха.
А я сказал:

— У нас в стране вообще женского населения больше, чем мужского.

Но Борис Сергеевич отмахнулся от меня.

— Я не про то. Просто интересно посмотреть, как Раиса Ивановна получает пятнадцать подушечек в подарок! Ну ладно, слушайте: кто из вас собирается поздравить своих мам с Первым мая?

Тут пришла наша очередь смеяться. Я сказал:

— Вы, Борис Сергеевич, наверное, шутите?

— Не шучу. Поздравлять мам надо с каждым праздником, и это будет по-рыцарски. Ну, кто знает, кто такой рыцарь?

Я сказал:

— Он на лошади и в железном костюме.

Борис Сергеевич кивнул.

— Да, так было давно. И вы, когда подрастете, прочтете много книжек про рыцарей. Но и сейчас, если кого говорят, что он рыцарь, то имеют в виду благородного, самоотверженного, великодушного человека. И я думаю, что каждый из вас должен обязательно быть рыцарем. Поднимите руки, кто здесь рыцарь?

Мы все подняли руки.

— Я так и знал, — сказал Борис Сергеевич, — молодцы!

И мы пошли по домам. А по дороге Мишка сказал:

— Я маме конфет куплю, у меня деньги есть.

Пришел я домой, а дома никого нету. И меня досада взяла. А тут прибежал Мишка, в руках у него уже нарядная коробочка с надписью: «Первое мая». Мишка говорит:

— Готово, теперь я рыцарь. А ты что сидишь?

— Мишка, ты рыцарь? — сказал я.

— Рыцарь, — говорит Мишка.

— Тогда дай взаймы.

Мишка огорчился.

— Я все истратил до копейки.

— Что же делать?

— Поискать, — говорит Мишка. — Может, куда завалилась хоть одна монетка, давай поищем.

И мы всю комнату облазили: и за диваном, и под шкафом смотрели, и я все туфли мамины перетряхнул

и даже в пудре у нее пальцем поковырял. Нету нигде.

И вдруг Мишка раскрыл буфет:

— Стой, а это что такое?

— Где? — говорю я. — Ах это... это бутылки. Ты что, не видишь? Здесь два вина: в одной бутылке черное, а в другой желтое. Это для гостей, к нам завтра гости придут.

Мишка говорит:

— Эх, пришли бы ваши гости вчера, и были бы у тебя деньги.

— Это как?

— А бутылки, — говорит Мишка, — да за пустые бутылки всегда деньги дают.

Я говорю:

— Что же ты раньше молчал? Сейчас мы это дело уладим! Давай банку из-под компота, вон на окне стоит.

Мишка протянул мне банку, а я открыл бутылку и вылил черно-красное вино в банку.

— Правильно, — сказал Мишка, — что ему делается...

— Ну конечно, — сказал я. — А куда вторую?

— Да сюда же, — говорит Мишка, — не все равно? И это вино, и то вино.

— Ну да, — сказал я. — Если бы одно было вино, а другое — керосин, тогда нельзя, а так, пожалуйста, еще лучше. Держи банку.

И мы вылили туда и вторую бутылку.

Я сказал:

— Ставь ее на окно! Так. Прикрой блюдечком, а теперь бежим!

И мы припустились. За эти две бутылки нам дали двадцать четыре копейки. И я купил маме конфет. Мне еще две копейки сдачи дали. Я пришел домой веселый, потому что я стал рыцарем, и, как только мама с папой пришли, я сказал:

— Мам, я теперь рыцарь. Нас Борис Сергеевич научил!

Мама сказала:

— Ну-ка расскажи!

Я рассказал, что завтра я маме сделаю сюрприз.

Мама сказала:

— А где же ты деньги достал?

А я сказал:

— Я, мам, пустую посуду сдал. Вот две копейки сдачи.

Тут папа сказал:

— Молодец! Давай-ка мне две копейки на автомат! Мы сели обедать. Потом папа откинулся на спинку стула и улыбнулся:

— Компотику бы.

— Извини, я сегодня не успела, — сказала мама.

Но папа подмигнул мне:

— А это что? Я давно уже заметил.

И он подошел к окну, снял блюдечко и хлебнул прямо из банки. Что тут было!..

Он закричал не своим голосом:

— Что это такое? Что это за отрава?!

Я сказал:

— Папа, не пугайся. Это не отрава. Это два твоих вина!

— Каких два вина?! — закричал он громче прежнего.

— Черное и желтое, — сказал я, — что стояли в буфете. Ты, главное, не пугайся.

Папа распахнул дверцу буфета. Потом он заморгал глазами. Он смотрел на меня с таким удивлением, как будто я был не обыкновенный мальчик, а какой-нибудь синенький или в крапинку. Я сказал:

— Ты что, папа, удивляешься? Я слил твоих два вина в банку, а то где бы я взял пустую посуду?

Мама вскрикнула:

— Ой!

И упала на диван. Она стала смеяться, да так сильно, что я думал, ей станет плохо. Я ничего не мог понять, а папа закричал:

— Хохочете? А между прочим, этот рыцарь сведет меня с ума, но лучше я его раньше выдеру, чтобы он забыл раз и навсегда свои рыцарские манеры.

И папа стал делать вид, что он ищет ремень.

— Где он? — кричал папа. — Куда он провалился? Подайте мне этого Айвенго.

А я был за книжным шкафом. Я уже давно был там на всякий случай. А то папа что-то сильно волновался. Он кричал:

— Слыханное ли дело выливать в банку коллекци-

онный черный «мускат» и разбавлять его пивом?!

А мама от смеха еле-еле проговорила:

— Ведь это он... из лучших побуждений... Ведь он же... рыцарь... Я умру... от смеха.

И она продолжала смеяться.

А папа еще немного пометался по комнате и потом ни с того ни с сего подошел к маме. Он сказал:

— Как я люблю твой смех.

И наклонился и поцеловал маму.

И я тогда спокойно вылез из-за шкафа.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Он упал на траву	5
Сегодня и Ежедневно	104

РАССКАЗЫ

Для памяти	201
Брезент	209
Странное пятно на потолке	215
Далекая Шура	220
Красный свитер	225
Письмо	231
Рыцари	235

Виктор Юзефович Драгунский
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО
Повести и рассказы

Редактор **Л. Алексеева**
Художник **В. Катанов**
Художественный редактор **Н. Егоров**
Технический редактор **Л. Киселева**
Корректоры **З. Князькова, Н. Попикова**

Сдано в набор 8/VII-1976 г. Подписано к печати 19/XII-1976 г. А01020. Формат изд. 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 7,5. Уч.-изд. л. 12,57. Тираж 75000 экз. Заказ № 3361. Цена 53 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

390012, г. Рязань, ул. Новая, 69/12
Рязанская областная типография

